

Георгий Тачев

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЫ
МИРА**

ЕВРАЗИЯ

Георгий Тачев

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА

ЕВРАЗИЯ

КОСМОС КОЧЕВНИКА,
земледельца
и горца

Институт ДИ-ДИК
Москва
1999

Гачев Г.Д.

Г24 Национальные образы мира. Евразия — комос кочевника, земледельца и горца. — М.: Институт ДИ-ДИК, 1999. — 368 с.

ISBN 5-93311-007-8

Книга продолжает авторскую серию сравнительных описаний национальных культур, из которой уже опубликованы “Образы Индии”, “Русский Эрос”, “Космо-Психологос”, “Америка в сравнении с Россией и Славянством” и другие. Каждый национальный мир рассматривается как единство местной природы, характера народа и его мышления. Кочевой, земледельческий, горский образы жизни излучают особые мировоззрения, отмечены своей шкалой ценностей и понятий. В книге дается философское истолкование быта как Бытия, вещи читаются как идеи. Изба, юрта, сакля — это разные модели мира. Национальные варианты пространства и времени, телодвижения, танцы, игры, музыка, еда, зодиак — все это тексты, полные смысла. Книга являет спектр картин мира, демонстрирует интеллектуальное многообразие, которым обогащают друг друга народы — обитатели Севера Евразии.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся национальными особенностями стран, людей и культур.

ISBN 5-93311-007-8

© Г.Д. Гачев, 1999
© Институт ДИ-ДИК, 1999

С терминами “Евразия”, “евразийский”, “евразийство” ныне автоматически связывается определенный набор историософских и геополитических идей: Евразия (и Россия как ее ядро) — треть между Востоком и Западом, особая судьба, история и политика... Это подход глобальный: по поверхности-плоскости планеты Земля, так сказать, “горизонтальный”. В нем взвешиваются-обсуждаются *отношения* между блоками стран, культур, цивилизаций, традиций — и в отличии от них, как некая смесь сих готовостей, ищется, чем и как живет сие образование промежуточное: шкала ценностей, состав понятий, склад характера, тип социума, государственования и т.д.

Подход, развиваемый в предлежащей книге, не горизонтально-глобальный, а дополнительный к нему — “вертикальный”, понизовый, эмпирический, **эвристический**. Мне совсем другое интересно — не судить-рядить о судьбах сего образования — Евразии, как некоего целого, организма (реального или конструируемого? наличного или возможного?..), но **философия быта** (как Бытия) обитателей сего пространства, “местообитания”. Какие сверх- (да и просто) идеи о мире и человеке возникают (могут возникать) априорно — оттого, что одни люди-народы живут среди камня в сакле (горцы), другие — среди животных в юрте из их шерсти (кочевники), а третьи — в лесу и среди растений, в избе из дерева (земледельцы)? Ибо таковы три основных типа-способа жить здесь, в ландшафте-космосе этого куска Земли — Севера Евразии. С юга на север — горы, степи-пустыни, леса. И там устраиваются жить человечки, развивая изобретательным гением спектр культур в лад натурам-природам тут. Их пестрота — это тек-

сты, из которых источаются смыслы. Их уловить (и условить-выразить) в деталях и подробностях, оттенках, да посравнить между собой — вот азарт моего внимания, пафос исследования.

Что значит (может значить)? — то, что одни трудом заглубляются в землю, выращивая пищу во Времени, а другие — верхом на своей еде и вперены в даль-ширь, надземны, в Пространстве шастают? Предполагается, что все имеет со-мысл с Целым, каждая вещь и обычай излучает некие идеи, понятия. И задача ума — выдоить их из обитания в вымени матери(и)-вещества, перегнать из одной формы бытия — вещественной в иную — интеллектуальную. Этим и занимаюсь в этой книге в серии философических опытов, написанных в разное время, с разных сторон заходя, истолковывая различные предметы быта и обычаи. Как бы философская этнография здесь осуществляется.

Сразу объявляю: по стилю мышления я — платоник, гегельянец. То есть для меня все, всякая предметность исполнена духа, есть идея и смысл. Так что в отличие от модного ныне постмодернизма, который занимается “деконструкцией смысла”, я старомоден. По крайней мере сперва надо добыть смыслы из вещей и обычаев, прикинуть-понять, почему они таковы, к чему и что могут значить, а потом уж начинать игрища с их перетасовками и пере(с)мешками...

Так что переводчик я: с языка вещей на язык идей; перевозчик: с берега быта на берег бытия — на пароме умозрения. Занимаюсь истолкованием. Приникаю-прилипаю умом к какому-либо заведению в жизни: там блюдо бешбармак, танец вальс, маневренная тактика кочевников в бою и линейно-эшелонированная земледельцев — и трактую их как элемент целостного мирозерцания и стиля жизни данного народа, к чему восхожу из таких деталей существования. То есть все и вся(кое) есть сказ и притча, а мне — читать и сказывать, что в них уловил-понял. Такая работенка увлекательная.

Задумываться над этим разнообразием-пестротой бытия и полилогом мирозерцаний я начал давно, 40 лет уж назад. Но в эпоху монологического “единственно правильного мировоззрения” ничего из таковых своих исследований-писаний издать не мог — и вот накопилось, собрано в этой книге то, что касается философии быта обитателей Севера Ев-

рации. Это — элемент из моей панорамы “Национальные образы мира”, из которой несколько книг¹ уже вышли.

Так что и этот том, посвященный “менталитетам” “этносов” (в кавычки ставлю, ибо эти термины — не моего романа-языка-стиля) Севера Евразии, просил бы читать как часть и в сопоставлении с описанием других национальных миров.

Не однажды пытался я выходить в печать с этими текстами. Последний раз попробовал сгруппировать их вокруг Казахстана, ибо там как раз все эти три типа быта и мирозерцания: кочевник, земледелец и горец — представлены. Но в связи с политическими пертурбациями распада СССР издание закисло, не состоялось. Однако приготовленные для той книги прокладки между очерками имеют смысл и сейчас, они приведены в конце в Приложении.

Вместе с издательством я выражаю признательность Казахскому филиалу телерадиокомпании “Мир” и особенно Едилю Казыханову за поддержку настоящего издания.

29.VII.98

¹ “Национальные образы мира”. М.: Сов. писатель, 1988; “Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры)”. Фрунзе: Адабият, 1989; “Русская Дума. (Портреты русских мыслителей)”. М.: Новости, 1991; “Наука и национальные культуры. (Гуманитарный комментарий к естествознанию)”. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1992; “Образы Индии”. М.: Наука, 1993; “Русский Эрос”. М.: Интерприпт, 1994; “Космо-Психо-Логос”. М.: Прогресс-культура, 1995; “Америка в сравнении с Россией и Славянством”. М.: Раритет, 1997; “Национальные образы мира. Курс лекций”. М.: Academia, 1998.

(Беседы по философии быта разных народов, или уроки чтения предметности)

6.X.1968. Осенью 1966 года среди аспирантов Института мировой литературы из национальных республик возникла идея: устроить семинар по национальному пониманию мира в литературе. Зная, что я уже несколько лет занимался этим предметом, они предложили мне вести его. Мы стали собираться в аспирантском общежитии Академии Наук, в комнате у Мурата Ауэзова, располагаясь на 4-5 стульях вокруг стола, на двух кроватях. Я ожидал от этих бесед проверки некоторых своих идей и поднабраться материала и фактов, расширить свои представления; они ожидали поднаучиться у “старшего товарища” уму-разуму. Но получилось нечто совсем иное и гораздо лучшее: на этих беседах совершалось действие совместного мышления. Часа два-три мы все напряженно думали, развивали и разветвляли взятую на вечер проблему, открывая в ней на ходу неожиданные повороты. Так праздничен был этот жанр сократических бесед, что мы очень полюбили наши встречи. Это было как общее сочинение музыки, импровизация — но не в одиночку, а квинтетом, октетом: больше восьми нас не бывало, — так что исполнялся античный принцип застольной умной беседы: чтоб гостей было не менее числа граций (трех) и не более числа муз (девяти).

Когда такой оказалась уже первая беседа, я понял, какая это редкость, и хотя возникала у меня мысль как-то фиксировать разговор, но я ее отгонял: что это за привычка все отчуждать в письмена! Ведь отпечатывается беседа в наших душах — разве этого мало и душа хуже ли бумаги? Сократ в разговоре с Федром прекрасно разбирает вопрос: “Годится ли записывать речи или нет, чем это хорошо и чем — плохо”. “В этом, Федр, ужасная особенность письменности, поистине сходной с

живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величественно молчат. То же самое и с сочинениями. Думаешь, будто они говорят, как мыслящие существа, а если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда твердят одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде — и у людей понимающих, и у тех, кому вовсе не пристало читать это, — и не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо ругают его, оно нуждается в помощи своего отца, а само не способно ни защищаться, ни помочь себе... А то, что по мере приобретения знаний пишется в душе того, кто учился, оно способно защищать самое себя, умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать... Такие занятия, по-моему, станут еще лучше, если овладеть искусством беседования: встретив подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, полезные самому сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей..."¹

А особенно боялся я духа всякой фиксации — в форме протокола ли, магнитофона ли, — так как это могло окостенить мысль, лишить беседу непринужденности. И жанр сократических бесед был бы убит. А им мы все дорожили более всего. Так прошли три беседы. На следующий день после третьей, проснувшись, я понял, что хоть для отчета самому себе — что я понял, насколько со вчерашнего дня стал умнее, — имело бы смысл восстановить ход беседы. И я записал, что припомнил.

Подумал я было о том, чтобы и каждому участнику после беседы записывать, что он говорил, и так вместе сложить книгу. Но тут опасность была в том, что каждый стал радеть бы не об общем мышлении, а чтоб самому больше и умнее сказать, и опять явилась бы натянутость. Так что решил я ничего не менять в беседах, а самому записывать постфактум — для себя и, может, когда кому пригодится. Такое записывание и Сократ одобрял: "...Ради развлечения он засеет сады письменности и станет писать; ведь он, когда пишет, накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по тем же следам; к тому же он сможет полюбоваться их нежными ростками" (там же, с. 251).

Так я и записывал: лихорадочно быстро, что успевал припомнить, опуская подробности, заботясь о географии самого

¹ Платон. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 248—251.

мышления в ходе беседы — русло и извивы его реки на карту нанести. И поскольку писал я и припоминал я, мой голос в записи занял непомерно большое место, заглушая голоса собеседников: не хватало во мне и времени, и художественной памяти, чтоб любовно восстановить речи участников в их характерах и характерности. Так что получился в итоге суховатый пересказ, где беседа чуть ли не целиком переплавилась в монолог.

Открыв эти записи сейчас, почти через два года после бесед, я понял, что даже в таком суховатом монологическом пересказе беседы эти общелюбопытны. Оттого и рискую предложить их сейчас на общий глаз, ум и суд.

Читателю стоило б быть снисходительным к некоторым заносам мысли, гипотезам, фантазиям, ибо в возможности прибегать к ним — прелесть живого умозрения: мысли и слова надо воспринимать отчасти как голоса персонажей в художественном произведении, видя в них **образ** мысли, а не однозначный тезис автора. Так же не придирчивым стоило б быть читателю и к некоторым возможным неточностям в моей передаче фактов из быта разных народов, которые упоминали участники бесед.

Не записана здесь последняя беседа “О национальном Эресе”.

Присовокупляю к беседам несколько своих рассуждений, исполненных в таком же жанре — толкования национальных предметов, обычаев.

Большинство участников наших бесед принадлежало к представителям восточных народов, и потому разговор чаще всего имел в виду варианты восточных видений мира.

Участники наших бесед — вот они:

Мурат Ауэзов — казах,

Болатхан — казах,

Ораз Дурдыев — туркмен,

Борис Гургулиа — абхаз,

Константин Цвинария — абхаз,

Джура Бако-заде — таджик,

Альгис Бучис — литовец,

Белецкий — молдаван,

Михаил Чиремпей — буковинец.

Это постоянные. Иногда приходили: Болатхан Тайжанов — казах, девушка-калмычка, латыш-эстетик и иные.

Я с ними говорил об этом предприятии издания, и они против оглашения наших бесед не возражают. Правда, я не смог

выверить с ними точность моей передачи высказываний собеседников, так что если что не так, заранее прошу их извинения, и вся вина — на мне, а им лишь моя признательность за пиры духовные.

Попробую слегка восстановить мое вводное слово на первой беседе.

“Исходим мы из следующих предпосылок: каждый народ видит мир особым образом. Зависит это от того участка мирового бытия, который достался, доверен на жизнь каждому народу: от особого сочетания первостихий — земли, воды, воздуха, огня, — которое отлилось и в составе человека (этническом и духовном), и в быту, и в слове. История народы меняет, сближает, перемешивает, однако работает она на добротном, сложившемся тысячелетиями национальном субстрате, и все изменения суть именно его изменения. Оттого и история своеобразна, и особы в ней извивы и сочетания общей миру цивилизации и исконно выросшей у народа каждого культуры.

Все это, допустим, так. Но как установить особенность каждого народа в видении мира? Для этого надо научиться читать книгу бытия каждого народа, которая написана на его земле: в горах иль равнинах; в небе: северное сияние иль убивающий, огненный столб Шивы; в воздухе, в воде, в вещах быта, в языке, в музыке и т.д. Я недаром сказал вам к первому занятию прочитайте Гиппократу, книгу его “О воздухах, водах и местностях”, на которую меня надоумил Бахтин в книге о Рабле. Там как раз прекрасно выводится характер, нрав народа в зависимости от сочетания стихий, где он произрастает, как порода растения, и, главное, дан прецедент духовно-философского толкования, казалось бы, только природных явлений. Ан нет: нет просто природы как вещества, она вся сочится смыслами и переливает их в состав человека, истекая уже его мыслями. Помните у Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в пей есть свобода,
В ней есть любовь, в пей есть язык...

Но не это трудность — подозревать смысл в существах природы, в вещах обихода. Трудность — научиться их читать конкретно. Маркс говорил, что в предметах, созданных трудом человека и окружающих его, застыла книга человеческой психологии. Так вот: искусство надо выработать, как и умение читать эту книгу, и произведение каждой вещи обихода, и ин-

струменты труда — что они нам глаголют, какое стихотворение из них шелестит? Мы и будем заниматься толкованиями — природы, вещей, уяснять, что они нам говорят.

Для этого восстановим в правах древний жанр **умозрения**. Людям-то искусства, художникам, поэтам к нему позволено прибегать, мол, какой с них спрос: воображение, вымысел, фантазия, все это несерьезно и не претендует на истину! Но вершине истины все равно, как мы до нее добираемся: по уступам и стенкам горы, научно двигаясь и видя только эту гору или на вертолете умозрения взлетая и имея возможность обзреть контекст этого утеса среди долины ровная иль горы в системе Тянь-Шаня. Так что да будет нам почтенен ковер-самолет умозрения и отнесем к нему всерьез: то не блажь, но инструмент откровения истины в ее общих очертаниях, а там уж подводит научный аппарат опытов, доказательств.

Наш предмет — **национальный космос**, в древнем смысле — как строй мира, миропорядок: как каждый народ из единого мирового бытия, которое выступает вначале как хаос, творит по-своему особый космос. В каждом космосе складывается и особый **логос** — национальное миропонимание, логика. Это — самое тонкое, до чего нам добраться и постигнуть. Уловимо оно еле. На верхних этажах духа: поэзия, литература — запутаешься, не разберешься, где свое, а где уж заемное, переработанное. Потому нельзя нам начать прямо рассматривать национальный логос, а нужно его пуповину с национальным космосом восстановить. Последний нам не сам по себе интересен (как его описывают науки о природе: география, биология, антропология), но натурфилософски: именно в его перерастании в национальный логос, национальный склад мышления. Так что наш предмет — национальный **космологос**.

Нам надо начать работу с рассмотрения и толкования нижних этажей национальных космологов: природа, быт, дом, одежда, пища — как из них источаются, словно бы сами собой наружу просятся определенные мирозерцательные мысли — каждому у своего народа уловить их и прочитать и нам доложить. А мы будем сопоставлять, как это у других народов; в итоге прояснятся каждому и всем его народа особенности — как реализованные возможности и варианты бытия мира как целого.

Еще и потому нам следует работать на низовом, так сказать, этнографическом уровне, что этот язык вещей всем очевиден и понятен, тогда как займись мы сразу поэзией — тут надо язык знать, историю, произведения, что другим непонятно, неизвест-

но, и время уйдет на осведомительство и просветительство, а не на мышление. Но когда-то и до верхних, собственно духовных этажей национального космолога доберемся.

Итак, на первую беседу предлагаю: “Низ национального космоса”. Это — земля, поверхность, ее склад, воды, реки, леса или степи, горы и к какому направлению умов такой склад бытия предрасполагает”.

Была эта беседа. Потом еще одна; в ней, в частности, о национальных болезнях говорилось — как типичных для данного космоса аномалиях, т.е. что в нем особенно ложь (нездоровье в плане логоса — уже ложь, а в плане морали — зло), и это по-своему оттеняло нормальный космос, его невоспаленный строй, истинное в нем бытие.

Беседа третья — 20.1.1967

ДОМ

Собеседники: Ауэзов Мурат — казах (у него в комнате и собрались, расселись по кроватям за столом), Костя-абхаз, Борис-абхаз, Джура-таджик, Белецкий-молдаван и я.

Пока ждали, может, еще кто придет, **Мурат** заговорил:

— А вот цвета: в русском мире, очевидно, **красный** — главный положительный: “красная девица”, “красно солнышко”, красный = красивый. А у нас в Казахстане — белый: белый человек, белое лицо — хороший человек.

— И у нас в Абхазии — белый.

— А в Китае в театре маска белого цвета — отрицательный персонаж.

Я. — А я думал, что России присущ **белый** цвет, и проглядел, что “красный” нарицательное слово для “красивый”. Но что здесь раньше: “красивый” или “красный”? Если “красивый”, то и при слове “красный” бесцветная хорошость имеется в виду, ведь красный — цвет крови и огня, а нутро в России стыдливо спрятано¹.

Но, видно, больше не будет, а подойдут — включатся.

Рассудим сегодня о доме — так наместили. Дом — макет мироздания, национальный космос в уменьшении. Здесь земля (пол), небо (крыша), страны света (стены) и т.д. Как мир (природа) — храм, дом Бога, так дом — храм человека; чело-

¹ Кстати, о цветах: еще на первой беседе туркмен Ораз говорил, что в туркменском языке одно слово для обозначения синего и зеленого.

век творит дом, как Бог мир — по своему образу и подобию. Как в нашем теле заключена душа и просвечивает сквозь тело, так дом — тело на нас, в котором находимся мы; человек во плоти — как душа в доме.

Устройство жилища, с одной стороны, есть отпечаток, отражение космоса вокруг; дом строится как схема того, что человек видит вокруг, так что по дому можно изучать воззрение народа на мир: как он его понимает. А с другой стороны, дом не готовым берется, а строится и есть выражение нутра человека, невидимого устройства его души, проекция сокровенного микрокосмоса. Значит, дом — обоюдопосредник, как бинокль: оборотим его на грандиозный мир вокруг — и он предстанет в уменьшении, доступно и обозримо для нас. Обратим его внутрь нас — оно, невидимое “я”, выступит в проявлении (как на светочувствительной пластинке) и увеличении.

Итак, рассудим о доме, обращая внимание на вещество (из чего: камень, дерево и т.д.) и форму.

Ну, начнем с горцев. Давайте.

Костя-абхаз описывает конус, плетенный из рододендронов — теплый ведь климат, чтоб продувался дом. На зиму обмазывается глиной. Пол земляной. Очаг в центре, дым — в отверстие сверху, в центре...

— А как же в дождь?

— А над отверстием поднята крышечка, так что тяга под ней в стороны.

Я. — А! Это как ноздри. Ведь нос в нас — тоже двускатная крыша, конек над нашей тягой ее оберегает от залива.

Вообще дом — это голова. Ведь голова в нас — стяжение, макет всего тела, а дом уже тело выражает, как оно обобщено и абстрагировано в устройстве головы. Недаром в “Руслане и Людмиле” Голова — как дом, а русская изба и есть голова под шлемом.

В доме вход = рот. Двери = губы: где раскрыты, где сжаты. Окна = глаза.

Костя-абхаз. — Окон у нас нет, но видно в щели в плетеных стенах.

Я. — Это как поры в теле: через них свет-огонь проходит, но еще не сконцентрировался в глазе-солнце. Точнее, там, где нет окон — здесь и в юрте, — рот и глаз совпадают. Это как доглазые животные — кишечнополостные, с одним универсальным, синкретическим отверстием. Или как младенец ро-

дившийся — сосет, а еще не видит. То, что пол земляной, тоже о вельности земляной говорит.

Вообще тенденция жилища какова? Первое жилье — пещера (пещерные люди), т.е. рот, зев земли, ее полураскрытая утроба. Пещерные люди — в пазухе земли, как детеныши кенгуру в сумке. Это еще утробный период человечества и по жилью. Когда человек рождается, он выходит голым на Божий свет, на открытое пространство. То же самое и собственно человеческая история, и жизнь начинается с того момента, когда человек рискнул выйти на открытое ристалище. И тут же узрел, что он наг и гол. Ведь новорожденное животное сразу одето шкурой и может ходить. А человек гол и кожей нежен, и, как ему надо добавлять к себе шкуру — одежду, так и второй слой шкуры — дом строить, и именно **строить**. Как первая одежда — фиговый листок, так первый дом — плоскость (накидка) крыши (из листьев ли, камня на подпорках, шкуры ли растянутой). Хотя здесь уже различия наступают — от чего больше оберегаться: верха (дождя и солнца) или бока (ветров). Юрта оберегает больше с боков, вверху же — отверстие. А в Африке главное — покров, уберечься от палящего солнца, а бока открыты, стен почти нет.

Общая тенденция жилища — вознесение, Вавилонский столп — как нынешний городской дом, где человек не на земле, а на голове человека стоит. Притом есть соответствие между позой человека и устройством дома. У избы пол поднят над землей, стоит на камнях, есть и подпол — и недаром здесь человек не на полу, а на скамье или на стуле сидит. А юрта соответствует и сидячей позе кочевников — прямо верхом на земле. Всякая одноэтажность — **село**: от слова “сесть” (на землю). Город начинается с двухэтажности; с отрывом от земли человека-Антея и возникает мир искусственных ценностей, цивилизации, к чему и огород городить затеяли.

Борис-абхаз. — Это верно про пещеры. Но у нас в Грузии пещерные города — и не в первобытности, но в X веке, когда расцвет цивилизации и уже христианство. Это, верно, от врагов — в горе рыли пещеры, связанные переходами; там и церкви.

Я. — Да, но здесь важно направление труда: если человек равнины строит стены, одевает веществом пустоту, то жителю гор надо добыть полость, пустоту, а земля и так уже человеческой вертикалью поднята. Если там город — вверх городится над землей, то здесь город в утробе земли.

— Еще в Индии пещерные города — “Пещера тысячи будд”...

— А еще на равнине от врагов ров плюс к стенам.

— Ну да — усиливается вертикаль: вверху — через воздвижение земли, внизу — через опускание пустоты. Вообще такой пещерный город напоминает муравейник, а город воздвигаемый — улей.

Борис-абхаз. — Самые древние жилища у нас — дольмены: большой камень на двух других.

Я. — Это пещера, но уже воспроизведенная, повторенная — построенный рот.

Ауэзов. — Вот я хотел...

Я. — Ну да, давайте перейдем к другим типам жилища — богаче будет сравнение, а потом опять к горскому жилью вернемся.

Ауэзов. — Юрта круглая...

Я. — А изба — четырехугольная, и “не красна изба углами, а красна пирогами”, и есть в ней “красный угол”; кстати, почему святилище в углу, а не в центре или на фасаде? Свой свет во тьме не нуждается в окнах, как ум — светоч под тьмой черепа — не нуждается в глазах.

Но это — в сторону. Итак, юрта — круглая, и кочевник — круглоголов, а северянин, славянин — с более квадратной, угольной головой.

Ауэзов. — Юрта круглая, видимо, от равномерной открытости пространства во все стороны и необходимости быть готовым к нападению с любой стороны. Строится так: нижний ряд перекрещивающихся жердей идет вертикально, как стены, следующий ряд образует скос, и вверху еще скос.

Я. — Ага! В России в избе две грани: стены-щеки и череп-крыша. Здесь три грани: ближе к шару не только по сторонам, но и вверху.

Ауэзов (рисует). — Юрта покрывается кошмой: войлок из животного.

Я. — Значит, кочевник в юрте — как в шкуре животного, как в его сумке, за пазухой у своего стада.

Ауэзов. — Окон нет. Один вход с пологом.

— Что бы это значило, что окон нет?

Ауэзов. — Это верно, от степи: там ландшафт не дифференцирован, зато каждый звук разносится далеко, так что из юрты ориентируются по слуху. И если кто скачет — и по содроганию земли слышно...

Я. — Значит, связаны друг с другом сидячая восточная поза и беззаконность — усиливается восприятие колебаний земли

(прямо туловищем) и воздуха — как у слепых и даже как глухие слышат телом.

Ауэзов. — Даже обычай такой: за пятьдесят шагов от юрты спешиться, а то стук копыт становится невыносимым для слуха.

— А вообще: кому *слух*, кому *зрение* нужны? У птиц, видно, зрение — на что им слух? Они в открытом пространстве, где свет и воздух, а слух нужен кому?..

— Да тем, кто в лесах или в пустой, мелко дифференцированной местности.

— Ну да, где воздух заполнен воздвигшейся разнообразной землей — в ее дебрях чтобы не затеряться.

Костя-абхаз. — Притча у нас: как плыли лебедь-зоркий и бобер-водяной, слепой, но с острым слухом, по зигзагообразной реке. Лебедь за поворотом не увидел охотника и был убит, а бобер заранее услышал его шелест и нырнул под воду.

Ауэзов. — Так вот, в юрте при нападении врага все члены семьи имеют в бою четко распределенные функции: и дети и старики.

Вообще интересна тактика кочевников в бою. Когда они нападают на строй оседлого врага, они налетают волнами, испускают стрелы, а сами — тут же врассыпную в стороны.

Я. — Лучами-радиусами, как шар от юрты.

Ауэзов. — Вслед за ними тут же вторая волна налетает и тоже рассыпается, заходят в тыл. Я удивился, когда **котел** под Сталинградом назвали новшеством военной стратегии. Кочевники именно так — в котлы — и брали противников.

Я. — А! Теперь понятно, почему татаро-монголы били русских и всех оседлых, когда выходили в открытое поле. Земледельцы малоподвижны, угловаты (ср. углы избы и всесторонность юрты); когда лицом к лицу — сильные, но кочевники ускользают, выются выюном, надо на все стороны оборачиваться — и тут у привыкших к четким различиям переда-зада и сторон в пространстве земледельцев голова пошла кругом, потеряли ориентировку — как в игре, когда, завязав глаза, раскручивают человека, и он должен восстановить ориентировку. Значит, то, что земледельцы глазаты (у них окна), а кочевники — слухаты, проявляется при кругообращении: глаз привык и приучает человека к *сторонам света*, дает одностороннюю ориентацию — только спереду, а слух — круговую оборону развивает. Земледельцы — прямосторонни. Значит, кругообращение, кружение головы для слуха ничего не значит: в любой момент при остановке находит ориентацию в пространстве; а глаз теряется: ему

сначала надо восстановить, где раньше, вначале, были зад и перед, что к чему. А пока эти сообразят, кочевники, спутывая их ориентацию, нападая спереди и сзади, и с боков, — быстро бьют неповоротливых и неуклюжих земледельцев, прежде чем те успевают очухаться. И характерно, что на Куликовом поле русские победили Мамай, применив именно татаро-монгольскую тактику: заманив на себя и ударив из засады в бок им, а те, татары, уже от долгого оседания на Руси земледельчески окостенели и утратили свою кочевую суть времен Чингисхана и Батыея.

При такой, круговой, ориентировке в пространстве и тактике боя, очевидно, у кочевников не имеет нравственной разницы, убит спереди или стрела в спину вошла — то, что так важно для земледельческих народов.

Борис-абхаз. — А у нас — позор, если сзади убит. Верно, это с нашей оседлостью связано.

Костя-абхаз. — Черт возьми! Вот до чего дойти можно, всего лишь из устройства дома исходя!..

Я. — Но в бою какую цель преследуют: занять место или людей истребить?

Ауэзов. — Конечно, война кочевников направлена на истребление или полонение живой силы.

Я. — Ну да, а земледельцу важно просто оттеснить — грудью или плечом (как русский народ в нашествиях на Россию). Кочевнику же важно живое тело, а не место — земля или растение, — и враг видится как животное, как тело, а его дома, город, земля, посев — это все без значения. Недаром курганы из черепов насыпал Тимур-кочевник.

Ауэзов. — Вот еще важно, что у кочевников нет двора.

Борис-абхаз. — А у нас двор большой, и в нем очень расчлененное пространство.

Я. — Как дом — макет всего мироздания, так двор — модель вселенной, пространства.

Борис-абхаз. — Дом так строится. Два здания: одно — рабочее (там и едят) и второе — спальня.

Ауэзов. — Интересно поселение узбеков: когда кочевники перешли к оседлости — словно по контрасту — совсем отгородились от мира. Вы были в Ташкенте в старом городе? Там на улицу — глухие стены, ни одного окна.

Джура-гаджик. — И у нас окон на улицу не выводят, а лишь во двор: чтобы женщин не видели и они на чужих не смотрели.

Я. — Но это же опять юрта — только навечно посаженная. Ведь в юрте тоже окон нет, вовне она не направлена, а все —

внутри себя. Отсюда и глухие дувалы и разнообразие во внутренних дворах узбеков и таджиков.

Интересно, что русские окна — чтоб глазеть на улицу, по сторонам, выражают любопытство — как экстравертность духовного пространства в человеке: направленность вовне, выход из себя.

Костя-абхаз. — И у нас “дом — моя крепость” (так, кажется, англичане говорят?) И могилы, родовые склепы внутри двора.

Борис-абхаз. — Вот недавно у нас один умер; перед смертью построил дом, а наследников не имел. Так его, по настоянию родных, в центре дома, под полом похоронили — и дом ему стал как мавзолей.

Я. — Неужели так богато с пространством в Абхазии, что так поступают?

Ауэзов. — Да, а вот в Китае национальная проблема: кладбища — на лучших землях; новая власть решила снести — так со всего Китая старухи легли на могилы, и пришлось отменить.

Я. — Вообще тип захоронений очень важен. Вот Борис говорил, что двор строится с расчетом на прием гостей — на свадьбу или похороны — и тут же склепы. Это значит: дом (космос) построен для прибытка, прибавления к бытию, к расширению — и к сужению, к выделению из себя.

Ауэзов. — Наши захоронения — курганы. Разбросаны по степи. На них — каменная баба.

Я. — Но как же узнают своих?

Ауэзов. — Кочевья — это отходы и возвращения. Так что те же места проходят. Но вообще, если вот у других народов в войнах оскверняют могилы друг друга, то у кочевников этого нет: уважают курганы и тех мест, где враги.

Я. — Ну да, может, там и мои предки зарыты — откуда я знаю? Ведь и мы там некогда кочевали.

Ауэзов. — Интересно, что вот это уважение вообще к могилам, неразличение вражеских и своих сопряжено с тем, что особого культа мертвых у кочевников нет: умирает — и к нему теряется интерес, словно к нам уже отношения не имеет.

Борис-абхаз. — А у нас чтут могилы, и если кто хочет прекратить кровную месть, он ложится спать у могилы предков своего врага — значит, к корню вражды восходит и ее отменяет. Это замечают — и мирятся.

Костя-абхаз. — А другой способ прекращения кровной мести: поцеловать грудь матери врага — и стать молочными братьями.

Я. — В захоронениях у оседлых народов читается именно *этот* мертвый — мой предок: род, значит, дифференцирован на личность. У кочевников чтятся вообще мертвые, нет меж них личностной дифференцировки — значит, и меж живых она неразвита. Но все же, раз у кочевников нет стойких мест погребения, память о мертвых должна как-то переноситься с собой — как и их жилье, юрта и вообще все свое они носят с собой. Нет ли каких-то вещей от умерших?

Ауэзов. — Да, точно: вещи умершего распределяются и сразу носят.

Я. — Значит, его память не сосредоточивается на нем — как в погребении, не выделяется в особый предмет, а распределяется, дробится меж живыми — как тело Господне при причастии.

Ауэзов. — И издавна старики в каждом роду содержат родословную книжечку, где арабскими буквами заносят и ведут всю последовательность колен. И часто старики разных родов встречаются и выясняют степени родства. Так что вот она, переносная память, как и эпос Манас, сказительство...

Я. — Но это мы все о захоронениях, т.е. в землю — в утробу возвращениях. Но есть же сжигание трупов. Что значит?

Молдован Белецкий. — В Индии — прах над Гангом или просто в воздух развеивают.

Я. — Пойдите, да и греки гомеровские — гекатомбы на кострах, трупы сжигали. Значит, восприимчивыми уходящей жизни становятся огонь и воздух, они особенно насыщаются жизнью. Недаром это мировая душа — Брахман, атман, прана — жизненная сила, и у йогов техника дыхания как род мышления разработана.

Ну, сегодня прервемся.

В следующий раз продолжим о жилье — внутренность теперь: что там значат части дома и вещи. И одежда — как дом на человеке.

Нам не хватает как собеседников: знатока русского быта и индуса. Еще бы африканца и западноевропейца. Как бы найти?

Беседа четвертая — 27.1.1967

ДОМ — ВНУТРЕННОСТЬ

Собеседники те же.

Ауэзов. — Юрта — пола нет: войлок, ковры, одеяла, подушки — в приданое.

Я. — Значит, и снизу, и сверху, и с боков кочевник — в шкуре животного, животным окружен.

Ораз-туркмен. — Чувалы подвешивают к жердям тесемками, чтобы перевозить.

Я. — Как шкафы и комоды. Только если у земледельцев предметы стоят так, что низ — фундамент, то здесь опора сверху. То же и очаг: котел висит или на тагане провисает.

Обратим внимание, как дифференцирован *низ*! Разные ковры, подушки. У земледельцев низ — нейтрален, пол — не разрисовывается, разнообразие — на стенах, возвышено. А здесь подушки — как мягкие внутренности нашего тела: пленки, мышцы; ковры слизью обволакивают.

У земледельца более жестко все — к телу не ластится, как кошка, тело содержится в суровости и спартанстве (стул, стол — поза угловата, как и изба — углы да стул); кочевник, сидя, свернут комочком — в мягкости бедер своих ног, ягодиц утопает, а не отрешается жесткой гранью.

Болатхан-казак. — Круг юрты — равноправие: на окружности нет места более важного, нет иерархии. Отсюда демократизм кочевой семьи. Но все же старейший сидит против входа.

Я. — В русской избе тоже стенка против входа — главная, как и во храме. Лучшее место — красный угол.

Итак, в юрте нет внутрипространственной дифференциации.

Ауэзов. — Если женится сын, ставят ему особую юрту, но не то чтобы внутри юрты делилось помещение. А юрту поставить просто.

Я. — Значит, происходит не развитие, не создание более сложного многоклеточного организма — дома целого, но умножение одного и того же — как грибы, т.е. не как выведение новой породы животного, а размножение одной и той же.

У земледельца же дифференциация внутреннего помещения отражает утверждение различий и рост личности: как тело — стенка нашего внутреннего мира от других, так и стенка, создавая особое помещение в доме, обеспечивает сгущение и оформление “я”, особой жизни и интересов.

А в юрте обособление личности невозможно.

Ораз-туркмен. — У нас до сих пор даже в городах входят без стука.

Я. — Ну да: в другом не предполагается особой жизни, в которую бы я не мог проникнуть. Значит, юрта уже носится как внутреннее пространство современного горожанина — бывшего кочевника.

Ауэзов. — У нас извещают о приближении голосом.

Я. — То есть через воздух. А стук — через стенку = землю. Там воздух, здесь земля — основное место жительства и стихия.

Ораз-туркмен. — У нас *дверь* важна — на ней узоры. Ставится новый дом, а дверь старая — от предков.

Я. — Это как щит с гербом. И дверь — верно — щит от инородного пространства.

Итак, у юрты монолитное внутреннее пространство — единое и неделимое. Этим она производит монументальное впечатление. Она не может расти внутрь и вверх без предела (как храмы горожан, и в том их монументальность — внешняя). Юрта есть целостная идея и имеет внутреннюю форму, изнутри положенную границу.

Болатхан-казах. — Когдаходишь в русскую избу, изолируешься от пространства, в юрте же человек ощущает себя более соединенным с природой.

Я. — Ну, с природой любое жилье связано. Важно точно выявлять, с какой природой. Ведь в русской избе стены-то из дерева: здесь *лес* вовнутрь введен — прямо с лесом живут.

Болатхан-казах. — А у нас, значит, с воздухом, с открытым пространством больше связь.

Альгис-литовец. — А у нас основа всего — земля. Ее делят. Хутора — предел индивидуализации; живут в лесу — и не видно, невозможно зайти и взять — как в любую юрту кочевого рода. Чтобы дружбу сохранить, надо отделиться; соседи же — конфликты.

Болатхан-казах. — А у нас делят не землю, а скот, но не числом, а жеребца или матку с табуном.

Альгис-литовец. — Земля — твердая форма, отсюда меры, и числа, и счет развились у нас.

Я. — Значит, кочевники делят плодородящую силу (жеребца, кобылу), т.е. потенцию, и в их жизни расчет на *время*; а земледельцы — вот это место, *пространство*, данное, факт, сейчас.

Но вернемся к внутренности дома. Итак, в основе жилья — костер (люди вокруг него) и покров (над огнем и людьми). Значит, тип огня, очага = тип жилища. Огонь! Это как сердце — наш очаг, так и очаг — сердце жилья.

Альгис-литовец. — У нас простейшая — дымная изба.

Болатхан-казах. — А у нас выходит дым — вертикально тяга. И если дождь и ветер, то верхний колпачок так устанавливали, чтоб тяга была.

Я. — Это как парус.

Ауэзов. — Ну да, как на яхте нужно мастерство, галсы, чтобы и против ветра плыть, используя его силу.

Я. — Но курная изба возможна, верно, оттого, что горение дерева не дает такого чада, как горение масла, жира. Очаг с видом горючего материала связан.

Ораз-туркмен. — Нет, не сало, а саксаул горит у нас.

Ауэзов. — А у нас кизяк — навоз животный, и прямо мешочек под хвост подставляют.

Я. — Значит, и огонь из животного добывают: задний проход “огнем пышет” (как на скаку пламя изо рта у коня).

Ораз-туркмен. — Саксаул — очень плотен и жарко горит, мало его надо — и тепло.

Я. — А на севере дров большая масса нужна, и строится печь — как дом для огня. Ну да, русская печь — целое архитектурное сооружение, храм с отсеками: приступки, окна, лежанка. Печь = дом в доме.

Вот разница: очаг открытый или закрытый. В юрте — открытый — на виду огонь, как и вся внутренняя жизнь на глазах у всех. В избе — стыдливость: сердце (огонь) покрыто, нет такой наивной обнаженности. Камин — городской очаг: в стене наполовину, а наполовину открыт. Это — очаг как барельеф (тогда как голландская печь — очаг = статуя, а русская печь — очаг = собор).

В следующий раз продолжим очаг-огонь и рассмотрим национальную еду. Еда — тоже микрокосмос, это Космос, что внутри нас входит; из каких еда стихий состоит, как земля проходит огонь, воду и медные трубы; вареная и жареная — разница; жареная — без воды, соединение огня и земли. И время важно, и разделенность или смешанность частей пищи. Мы начали со всего космоса, потом рассмотрели дом — как его уменьшение; человек — как еще большее стяжение; и вот еда — совсем сгусток национального мироздания. Когда до семени дойдем, тогда национальному Эросу предадимся — и восходить начнем: к Духу и Богу, и Слову — к духовной культуре.

Беседа пятая — 24.11.1967

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА (I часть)

Собеседники: Мурат Ауэзов, Борис Гургулия, Джура-таджик, Болатхан-казах и я.

Мурат поставил чай, заварил, набросал хлеба, баранок, сахару и банку варенья поставил. Мне пиалу дал.

Начали.

Я. — Национальная еда — это та часть внешнего космоса, что переходит в нутрь нашу и становится частью микрокосмоса. Еда — это посредник между внутренним и окружающим мирами. Так что давайте приглядимся, точнее — придумаемся к тому, что ее состав выражает.

Рассудим. Что из природы может входить внутрь в готовом виде — не проходя через огонь?

— Плоды, фрукты, овощи, корни, ягоды...

— Они на деревьях, стеблях, вознесены над землей, напитаны водой (дождями и соком ствола) и солнцем. Значит, самой природой сделано то крещение огнем и водой, которое должно претерпеть всякое вещество, чтоб попасть внутрь к нам. У врат Эдема нашего — нутра — словно как бы два херувима стоят: один — с огнем, другой — с водой.

Плоды, фрукты — сладки, а сладость есть *огневода* (сок Эроса).

И если в земле — морковь, свекла, то то же: коли сладко — красновато, огненно, а менее сладко — сыро, водяно: репа, капуста. Корнеплоды, в отличие от фруктов (при том что оба — огневоды), — крен к воде, ибо в женщине-матери сырой земле залегают, а фрукты — более огненны, мужские: в воздухе и к солнцу над землей вознесены — как головки фаллов торчат (тогда как овощи — влагалищны). Очевидно, и слова, их обозначающие, разный род в языке имеют. Все, что корнево, — женского рода: морковь, капуста (лишь хрен — фалл старый — горек). А фрукты — лимон, виноград, апельсин, яблоко — *der Apfel* (нем.), *le pomme d'or* (франц.), помидор — **он**, баклажан и т.д.

Вознесенное — мужского рода или среднего (яблоко).

Но в России — мать-сыра земля, как преобладающая идея, агрессивует и на сферу мужскую и заполняет и фрукты женским родом: ягода, груша, земляника и т.д.

Так что по языкам надо проследить — и национальное соотношение мужского и женского здесь предстанет.

Итак, в готовом виде до человека восходит растительная природа, и человек обнаруживает себя как травоядное животное.

Ну а из животного мира есть ли что готовое для нас?

— ? (Думаем).

— Ведь человек равно ест растительную пищу и животную — как свинья, которая и картошку, и курицу, и ненароком

ребеночка или своего поросеночка сгрызет. Человек — животное и травоядное, и хищное: и корова, и тигр одновременно. И отсюда ясно, что у кочевых народов, поглощающих животную пищу, больше черт хищных животных: вспыльчивость, рывок, мягкая кошачья походка (даже лицо — прищур косых глаз и приплюснутый нос), а у северных, русских например, — больше сходства с травоядными, мирными животными: круглые коровьи глаза, лошадиная голова и терпение, медлительность.

Болатхан-казах. — А молоко! Ведь вот что в готовом виде из животного мира до нас доходит. Молоко — мы отбираем питание у животного потомства и это русло отводим на себя.

Я. — Прекрасно. Но что есть молоко? Это как в яблоке сладость — огневода: сквозь туловище дерева пропущенные и переваренные вода дождей и свет солнца, — так и молоко тоже огневода, эротическая влага, пропущенная и переваренная за нас в живой топке — теле животного. И о! Вот еще сходство: молоко — как семенная жидкость, и фрукт — плод: в яблоке, в винограде, арбузе — семя.

Значит, в готовом виде для нас из природы доносятся *семена* всех существ (т.е. их идеи — энергии, кванты). И мы в своем питании как бы перекрываем плодоносящую силу природы, встаем у ее границ и обрубаем головы гидры природы, а потом и сознательно (в земледелии и скотоводстве) оседлываем семяпроизводящую работу природы.

Да и орехи и ягоды — тоже семена. И “семечки” подсолнуха. И зерна злаков — они же семена.

И из рыбы готова в сыром виде к нашему употреблению — икра — опять семя.

Итак, на *идеях* природы мы вскормлены, ибо семя — это потенция формы, энтелехия, но вида не имеет, а все — капли, круглы: и икринка, и зерно, и капля молока.

Или, пожалуй, еще лодочка: семя есть и зерно (пирожок) — значит, имеет *цель*: нос и корму — направлены лучики, и их уже не все равно, как сажать: есть верх или низ — солнечная и земная стороны.

— Ну а сырое мясо возможно?

Ведь предки ели. Да и сейчас рыбу мороженую на севере едят. Или соленую; да и свинину посоли сырую — вот бекон.

— Ого! Значит, *соль* играет роль обработки сырья огнем: она — стусок огненной энергии: недаром светла, бела, солнечна, есть представитель солнца в земле — “**соль земли**”. (Недаром и корень один: **соль — солнце.**)

— Да, еще кровь — вот что из животного готово в нас идти, и, когда режут, иные присасываются к горлу и кровь пьют.

— Но кровь — тоже вид огневоды, красная, как плод.

Итак, везде, даже в естественной пище, через горнило стихии **огня** должно пройти вещество природы, прежде чем станет пригодной для вхождения в нашу нутрь — пищей.

В яблоке, молоке, соли, икре — снизошедший огонь таится. Естественно поэтому, что когда сами люди стали дары основной животворящей силе, представляя ее как бога, приносить, они предавали даруемое огню: пропускали через огонь и, когда огонь насытится мясом, например, или клубнем (картошки), т.е. бог возьмет свое, свою долю, огнем обрезанную, тогда уже может и человек остатки с божьего стола доедать.

Всякая варка, жаренье, печенье (т.е. пропускание через огонь) есть воздаяние, и это жертвоприношение приносим мы в современных газовых и электроплитах. Ведь после огня масса уменьшается, и “тук” — лучше возносится дымом, паром и чадом в ноздри богов. Сгорает ведь жир — бело-огненное: богу — богово, огню — огнево возносится, свое он забирает. Но зато и боги благословляют, одобряют нам после этого пищу, и она, хорошо проваренная и прожаренная, идет нам впрок: усваивается нашим микрокосмосом как одухотворенная, обожевленная материя: в нее вдохнута огненная душа=луч, т.е. то, что и есть, и представляем мы собой.

Болатхан-казах. — Значит, огонь — это всеединое, всеуравнивающее для всех народов.

Вообще начинается питание у всех народов с материнского молока, и в этом все одинаковы. А потом начинается дифференциация в пище и идее, и характере.

Я. — Но в этой дифференциации — через огонь — и выравниваются травоядность и хищность в народах. Если бы так и ели сырое: травоядные — овощи, фрукты, ягоды, орехи, а мясоядные — сырое мясо и молоко, — то это еще не люди, а лишь человекоподобные существа разных видов. Лишь начав пропускать сырую ткань плодов и тел через огонь, травоядные народы обретают необходимую энергию, огненность — мысль (а не только рыхлую массу и силу), форму, а бывшие хищные, мясоядные — обретают умиротворяющую кротость, уравновешенность, лишаются ярости и неистовства (что пробуждает запах сырой крови) и получают мягкость, рассудительность, совесть.

И все это дарует огонь: одним уделяет от своей энергии, жара, другим — от своей светлости, чистоты и меры.

Но до сих пор (в нашем рассмотрении) люди пасутся — как травоядные (бортничество) или хищники (охота), завися от случайностей и сезонов.

Человечество начинается с обособления и независимости от природы. Переход к управляемому процессу создания пищи — земледелие и скотоводство.

В обоих человек оседлывает порождающую деятельность природы у ее корней и плода, встает стражем на двух рубежах: у причин (посев, случка) и целей (жатва, забой). То есть из аморфного потока жизни природы выделен отрезок, форма, часть, — но такая, которая представляет за целое. (Ведь такими повторяющимися отрезками проходит жизнь целого: она не нарушается, как если бы часть была выделена неверно: ну например, — не от зерна и до зерна, а от зерна до ростка.) Такая часть всего есть суть, истина, смысл.

Уловлена закономерность, то, что повторяется. В сознании возникает идея устойчивости, стабильного, того, что жизнь не только течет, но и есть — пребывает, есть истина — истина, покой.

В чем отличие пищи земледелия от натуральной? Сажается зерно. Ждет. Значит, оседлывается время — оно впрягается в работу. Зачем? Чтобы, собрав зерно (=имея стадо), иметь возможность есть не когда плод подвернется, а *всегда*: не по дару извне, а по позыву изнутри — собственный ритм жизни нашего существа становится законодателем. Зерно лежит, сколько угодно и удобно, и пища всегда под руками. Идея “всегда”, вечности. Сначала — в посеве-жатве — работает на время и через время. В итоге же завоевывается независимость от времени. Но важно, что обе идеи — времени и вечности — входят парой.

Вот сколько метафизических идей таится в простом захоронении зерна, — и земледелец их в себе уж имеет и носит, и непрерывно из своего быта получает и узнает.

Зерно, конечно, главное в земледелии. Есть ли народы, без хлеба обходящиеся?

— В Японии мало едят — экономия.

— Кочевые мало.

— В Западной Европе — англичане, германцы.

— Но есть ли вообще совсем без злаков обходящиеся?

Ауэзов. — Даже кочевые — весной сажали, а осенью возвращались на то же место, ведь были установленные маршруты.

Я. — Хлеб — как солнце, скот — как планеты, светила передвижающиеся (недаром созвездия Зодиака — по животным, а не по растениям названы). Недаром и хлеб пекут круглой формы — как солнце. И колос — лучист, и солнце колосится лучами.

Зерна на стебле — между небом и землей: как птицы, плоды и светила. В злаке — белок, огнистое вещество.

Болатхан-казак. — Земледельцы много труда в пищу вкладывают, а у кочевых само собой стадо растет, потому более ленивы, не энергичны. Чувство собственности — чувство личное: моя земля — продолжение моего тела.

Борис-абхаз. — Зато, когда ударят по лошади, если человек верхом, — значит, оскорбили его самого.

Болатхан-казак. — И в психологии: кочевые не знают того, чтобы в драке пырнуть ножом, ибо жизнь живого существа священна.

Я. — Но, с другой стороны, в войнах кочевые нападают, а земледельцы держат оборону — т.е. блюдут ограду, “я”, идею границ, пределов, определенностей в мире, покоя и истины; кочевые — идею движения, перемен, смерти.

Обратимся, однако, к пище, ее составу. Что есть основная, ординарная еда, а что — праздничная, видно по запретам, которые накладываются обычно на то, без чего, значит, можно обойтись.

Ну, давайте — кочевую.

Ауэзов. — Молоко и мясо. Утром выпивают молоко и едят лепешку, в обед тоже молоко, а главная еда, ужин — и допоздна вечером: варят, едят, разговаривают — еда с шуткой и приговоркой, не как на Севере и в России: ем — глух и нем, а как заговорит — ложкой по лбу. В вечерней еде сначала кумыс.

— А кумыс как делается?

— Сначала в деревянных кадках кобылье молоко бродит, а потом в кожах в землю зарывается.

— И вина тоже в дереве киснут, а в бурдюках выдерживаются.

— Значит, и кумыс, и вино сначала крещенье растительным миром проходят: ведь от того или иного состава дерева — дуба или бука — особый вкус, в коньяке например; потом в чреве животного, как его новая кровь, выдерживается.

— После кумыса — мелко нарезанные почки и мелкие части мяса — как салат.

— Ага! Значит, хоть состоит вся пища из мяса, но в теле животного разные места разный вкус имеют. И как у земле-

дельца на одном участке земли огород, на другом сад, на третьем сенокос, на четвертом злак, так и тело животного имеет свою топографию, и почки подаются как блюдо с огорода — салат из овощей, филе — как каша, а части головы делятся как сладкое, на закуску — то, что из сада.

— Ну да, особенно важно распределение головы. Уши отрезают, дают с шуточками детям, женщинам или о ком слух какой идет — с намеком. Это веселая часть еды.

Самое важное — когда глаз делится, но без зрачка: зрачок нельзя.

— Интересно почему.

— Очевидно, зрачок = жизнь как семя — божье или бесовское. И опять же дурной глаз — в зрачке.

— Народы Севера, делая статую, отказываются ставить зрачок, ибо тогда заживет и станет опасной.

— Язык тоже, когда делят, кончик нельзя.

— На кончик языка попадаться опасно?

— Кончик языка, видно, как зрачок = кончик глаза: средоточие и истечение, седалище духов.

— Ну а чем запивают?

— Кумыс, шурпа — бульон с мукой.

— А пьяные напитки?

— Вот кумыс.

Болатхан-казах. — Но вообще кочевые не пьют, нет потребности. Вот у земледельца — другое: тяжелый труд требует расслабления. И, говорят, водка растворяет какие-то соли. Усиливает их обмен. Потому, когда пьют, закусывают соленым и кислым. И так приводится в равновесие нарушенный трудом и сверхусилием состав. А в кочевнике — день течет ровно.

Я. — И вообще когда больше пили в мире: сейчас или раньше?

— Сейчас.

— Очевидно, городская жизнь и трудовое и бытовое напряжение и увеличившиеся соли и грязь в человеке требуют вымывания и растворения...

— А что значил запрет на вино в исламе?

— Мухаммед хотел иметь народ воинов, а вино расслабляет.

— Но почему же привился запрет? Ведь запрет на свинью привился оттого, что ее просто нет.

Ауэзов. — Ну да, мы и раньше говорили: запрет на свинью был наложен, чтобы отличить себя от иноверных гяуров

(“кяфыров”), просто как знак отличия, чтобы говорить о других: вон они поганые, свинью, нечистую пищу едят.

— А конь, кстати, очень разборчив в пище и грязную воду пить не станет.

— Зато свинья на Севере привилась. И вообще жир — у якутов: из него огонь, свет и тепло. Жир = сгусток огня в животном (как и соль в земле): то, чего недостает северянам в окружающем космосе неорганической природы, компенсируют поглощением органического огня и тепла. И как в огне осуществляется уравнение растительно- и животноедыщих народов, так и для северян сало **вся**дной свиньи есть уже обожженная, процеженная через огонь природа.

— А как же сохраняется мясо у кочевых?

— Да, не во всякое время можно забивать.

— И молоко сухое, как творог, сбивается и сушится на солнце. А мясо кусками в кишки набивается, и висят они над очагом и копятся — так мясо огнем сохраняется.

— Ага! Значит, высушивается. Сырое = живое: молоко, продолжая жить, бродит и уходит за пределы человеческой съедомости. Чтобы удержать, его убивают = прекращают его жизнь для себя, в себе, а зато сохраняют вечную его жизнь для нас как возможность воскреснуть. В самом деле: когда мы оживляем высушенное, мы его мочим или во рту — и так впускаем. То же ведь и злак. Если хранить в зерне, оно может продолжать жить, прорасти — и стать негодным. Тогда его сушат, убивают, растирают в муку (муку зерно принимает). А когда надо оживить белок, белый огонь, — смешивают опять с водой, осыряют в тесто...

— Вообще еще важно: кислое, сладкое, острое.

Болатхан-казах. — Острое = огненность, перец...

Я. — Человек — как сквозная труба — сквозь себя пропускает ежесуточно. Но и сам он — из земли и в землю. Так вот, если мы, наше тело живет благодаря тому, что впускаем и выпускаем из себя, то Земля тоже не живет ли, выпуская в мир и забирая опять в себя людей?

— Да, и постройка городов, цивилизация, промышленность — как это для жизни Земли?

— Это уж, видно, связано не только с земной, но и с участием человечества и Земли в жизни Вселенной. А результаты нам как видны могут быть?

Ауззов. — Быть может, к моменту, когда мы уьем плодородие земли, человечество призвано будет изобрести иную форму бытия — не жизни?

— И верно, ведь уже издавна родилась идея *вечной жизни* в духе, параллельно телесной: Бог, царство Божье, культура. Все это копилки вечной жизни.

Вот как через пищу мы к духовности перешли. Но я еще боюсь за это браться — за национальный образ Бога. Надо еще закрепиться на анализах материально-телесных вещей.

В следующий раз продолжим философию еды и питья.

Беседа шестая — 3.III.1967

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА (II часть)

Собеседники: Мурат Ауэзов, Альгис Бучис, латыш-эстетик (Бучисом приведенный), девушка-калмычка, туркмен Ораз и я.

Я. — Напоминаю ход мысли о еде.

Еда = посредник между макро- и микрокосмосом. Заглатывание = освоение бытия, как и мышление. Каждое блюдо — это мысль и суждение о мире. В самом деле: если мясо, вода, хлеб — это субстанции, сущности, категории, идеи, то щи, котлета с картошкой — это уже соединение нескольких понятий, субъекта с предикатом и определениями и обстоятельствами (гарнир, подлива, соус — вводные слова, модальность выражают и т.д.) — и все это образует целое предложение, высказывание о бытии. Только надо суметь его прочитать. И в этом смысле хозяйки, женщины, на кухне, не ведая того, что делают глубинно-духовное дело, непрерывно изготавливают, вырабатывают и питают нас самыми фундаментальными идеями и суждениями о бытии, которые залегают в плоть и кровь и сок наш — под сознанием и мужским духом... Итак, через вкушение внушение кардинальных идей творится.

Ну, начнем. Давайте с Севера — с Литвы, так как прошлые занятия все с кочевыми возились.

Бучис. — Ну, у нас главное — картошка, молоко, яичница, сало.

Я. — Кстати, яйцо — тоже то, что в готовом виде из природы усваивается человеком. И, обратите внимание, тоже семя, зародыш.

Бучис. — Летом крестьянин выходит на работу и лишь через два часа завтрак приходит.

И нет у нас понятия “есть вкусно”, а “есть *крепко*”. Сало с хлебом. А мясо не часто — в праздники.

Я. — Давайте разберем состав еды и его приуроченность к стихиям: земля, вода, воздух, огонь.

Литовец — земледелец. И низ земли и ее глубина ему важны, ибо там все богатства и плоды; недаром так в средневропейской земледельческой полосе развиты предания о зарытых в земле кладах — и даже одна притча есть, что некто в поисках клада перерыл и взрыхлил, т.е. перепахал всю землю вокруг себя, и она дала урожай — вот тебе и клад — из земли. И это поистине так: земля — кормилица. И тут дар *зарывается*: ведь посадка зерна, клубня — это жертвоприношение земле. Ее украшают: обрабатывают, возделывают = орнаменты-узоры по ней вышивают, ведь пашня — это вышивание линий по земле, и когда едешь по земледельческому краю, вся земля изукрашена и вышита разными линиями (межами, бороздами) — разнонаправленными фигурами и разными цветами: зеленыя, озимь, коричневая гречиха, черные пары, красные маки, солнечные подсолнухи; и разная фактура и высота “ниток”=стеблей и узор: то высокие, пушистые с ворсом — как конопля и кукуруза, то приземистые, плотные в простой горошек — как картошка и ее цветки и т.д.

Кочевая же земля — безуходная, неухоженная; вообще взор кочевника вниз не обращается, точнее — в низ земли лишь как на поверхность смотрит: что растет — травы какие в корм скоту. Но глубже не заглядывает: в под-корм, в подоснову, фундамент и причины вещей. (Вот уже и выход к возможной философии: для кочевника интереснее устройство и описание *наличного* бытия и верха; может быть, *целей* — что к чему? — но не устремлен взор на *причины*, корни вещей, а как раз в это непрерывно уставлен и копается взор и ум упорного земледельца — средневропейца: немца, литовца и т.д. Русский же, у которого простор земель, — не очень радивый земледелец и, при неприхотливости, тоже, как и кочевник, не склонен докапываться до причин, не въедлив, а любит чудесное, вязь, сплетение, досужное, как люди Востока...

Итак, у кочевника взгляд устремлен вверх земли. И источник его жизни, его пища — скот — сам отделен на подставках ног от земли. Кстати, земледелец, в землю въедливый, в ее низу и глуби копающийся, вне работы любит сидеть *над* землей возвышенно: на стуле, за столом, подняв таз, полусогнув, расслабив ноги и выпрямив спину (поза, противоположная его трудовой, где он на прямых ногах с согнутой спиной, все поклоны земле отбивает). Кочевник же, у которого на дню и в труде ноги свешиваются и весь взбалтывается на волнах хребта бегущего животного, любит ощутить всем телом

твердую почву, и, как моряк после палубы любит прогуливаться по твердой земле ногами, так и кочевник — сидеть, задом к твердой, не колеблющейся опоре прижаться, а ноги, свешивающиеся, приятно ему расстелить (как американским золотоискателям, непрерывно бродящим, ноги на стол накинута).

Итак, вознесенный в пространстве — в доме приземляется; приземленный в поле — в быту и отдохновении возвышается.

Далее, для кочевника, поскольку из земли важна поверхность, видятся *даль* и *ширь*. Для земледельца же стороны света мало интересны, зато важна *вертикаль*: глубь земли, солнышко обогрело б, дождик полил бы (см. “Лира” из поэмы Межелайтиса “Человек”).

Ауэзов. — Пища вообще различается по зонам. На Севере ведь: у якутов, чукчей — тоже пища не из земли, а поверх нее: моржи, олени — как у кочевников. Потом начинается плодородная земля — пища внизу. С пожарчением — пища поднимается от земли: на Юге — на деревьях. Потом степь, сушь, уже кочевники — мясо. Еще южнее — тропики: там совсем земля заросла, буйная. Пища тоже вознесена на деревья: плоды, как и люди-обезьяны, на них. А потом опять все повторяется.

Я. — Теперь по составу того, что производит земля. Клубень картошки, капуста, огурец, свекла, морковь. Это все *водо-земля*, с легким дополнением огненности: морковь, свекла. И большинство — в земле или непосредственно над нею, как капуста = эта своеобразная чаша для сбора воды: чаша в чаше, лепесток в листе — как матрешка в матрешке — или многобюбочность земледельческих женщин.

Плод Юга — даже земледельческого — более приподнят над землей: бахчи, арбузы, дыни — уже более солнечно-огненное мясо: сладкое, красное, желтое, оранжевое.

И — сады: в них плоды приподняты над землей, на деревьях. **И** — виноград = солнце-вода, огненный сок — недаром пьянит, в воздух от земли человека взбрасывает — в пляску...

Итак, и там, и тут пища в основном из воды (и это естественно: вода = жизнь). Но северная вода мясисто-земная, меньше огненна, не сладка (и яблоки и другие садовые более кисловатые и мясистые на Севере — антоновка!). Южные же плоды — менее мясисты (земельны), зато более огненно-влажны. В самом деле, земля здесь — не мясистость, т.е. не пронизывает все пространство плода насквозь, а скорее сосредоточена вокруг, как внешняя форма, ограда, одежда, стена:

корка, кожура — арбуза, апельсина, винограда. В самом деле, северная землявода: картошка, морковь — кожица тонка, мягка (как на теле северной женщины) и тут же переходит в более твердую материю тела овоща. На юге же — кожа арбуза, апельсина, лимона, даже винограда — панцирь (жестка смуглянка!), а внутри — текучая мякоть. Значит, земля здесь концентрируется на поверхности, как в центрифуге (размах-то больше у экватора!) тяжелое отбрасывается на края, а внутри — мягкое.

Но это же мы видим и в составе человека: литовец, северянин, тонкокож, сквозь кожу проступают жилки голубые, и лицо-то (цвет его) может быть кровь с молоком — кожа влагу вбирает и отдает: пот проступает, обмороку доступны. А южанин — сух, лицо дубленое, смуглое, кожа крепкая, жилок не видно. Зато внутри — более мягко, жидко, огненно, гибко (кости гибки, а литовец — костист, неуклюж, деревянен: “крестьянин крепок костями” — стих. Н.Рубцова), страстно-эротично, но не чувственно. Чувственность — свойство оседлых, земледельческих, которые сидят, неподвижны, и могут вслушаться в нюансы и оттенки (в Индии, во Франции). У кочевников же — страсть, напор, Эрос — воспламененное нутро, но при относительно толстой и грубоватой поверхности тела, так что трения кожей не доставляют таких наслаждений, зато острота, когда нутрь в нутрь проникает и через фалл-факед огонь одного с огненными реками другой сопрягаются.

Северянин же нежнокожий чувственен поверхностью: милуются, глядя друг друга. Но внутри нет такой огненной влажности и напора Эроса. В любви там преобладает не страстность, а нежность.

Таковой состав плода и человека разъясняет и такую загадку: почему на Севере, где и так воды много, пища — сырая, водянистая, кислая (кисель, щи, квас, ржаной хлеб), а на Юге, где сухо, выжжено и так бы надо влаги — для утоления, — пьют немного и пища более суха?

Очевидно, в том дело: южный человек — как верблюд = сей живой ходячий термос: под жгучим солнцем многослойной корой ограждает свой запас влаги — несет его, как драгоценную скинию завета, жизненную силу, семя жизни. Да, вода здесь стократно повышена в цене — именно как семенная влага поддерживается (как на Севере, где воды прорва, девальвация, — поддерживается огонь в очаге, священный огонь). Так я, уже северянин, попав в Бухару летом в 45-градусную жару,пил по-

началу газированную воду, и ее хватало от перекрестка до перекрестка. Узбек же пил утром чайничек (пол-литра) зеленого чая — и его хватало на весь день, и не потел — был сух в жару.

Северянин — тонкокож, и в нем вода не удерживается, а непрерывно сочится (недаром в холод позывы на мочевыделение чаще), и непрерывно обмен течет между внешней водой, сыростью мира, и сырой рыхлостью внутренней: нет рубежей, открыты границы.

Но вот вопрос: что к чему стремится — *сродное* ли друг к другу или *полярное*?

— Конечно, сродное.

— Конечно, противоположное притягивается.

— Ну например: капля к капле притягивается? Это — сродное к сродному. Но ведь когда я сух, во рту горит, мне не огня еще надо, а воды — значит, к полярному тянусь. Это старый вопрос о первосилах: Любовь и Вражда, если, по Эмпедоклу, все соединяют и разводят, то что любится и что враждует: сходное или разное?

— Здесь диалектика: для развития нужно противоположное. Оттого и внутриродственные браки запрещены.

— А еврейство? Там чем теснее кровь родная сохраняется, тем гуще и страстнее: браки с кузинами, двоюродными дозволены, а дочери Лота, чтобы продлить семя рода, подлегли под отца своего. А как сохранился народ — в семени, крови, духе!

Но именно сохранился. Мало развивался.

Видимо, для *сохранения* чего-либо в своем качестве (воды как воды, красного как красного) нужно притяжение многих частиц сходного.

Для жизни же, процесса, *развития* (которое есть изменение и самоукрепление и потом новое самопорождение в ходе отталкивания) нужно притяжение полярного.

Латыш-эстетик. — Все это интересно, но вот возникает вопрос: мы — латыши, рядом литовцы, вроде в одном космосе живем, да и пища у нас сходная, а сами мы — разные. Значит, дело не в пище, а в других факторах — в истории, культуре. Потом: сейчас уже пища меняется, становится общей во всем мире, привозится.

Я. — Конечно, сейчас цивилизация всех выравнивает. Но хоть быт у людей (и города, и телевизоры везде) сходится, но лица, тела литовцев и казахов в основном сохранились неизменными: устойчива плоть и кровь — национальный ген. А

он поддерживается определенным набором соков, особым стечением стихий, что непрерывно воспроизводится в пище. И самый разбогатый литовец, хоть на его столе возможны и кофе, и бананы, это все поглощает как раритет и сопутствующие обстоятельства; субъект же и предикат его пищи, то, чего требует его организм, — это простой, основной набор. И недаром эмигранты — богатые болгары где-нибудь в Австралии — сохраняют кухню: самую простую, деревенскую в Болгарии, пищу. Как священный огонь, болгарские политэмигранты в СССР — помню в 30-е годы при отце — переносили друг к другу закваску кислого молока. Организм требует своего родного набора — иначе задыхается.

Альгис. — Да, вот в Литве и богатый кулак, а непривередлив в пище — то же сало и картошку ест. Значит, мог бы лучше и разнообразнее, да организм, состав существа не требует.

Латыш-эстетик. — Вот у нас сейчас рыбу едят много, а литовцы — гусей. 10 ноября, в праздник Св. Мартина, или когда равноденствие¹, ездят в Литву за гусями, любят, чтоб жирное.

Я. — Ну вот и отличие, хоть в сходном космосе: для литовцев гусь — пища будничного уровня, а для латышей — праздничного. Вообще это важно: что естся повседневно, что есть будни и проза еды, а что на праздниках, как редкость, самое дорогое — еда изукрашенная. Праздничный стол — это как ода, поэма, стихи в еде. И надо приглядываться, какая пища, блюдо у какого народа составляет стол будничный, а что — праздничный.

Калмычка. — У нас накануне весны, в феврале-марте, — праздник, и тогда пекут только мучное, “борсаки” — пирожки такие с формой разных животных: жаворонки, верблюды, овцы...

Я. — Ну вот, у кочевых калмыков редкость — зерно, мука, а изобилие мяса. Значит, торжественная пища — из хлебужка — то, что так буднично у земледельцев. Но при этом из сего драгоценного материала формуют образы своих кормильцев — животных: в преддверии весны и лета формой еды — пирожков — как бы заклинают плодородие стада и это праздничное съедение = как жертвоприношение тотемам животных, — только сами их, как боги, съедают.

Ораз-туркмен. — А у нас как весна, март-апрель, — “новруз”: переходят на травы — стараются их есть, доставать рас-

¹ Пища следует за солнцем: солнцевороту сопутствует особый обряд и блюдо.

тительную пищу, и горожане — за большие деньги — все равно пучок к столу везут.

Я. — Это похоже на северный пост: когда в те же месяцы — март-апрель — не едят мяса, молока, яиц, т.е. животной пищи, а лишь растительную или водяную — рыбу. И у туркмен это религиозный обычай — есть зелень. Но здесь ее едят оттого, что она пока свежая, еще не выжжена летним солнцем: растения, зелень — раритет, *vita-min* = живительная сила. И оттого, что мясо надоело, — оттого скот не колют. А на Севере постятся оттого, что в это время мяса нет — съедено, или ягнятся, телятся: молоко самим животным нужно, тощи они...

Вообще, чтоб докопаться до смысла еды, чтобы прочесть предложение, суждение о бытии, что таит в себе то или иное блюдо, надо тщательно приглядеться, какие блюда сопровождают какие религиозные праздники, обряды. Вот здесь зона, где телесное (пища) переходит и смыкается с духовным — и начинает источаться сокрытый в материи вещей (здесь — яств) смысл. Недаром, например, причастие — через преломление хлеба = тела Господня и питье красного вина = крови. Здесь совершается предельная абстракция: из вещей и яств выбирается самое первое и главное. Хлеб и вино здесь обнаруживаются как первосущности бытия, как мужское и женское (твердь и влага), причем хлеб — кругл, светел, солнечен (булка так нечется: калач кругл, и бел, и лучист), а вода — кровь темна, густа, терпка — это ночь, бездна, женщина, тайна.

Тоже надо приглядываться к более частным разным праздникам и блюдам. Как каждый праздник — летнего солнцестояния, весеннего равноденствия, зимнего солнцеворота — космичен и имеет миф = духовное о себе сказание, так и сопровождающая его еда, блюдо есть миф во плоти: когда едят, смысл мифа поглощают, внимают, усваивают. Все блюда народной кухни имеют своих духовных патронов и покровителей и, обратно: каждому особое блюдо по вкусу. Надо приглядеться, какое — кому, и так сможем прочесть то особенное предложение, суждение, что сказано о мире именно в этом блюде, в отличие от другого.

И недаром те или иные блюда в определенное время именно предписываются обычаем и религиозно закрепляются. Это — предписание крепить и содержать в чистоте свой ген, этнос, национальную плоть и кровь, сущность — преподавать ей в последовательности весь комплекс опытов, восприятий (=яств), пон-ятий=взятий вещества из мира.

Для различения слов о бытии, какие говорятся блюдом, важна *форма* блюда — образ мяса и того, что вокруг, — “гарнира” и сопутствующих обстоятельств и т.д.

Ауэзов. — А вот казахи и киргизы в сходном космосе — кочевники; правда, казахи — ниже, больше простора, а киргизы — к горам ближе, пища же у них сходна. Но вот, например, бешбармак. Казахи просто крупные куски мяса отваривают и дают, киргизы мелко-мелко строгают, нарезают.

Я. — Этим выполняют работу зубов: резня ими передается ножам. Значит, полость рта и зубов у киргизов слабее: соли, может, разъедают (горная вода). Ведь полость рта, устройство зубов и пищевода — в резонанс к космосам через пищу настроены. К тому же более дробный рельеф земли у киргизов: ключья, разрезы гор — все это питает идею рассечения, дифференциации.

Ауэзов. — Верно: у казахов, особенно в Сибири, совсем простая пища — подают вареное мясо вместо хлеба, кумыс. Вот и все.

Я. — А интересно, что северная пища, пища земледельца, — рубленая, размельченная. Словно, сам сырой, любую твердость до капельности доводит. Не цельные куски мяса, а котлеты, много протертого, щи — из измельченного, каши. Земледелец, видно, привыкнув твердь крошить: пахать землю — пласти отваливать, боронить — крошить, автоматически эту операцию вносит в любое действие, словно запрограммирован идеей расчленять, разделять, мельчить, а потом из раскрошенного преобразовывать, новое создавать, искусственное.

И это неизбежно и в *логике мышления* должно сказываться: *анализ*, расчленение целого предмета на составные части и четкое разграничение терминов и определение понятий — составляет силу немецкого мышления — типично земледельческого народа.

Ауэзов. — А у нас, кочевых, нет особого приготовления как преобразования естественного “сырья”. Разные блюда — это разные части, органы животного: сердце, почки, ребро, глаз и т.д.

Я. — То есть священное животное в целостности и сохранности, разбирается по частям, но не деформируется, а вновь собирается как целое в желудке народа, в семье поевших. Нет посягательства на форму.

Ауэзов. — Или колбасу — у нас крупными кусками, ломтями мяса наполняют.

Альгис. — У нас мелко крошат. Ветчинно-рубленая.

Я. — Вот даже по типу колбасы можно национальные идеи выявить...

Итак, **приготовление** — в отличие от готовых плодов или даже сырого продукта, вырабатываемого в национальном космосе, — есть внесение народной идеи в пассивный материал природы — так же, как и *труд*: из того же дерева, в зависимости от внутри носимой идеи, — можно делать стол прямоугольным и круглым, посуду той или иной формы. Вот кочевники не особенно дробно готовят пищу, зато долго и ритуально едят. А земледельцы готовят сложно, а съедают быстро, в немоте... Кочевники, значит, как и в своем быту и работе не преобразуют, а воспринимают готовое вещество (существо) природы, так и в кухне не очень его преобразуют. И, видимо, в мышлении — созерцают целостное и естественное, а не стараются живой организм убить и заменить составным механизмом, воссоздать из выпрямленных частей — как круг через бесконечный многоугольник. А именно это свойственно трудягам-земледельцам в мышлении: не оставлять и не вкушать готовым, а заменять своим, вновь созданным, точнее, *воссозданным* и *воспроизведенным*. То есть сначала разрыть, разломать живое существо, как игрушку, а потом составлять по частям из разных взаимозаменяемых существ. Котлета, например, и есть такая смесь неразличенного, где все кошки серы; оттого говорят: “Сделаю из тебя котлету”. Недаром котлета — самое выгодное для поваров-воров общественного питания: в нем утверждается свинство человека — он, как свинья, все съест, и не только в животе не видно, но и на столе передо ртом и глазами не видно, все — равно безразлично.

Альгис. — Литовец вообще неприхотлив, ест быстро. У нас даже говорят: “Будь, как соловей: всякую мушку ест, а поет как!” — т.е. ешь, что угодно, зато трудись хорошо. Вообще важно, *для чего* едят. У нас едят, чтобы силу на работу набрать: покрепче да поскорей. Долго за столом не засиживаются.

Ауэзов. — А у нас средоточие дня — вечерняя еда, долгая, допоздна, с обрядом, шутками, медленная, продленная. У нас хозяин в пиалу на доньшко наливает, а чаша обходит, и все по капле отпивают. Все для того, чтоб *продлить время* и чтоб хозяин каждому побольше и поразнообразнее слов мог сказать.

Я. — Ну вот, опять кардинальные принципы народов в этом просвечивают. Цель еды, *для чего* — именно для земледельцев. Еда — между делом и для дела. Главное содержание его жизни — поле, труд. В еде ему надо кость наесть, так что он, кряжистый и угловатый, с лопастями лопаток, сам как плуг по земле идет. Ест после главного — работы — и поскорее ко сну:

ложатся ведь земледельцы рано, с курами — и встают с петухами. Еда — промежуточна. Не в еде проявляет литовец свою человеческую субстанцию, но в работе.

У кочевников же еда — ритуал.

Что же — одни люди, а другие животные? Просто земледелец проявляет свою человеческую сущность в производстве, в работе полевой, а житель Востока, кочевник, проявляет свою человеческую сущность в потреблении, в том, как божественно артистично, какими церемониями и красивыми речами, тостами (грузины) он может сопровождать священный акт съедания бытия, заглатыванья мира. Вечерняя еда — здесь сердцевина суток. Она не для чего, а самоценность. И если “для чего”, то для соития ночного и предутреннего (как принято у мусульман) — т.е. еда как приготовление к торжественному религиозному акту зачатия, продления живота рода. Потому допоздн сидят и поют — и допоздна утром спят.

Ауэзов. — Вообще разнообразие пищи — ни у собственно земледельцев и ни у кочевников: пища их проста и лапидарна, — а у смешанных. Вот узбеки, таджики — в прошлом кочевые, потом осели — у них стык кухонь, разнообразие. А что изменение пищи и климата влияет на ген и этнический тип, видно по туркам-сельджукам: они в XI веке вышли из монгольских степей и были раскосы, а потом осели в Средней Азии, и вон, в итоге, такой физический тип, как Назым Хикмет — почти европеец, грек.

Я. — Да, разнообразны наиболее какие кухни? Греческая, французская, болгарская, средневозвосточная, еврейская (фарши, смешения, кисло-сладкое мясо). Греки — народ и земледельческий, и скотоводческий, и промышленный (ремесла), и торгово-морской. У них самый расчлененный космос: действительно, “в Греции все есть”, как говорит герой Чехова. Оттого и культура, и мысль греческая — всемирна и всем говоряща: всевозможные изгибы духа, мысли там проявились.

Ауэзов. — У китайцев тоже разнообразная кухня. И из моря — моллюски, трепанги, капуста, потом все, что на земле: змеи, насекомые, саранча...

Я. — Да вот тоже особенность: кто из народов насекомых ест?

— Верно, это оттого, что там тесно живут: все живое, что попадает, используют.

Я. — Да, интересно, а влияет ли плотность населения на состав пищи?

— Влияет.

Ауэзов. — У китайцев угощают — 16 блюд, мелкими дозами. А есть еще блюдо “Танец дракона с тигром” — из змеи и кролика.

Я. — Ну, это явно тотемическое блюдо. Разнообразие мифов и тотемов должно и в разнообразии блюд проявляться.

Ауэзов. — А то еще: самое изысканное блюдо — мозг живой обезьяны. Ее закрепляют, затем трепанируют череп, берут мозг, поливают специями — и теплый едят.

Я. — Ну что ж, обезьяна — ближайший родич человека, ближе всего ему по составу. Ее съесть — словно с собой отождествиться. Так что вообще-то каннибализм — есть человека — самое естественное: близлежащий и совершенно готовый продукт, наиболее подходящий к моему составу как человека.

Латыш-эстетик. — Ну, ни одно животное не ест себе подобных.

Альгис. — А свинья? Детенышей сжирает своих.

Еще о китайцах: это разнообразие блюд — у богатых, а простые что едят — горсть риса?

Я. — Конечно, это разнообразие блюд — пища праздничного уровня.

Ауэзов. — А мозг живой обезьяны, верно, только сам император ел.

Я. — Ну да! Он как живой бог: ему пристало прямо тотемами и мифами питаться.

Вообще, еда богатых — это представительственная еда, так же как мысль, философия, поэзия — представительственная, рафинированная культура народа. И как мысль есть чистейший сок, квинтэссенция бытия, — и она, ничтожно малая часть, капля, а должна отражать и понимать все, — так и отборный стол содержит самые сложные воплощенные понятия национального космоса.

Итак, мы вновь перед задачей — *суметь прочитать блюдо*, какая мысль выражается той или иной пищей. Возьмем для этого стык духовной и телесной зоны: как в народных пословицах, поэзии, религии — какие виды пищи с какими идеями, духовными представлениями ассоциируются. Например:

Не хлебом единым жив человек.

Пуд соли съесть.

Твоими бы устами да мед пить.

Надо теперь подобрать этот материал и просмотреть, с каким пищевым набором основной национальный комплекс духовных ценностей связан.

Это будет предмет следующей встречи.

Собеседники: М. Ауэзов-казах, абхазы: Борис и Костя, молдаван Белецкий, буковинец Чиремпей, туркмен Ораз, девушка-калмычка и молчавшая красотка неизвестной (но восточной) национальности.

(Беседа бедна была мыслительным содержанием: много эмпирии разношерстной — и я был слаб, не мог вести.)

Я. — Сегодня еда в связи со словом: через пословицы проследить соединения духовных идей с теми или иными видами еды. Рот — зона, объединяющая пищу и слово; пищей внешний космос входит в нас, словом — внутренний наш микрокосмос выходит во вне. И все через единый канал — рта: там пища и слово смешиваются — “твоими бы устами да мед пить”...

Ауэзов. — Я смотрел казахские пословицы. “Когда есть мясо — нелепа застенчивость”. Презрительно о рыбе: “Когда нет мяса, тогда уж рыба”.

Я. — У русских: “На безрыбье и рак рыба”: рыба здесь положительное. У кочевников рыба на месте рака в России.

Что нельзя смешивать? Вот “ни рыба — ни мясо”: их не варят вместе, и человек такой — недотепа.

Абхазы. — У нас не смешивают свинину с мясом.

Я. — А я ел у поляков в гостях — там шашлык: ломоть мяса, ломоть сала, ломоть свинины.

Теперь — *чем* едят? Вот русское присловье:

- Тит, Тит, иди молотить!
- У мня голова болит.
- Тит, Тит, иди есть!
- А гдс моя большая ложка?

Вот *ложка*. Она соответствует тому типу еды, что у русских: “щи да каша — пища наша”. Это жижка с гущей, и каша — размазня. Все это равно земле с водой и соответствует принципу русского космоса: “мать-сыра земля”. И естественно — ее иначе не возьмешь.

Абхаз. — У нас пища — либо чисто твердое, либо молоко, вино.

Ауэзов. — У нас бульон, и мясо, и кумыс.

Я. — То есть нет смешения жидкого с твердым — все в своей чистоте. А средневропейская кухня — именно в смешении: супы, рагу, мясо с гарниром.

Костя-абхаз. — У нас предание, как французы в гостях у абхазов вилкой мясо ели, а абхазы руками. Те удивились: “Они руками едят!” А абхазы: “А вы что, ногами?”

Я. — Есть руками — это без посредника: тело человека к телу мира (земли, животного) — нет отъединения и закупоренности личности, телесные контакты у человека с миром. У тех же, кто пищу через посредника принимает (руки “замарать” боятся), — брезгливость, тело более отъединенное от тела мира: через покров одежды или через посредника — орудие в пище. И это — европейский принцип труда: *орудие труда* и в еде.

Еще, **чашка** и **пиала** — разные пространственные идеи. Пиала берется в ладонь снизу — как сидит кочевник на полу; пиала и есть ладонь. А чашка, стакан — цилиндрические: предполагается, что сами должны стоять — вне человека, без его поддержки, и на столе. То есть опять отъединенность, большая самостоятельность вещи (части), а у кочевников слитность: пиала не стоит без руки...

Ауэзов. — Китайцы — палочками, каждую рисинку отдельно, и быстро-быстро, и близко ко рту. А в угощении много блюд, но помалу.

Я. — Это — миниатюризм китайского и японского образа жизни и мышления. Как они каждую малость обрабатывают — и в искусстве: шарики в шариках резные!

Ауэзов. — Есть резьба по рисовому зернышку.

Я. — Вообще, почему много и мало едят? Ведь не только оттого: пища есть или нет. Все зависит — как настроить организм. Вон Иван Денисович в лагере: “Что сейчас ест Иван Денисович? А работает — ого!” И христианские аскеты-отшельники акридами питались.

Калмычка. — У нас 10 коров — бедный, 100 коров — тоже небогатый. И водку-араку из молока гонят. (Удивление молдаван и абхазов.)

Я. — Действительно, куда девать избыток? В пище есть своя **иерархия** и пирамида. Внизу — просто молоко, его больше всего. Выше — кислое. Еще выше — сметана, сливки, творог. (Уже отделилось твердое и жидкое — два ствола генеалогического древа пошли.) Твердое — в сыр, масло. Жидкое — в водку перегоняется. Чем выше по пирамиде — тем независимее от времени. А **водка** хранится сколько угодно, есть вечность пищи, ее сок. И эта пирамида параллельна социальной пирамиде: кто что (какой уровень) ест — на таком и сам стоит в иерархии общества. Молоко — бедняк (ибо это всеобщее —

материнское). А чем выше — там перегоняется масса, количество — в качество и энергию: жертва числом ради умения = ума, который вкладывается пищей.

И здесь — строение пищи = социальное строение. Вообще важна роль социальная пищи как средства общения и связи людей. Гостеприимство.

Борис-абхаз. — У нас обильно угощают, и если ели вместе, то стали близкими.

Я. — Ну да, ведь телами соединились: я в твоём доме ел продолжение твоего тела (твоя хлеб-соль), мы побратались на крови и теле (господнем-хозяйском).

Костя-абхаз. — И потом вспоминают, у кого что ел.

Я. — И это — как характеристика личности человека, каков его характер и состав.

Борис-абхаз. — Легенда есть: когда враги окружили абхазов, они выложили круг крошками хлеба и соли — и враги не могли перейти и стали друзьями.

Я. — Гостеприимство = уловление человека в сети, завербовывание его насильственным в друзья и кровно родные.

Понятно, что с развитием цивилизации и чувства личности = отъединенности гостеприимство падает. В Европе, в Германии не угощают, разве что кофе и вино предложат.

Борис-абхаз. — Когда пир свадебный у нас, то, как говорят старики теперь: “Все тебе тут — и радио, и газета, и телевидение”. Сидят долго — обряд. Тамада — жрец за отдельным столом=пультом — дирижер священного действия. Целая культура — сидеть за столом, есть, пить, говорить.

Я. — Как человек ест = насколько он социален. Люди за столом здесь — это общество, государство, люди на площади, в храме. Это — вече, агора, форум. И здесь — главная жизнь.

А в России — скорее поесть, попить — и перейти к песне, к пляске, к драке (бывает) — на вынос = выйти из-за стола в мир, в пространство и махать руками и ногами — как птица взлететь.

Вообще напитки — это *огневода* (жженка, brandy англ. — от brand — гореть): они поднимают, облегчают человека, делают его более воз-духовным — преодолевают рамки тела и грудной клетки — выходит он из себя.

В пьяных напитках язык пламени скрыт, и, выпив, человек взвивается.

У горцев — культура усидеть за столом, сколько ни ешь и ни пьешь, и, взвившись, удержаться на земле среди гор, что вверх и так оттягивают.

То же относится к социальной культуре поведения за едой: все съедать — хорошо? или оставить немного? или слегка прикоснуться?

Спрашивают ли: “Будешь есть?”

Молдаван Белецкий. — Не спрашивают, а сразу предлагают. А если спрашивают, то отвечают: “Я не больной” — значит: “Давай”.

Я. — То есть тем самым доброжелателен и открыт — отдаст себя хозяину, хотя кажется, что хозяин отдает от себя — угощает. На самом деле хозяин за малое — пищу — добывает большее: душу, преданность человека. Так что понятно: большую услугу оказывает тот, кто приходит и соглашается есть — не брезгует. И если брезгует, то — обида, так как — отказ отдаться на милость хозяину.

Из моих заметок к беседе: Состав, вещество пищи. Что родно и допустимо? “Все полезно, что в рот полезло”. Время — сутки, времена года, посты. Запреты на что — излишнее, значит, противопоказано в данном космосе. В какой стихии: пашлык горцев — на огне, голо; бешбармак кочевья — в воде и потом уж на огне. Способ изготовления — жарить, варить, печь. Смеси: субстанция и атрибуты — что с чем. Сладкое, соленое = солнечное; острое = огнеземля; кислое = водяное. Еда — горючее: мы — топка, огонь. Голод = огонь внутри. Жажда — от огня: залить надо.

Русская еда. “Щи да каша — пища наша”. Каша = артель зерен, русский собор. Не мясо, а растения. Не жареное, а вареное = вода. От нее и кислое. Хлеб — ржаной, кислый (квашеное тесто). Южный хлеб — белый, пресный, без соли. Пьют кисель: “молочные реки в кисельных берегах”. Итак: в русское нутро требуется кислое. Кислое — это мать-сыра-земля, это земля в воде, земноводность. Посоли капусту, а она не соленая (=огне-солнечная) становится, но — кислая, земноводная. Русские варенья — кислые: брусничное, смородиновое. Горькое (водка) требует кислого (капуста). Для русского чужды: терпкое, острое, сладкое — все это более огненно-жаркой природы. В Этимологическом словаре Преображенского про щи-щавель: “Потebня... роднит щав с кыс, (с) кыс — (киснуть, квас, простокваша и прочее)”.

Итак, щи и квас — одно. Квас — народный напиток, кислый. Щи хлебают: хлеб-хлябь. Но в общем случае хлеб — мужское начало. Злак — солнечен, верх стебля колоса = крона, и печется круглым = солнце: каравай, калач, блин, оладьи.

Через хлеб солнце съедается. “Хлеб-батюшка, водица-матушка” (опять космос *землеводы* получается). Пирог — уже продолговатый, не просто еда, а пир: пир-пить (вода); пирог=хлеб лодкой по воде пускается. (Кстати, “пир” как симпозиум = солежание; как *convivium* — сожительство.)

В рифмах пословиц национальные идеи содержатся: капуста — пусто, каша — наша, тесто — место, оладьи — ладно, ни куска — тоска, черствый — честный. В пословицах Даля нет мяса, но есть рыба и рыбка. Картошки нет: это уже пища внесенной цивилизации, городская.

Беседа восьмая — 17.III.1967

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА — “ТЕЛО ОТСЧЕТА” В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСМОСЕ

Собеседники: М. Ауэзов, Болатхан, молдаван Белецкий, де-вушка — этнограф по Африке.

Я. — Тело наше — первый, “подручный арсенал членов = частей мира, понятий, идей, форм — с чем что сравнивать, к чему это примерять.

Национальный этнический тип везде разный.

Тело человека — точка опоры, к нему стяжение всех силовых линий в национальном космосе. И если оно кругло — и космос кругл; вертикально — и мир таков; косоглазо — и мир прищуренный.

Мир, по индуизму, создан из тела Пуруши: голова = небо, глаз = солнце, волосы = леса и т.д. И вот разберем тело вообще и смысл его частей.

Ауэзов-казах. — У нас нет, как у русских, чтоб большой — это хорошо. Казах плотно сбит, сухощав, чтоб как птица-беркут на седле и глаза зорки.

Я. — Ага, как птица: отделен от земли корнем, ясно — более житель пространства, чем земли. Земледелец же — кряжист, крепок костями.

Ауэзов. — Казах, напротив, гибок, ловок, изворотлив. Хитрость — положительное качество.

Я. — У земледельца хороший человек — детина, косая сажень в плечах, грудь колесом (то, что по земле, к земле прижато — колесо, а не беркут = воздух).

Ауэзов. — Случай был: переводили Маяковского, там идеал бабы:

Что за баба, что за чудо!
В каждой груди — по два пуда!

И перевели по-казахски:

“Вот какос страшилище,
с двухпудовыми грудями”.

А русские любят дебелих, пышных женщин. У нас же — вон у калмычек даже груди перетягивают, чтоб меньше были.

Я. — Итак, общий склад: земледелец — как ствол с ветвями, крепок костью, широк и ветвист, крепко в землю врос — как Святогор ногами. Крепко вколочен — как гвоздь, плуг и сруб в это место. Важна прямоугольность — чтоб крепить и взрыхлять.

Кочевник же, что животным ближе, — кошач, гибок, кости — хрящи, кругл и овален — чтоб по земле катиться, как колобок. Отсюда и тело: нет выступов и углов, а все более сглажено: плечи — покаты, нос — приплюснут, нет выступов лопаток и костей таза. Ноги — кривоваты, полусогнуты; у земледельца — узловаты, разлапистые стволы.

Вот **нос**, например. Нос = перед, угол, самая выдающаяся вперед часть тела. Острые длинные носы выражают напор, энергию, однолинейно вперед направленную, как у немцев, например. Но зато жестяность, отсутствие гибкости: как завелся шаблон — так уж и идет, таранит, пока не тюкнут.

Нос кочевника-монголоида приплюснут, обтекаем, прижат к лицу; перед в пространстве для человека здесь не важнее бока и зада: человек должен быть повсеместно ориентирован.

Нос — самочувствие личности выражает, меру “я”: задирать нос — гордость. Длинные носы — у народов энергичных, с развитым чувством личности и волей, пробивной ее силой: семиты (евреи, арабы), римский нос, на Кавказе грузины, армяне. У кого же нос картошкой или курносый — впадиной, те добряки и не выпячиваются, а напротив, женственны: курносый нос = продавленный фалл, фалл-влагалище. Да, нос — заместитель фалла, они гомологичны (симметрия туловища по вертикали). И когда гоголевский Нос бегаёт — это субститут фалла: майор Ковалев кастрирован.

Молдаван Белецкий. — У нас нос обрезали, укорачивали побежденным господам — еще три века назад. И пословица: кто задается — тому нос его отрезать да в зад сунуть.

Болатхан. — А вот губы: пухлые = добрый человек, сжатые = эгоист, хитрый.

Я. — Ну да, **губы** — это чуть приоткрытая внутренность наша: наружу выворочена — как сапоги подвернуты. У кого больше открыто — тот открытый, доверчивый, расположенный к миру человек; у кого рот стиснут — тот закрытый, угрюмый, замкнутый, с развитым самочувствием своей личности, т.е. **особенности, отъединенности от мира.**

Ауэзов. — У нас про красавицу говорят, что у нее три черного, три белого, три красного: три черного — волосы, брови, глаза; три белого — лоб, зубы, шея; три красного — две щеки и губы.

Болатхан. — Губы тоже парны — две красных полосы. И вообще всего по двое: глаза, уши, губы. А вот нос один.

Я. — Две ноздри.

Вообще парность — это расколотость, как ореха на две половинки. Парность в нас и симметрия — это выражение **пола** — того, что мы половинки.

А каждый глаз и каждое ухо — это уже как четвертушка целостного видения (недаром мы говорим о трех измерениях, что нам доступны, четвертое ж — “внутренним зрением” видимо). И четыре страны света для нашего уха — это четвертушки мирового слуха (слух и музыка, по индийским Упанишадам, соотносятся не с внутренностью нашей, с ритмом внутренней жизни души, как по Канту и европейской мысли, но со странами света: дают ориентировку в пространстве).

Интересно, какой из **органов чувств** более развит у каждого народа? Подумаем.

Болатхан. — У казаха-кочевника *осязание* мало развито.

Я. — Да, мал его кон-такт (касание) с внешним, вещным миром: вещей мало в мире.

Болатхан. — Вообще, я думаю, с развитием и историей роль осязания уменьшается, не абстрактное это чувство, а больше — глаз, слух, то, что на расстоянии и отъединении от человека.

Я. — А в Эросе? В соитии все уходит в осязание: глаза закрыты (тьма), слуху тоже нечего слушать внешнего, а все переключено в остроту и сладость касаний наших нежнейших тканей внутренних. И это — неотменимо в человеке, как нет ему другого пути продолжения рода.

Болатхан. — Глаза у нас небольшие, раскосые, зоркие. Зато уши большие — и *слух*, и *нюх* важен.

Ауэзов. — Мать, лаская ребенка, нюхает его, а не столько глядит и любит, и, в отъезд собираясь, берет не карточку, а пеленку.

Болатхан. — Сквозь ноздри-теснину ветер идет, струя.

Я. — Ну да, это связано с телесностью, животностью. Нюх развит на телесные запахи — различать приближение, удаление, ритм жизни живого тела; его испарения = его слова: что ему надо.

У земледельцев же — носы сырые, часто заложены, мало функционируют. Зато глаза широко раскрыты, дивуются разнообразию Божьего мира: столько разных травок, цветов, растений, рек, птиц — такая разнообразная природа! Да и сами непрерывно пребывают в трудовом — через осязание руки — контакте с разными вещами и их делают: умножают разнообразие вещей и форм.

Потому земледельцу надо иметь широко раскрытые глаза, чтоб вмещать разнообразие вещей, его **окружающих**, т.е. что на близком расстоянии. И мысль его соответственно — о разном, о дифференциации бытия, описание разных признаков вещей, классификация...

А у кочевника мир, его окружающий, разными предметами не обилен, природа однообразна; глаз нужен, чтоб лишь в даль смотреть, не появится ли на кромке горизонта враг. А вблизи смотреть не на что. Потому глаз — зорек и маленький, как у орла и ястреба, собран в узкий фокус, чтоб дальше пронизать. (Недаром и сравнение кочевника — с беркутом, орлом, а земледелец — вол, лошадь, конь и т.д.)

Зато слух развивается — для принятия разнообразных и неожиданных сигналов с разных сторон пространства, ведь глаз так же прямолинейно направлен, как и нос, и его контакт с бытием односторонен. А через слух — внимание ко всему кругом: топот ли всадника, ржанье ли отбившегося коня и т.д.

То же и в жилище мы видали: юрта — безглаза = без окон, а дом земледельца — широко-и-много-глаз.

Потому и в красоте земледельца — уши должны быть маленькие.

Молдаван Белецкий. — Если большие — ослиные, дурак, значит.

Я. — А что значит: “дурак и уши холодные”?

Итак, как кочевник косоглаз — косит, т.е. размыт перед и фокусировка глаза, в бок глазом, — так же и нос у него приплюснут, не выдается вперед: перед мира сам по себе мало что значит; лишь когда ухо заслышит, с какой стороны, туда должен глаз повернуться и сфокусироваться, быть брошен взгляд, т.е. служба глаза временна, а слуха — постоянна.

Потому дремлют, качаясь в седле, а слух — настороже (как у кошачьих, когда спят).

А у земледельцев постоянно: “гляди в оба” — широко раскрывая глаза, не спи, не зевай...

Болатхан. — Глаз сам движется, ходит — как солнце, при неподвижном теле — небе. А слух, ухо с головой и телом поворачивается. Вообще — шея коротка, голова приближена к туловищу, и они вместе реактивны.

Я. — Ну да, а у земледельца так: стоит на одном месте и туловище в одной позе, а шея — длинна, и на шарнире этом может голову туда-сюда вертеть и глазеть. Значит, и эта меньшая собственная подвижность головы взыскует за счет этого в кочевнике — большей подвижности туловища: гибкости членов, ловкости; в нем функции умной головы: тело не подпорка лишь, но и мыслитель.

Девушка-этнограф. — А в Африке уши оттягивают, висят, как лопасти у слона, а шею кольцами поднимают и вытягивают вверх.

Я. — Уши — как у разнопородных собак, у них разное назначение, у торчащих и у вислоухих; видно, и разный тип звука из космоса улавливают — как разные инструменты: труба (торчком) или скрипка (вислоухая).

Но давайте еще в глаз вникнем. Глаз = солнце, дыра в нас и из нас в мир.

Девушка-этнограф. — И глаз тоже, как солнце, спит, отдыхает, закрывается, затуманивается. А слеза из глаза — оттуда реки, светлая вода.

Молдаван Белецкий. — Предание у нас: как озера из глаз-слез образуются.

Я. — И обратно: глаза — озерные.

Итак, уже размыслим.

Глаз — свет. Слеза — святая вода буквально (из света сочится).

Девушка-этнограф. — Как дождик с неба — из света, с солнца.

Я. — Слеза = семя света, слеза — горючая, как Эрос, — огневая. Форма глаз: круглые на севере — озерные; на юге, в Африке у негров — выпуклые, налитые, как плод, — наружу прыскают, словно солнцем притянутые (и губы — выпуклые; вообще нутро там у негров более открыто — доверчиво в мир; нутряно-телесная жизнь: половая, пиршественная — там более на виду и священна, не стыдна).

А на севере глаза — круглые, озерные, но не выпуклые, а скорее вогнутые, чтоб **вбирать** лучи рассеянные, мало их, и в себя фокусировать — не вовне влиять; отсюда и психика: восприимчивость европейцев и фокусировка света внутри — в **душевной** глубине.

Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

(Тютчев)

Бойтся северянин дневных лучей.

Отсюда идея внутреннего света = ума души. У негра же напротив: глаз не вбирающ, а производителен, активен, фокусирует из себя в мир — лучеиспускание волн происходит. Отсюда — развитие магии.

Девушка-этнограф. — За дурной глаз большое *вено* (выкуп) в Африке — 4 коровы, за убийство — 10 коров. Дурной взгляд — очень большое преступление.

Я. — И глубина (нутро тела) у африканца телесна: недаром и в вывороченных губах, и в выпуклых глазах — наружу прет, сочитяся.

Итак, глаз — средство **познания** (вбирания) бытия на севере. И средство **воли**, влияния на бытие — на юге. Вспомним каменящий взгляд Медузы-Горгоны эллинов.

И это идет от змеи — южного существа: цепенит. И развитие гипноза недаром на юге, в Индии — факиры и т.д.

И гипнотической силой обладает именно черный, налитой глаз, а не синий, серый... Таковы глаза и в “Портрете” Гоголя.

Молдаван Белецкий. — Вот телепатия, опыты по передаче мыслей на расстояние из Москвы в Новосибирск: один описывал мысленно ручку — и тот брал, описывал стакан — то же самое.

Я. — Но это не тот путь: это — предметы, а глаз и наше существо как воля — что-то жизненное может передавать: боль, радость, страх, а не описательно информационное лишь.

Белецкий. — Но тем больше важность опыта, что даже информация телепатией передается.

Я. — Да, это верно.

Болатхан. — Косой глаз, прищур — хитрость. Она у нас не грех, а доблесть.

Я. — Космос кочевника, желтой расы вообще — это горы и степи: **от-кос** получается, а глаз здесь **рас-кос**, ориентироваться

в оба бока должен. Затаен, коварство = косой глаз. И когда мы, северяне, на юг попадаем — щуримся: не надо столько света.

Ауэзов. — А вот **цвет**: у тюрков синий цвет глаз — признак злых глаз, отрицательный смысл. Верно, оттого, что вся прежняя история тюрков в борьбе с северянами, Русью — синеглазыми. Значит, не только самозарождение из космоса идей, связанных с цветами, но и из истории они притекают?

Я. — Но это бы не укоренилось, если бы не имело основы в гене, космосом созданным, т.е. в независимом представлении, имманентно возникающей ценностной шкале.

Белецкий рассказывает, как оскорбляют у них, в Молдавии: нос режут, а чтоб унижить — в зад. **Брань** — та ж, что и на Руси: в мать, но еще и в бабушку = **прамать**.

Ауэзов. — А у нас бранятся и в потомство — в дочь.

Я. — А ну-ка в брань вдумаемся — это же священные слова = “божба”.

Белецкий. — У нас — как русские: “в рот”, или “чтоб ты носом зад мой”.

Болатхан-казах. — У нас — “фалл ешь”. У русских такого нет.

Я. — Нет, есть — “соси”.

Ауэзов. — Но вообще в верх, в рот, — это у русских, верно, заемное — от тюрков.

Я. — Верно: не пристало русским вертеться волчком на прямоугольной двуспальной кровати: уж как установил, где верх, где низ, — так и шпарь.

А кочевник — на ковре, в округлой юрте, катанье: “сплеться, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей” — перекручивая и меняя верх-низ: свой верх — на низ своей половины и т.д.

Но вот то, что кочевники бранятся и в назад (в родителей) и вперед (в потомство), что-то очень важное означает. Давайте вдумаемся. Это ж с какой-то особенностью в чувстве **времени** связано. Значит: у проклятого отсекается *причина* (зад) и перед — будущее, *цель*.

Ауэзов. — И в войне: кочевники ее на истребление населения ведут, поголовно вырезают. Говорят: убив верблюда, но оставив верблюжонка, будешь скоро вновь врага иметь в силе.

Я. — Ну да, ведь, живя со стадом и его имея в качестве модели, надо у врага остановить семя, род, размножение — тела самих людей. Для земледельца же — и в его войнах — цель: земля, города, урожай, сады — то, что создано. А тела людей, население — нечто более проходное: сквозная труба для про-

пускания ежегодных урожаев, беспартийное более или менее. В сознании же кочевника все до конца утопает в теле человека. А рабы: труд, руки — им не нужны (кстати, о роли **рук** как части тела, еще надо); стадо само плодится. И по отношению к нему нужен *не труд, а власть*.

Болатхан. — Ну да, Чингисхан шел установить власть “до крайних берегов” — чтоб другой силы не было.

Я. — Ведь скот требует только **приручения**, не в смысле возделывания его — “руки приложить”, но именно руки **наложить** = власть над ним приобрести.

Ауэзов. — И когда в войне земледельческих народов водружен на городе флаг, то война окончена — и победа, и население покорено.

Я. — Но вернемся к брани в зад (прошрое), и в перед (будущее). У земледельца — только в мать.

Ауэзов. — А у нас — и в дочь твою.

Я. — Если только в мать, то взор обращен в причины вещей — их порождение, начало, сотворение (а не в продолжение и будущее), к предкам, а не к потомству.

И в самом деле, труд земледельца — это **причинение**, положение начала. Хотя у него полностью и конец: сев — жатва. И мир ходит ходуном, круговыми циклами. Время в ощущении земледельца крутится, повторяется.

Необратимость и однонаправленность времени возникает уже в ощущении горожанина. **Цивилизация** ведь от слова *cives* = город. Ну да, у земледельца: что вырастил, то поел — то же количество, те же вещи и изба... Жизнь *на круги своя* ходит и возвращается. Весной ту же землю, верную жену, вспаивают. Моногамия.

А у горожанина путь назад отсекается: все, им созданное, не пожирается, а остается жить собственной жизнью, как предметная самость: вещи — как “я” становятся. И за ним окаменевают, не растворяется культура (как агрокультура), но надвигается все мощнее ему в зад, в спину — и оставляет выход только вперед, вверх и выше: изловчиться среди окаменевших громад юлить, новые маршруты, комбинации прокладывать, новые интересы и деятельности — словно игра с собой же созданным: оно, как Молох, тупо надвигается¹, а

¹ Так в сказке герой проходит в пещеру или замок сквозь разные двери и залы, а за ним тотчас ворота и стена смыкаются: путь назад отрезан, и ворота пст.

человечество ускользает, рассыпается по порам: люди открывают новые деятельности, формы приложения сил (=разделение труда) — и так человечество еще более совершенствуется и наращивает улей свой, окаменевающий позади и внизу, который и сзади и снизу все вперед и вверх нас под-талкивает — в эфемерность, во все большую невесомость и бестелесность.

Потому цивилизация — и автор духовных религий. В самом деле: когда перекрывается земля камнем и асфальтом и теряется ощущение ее живого лона и теплой груди, тогда материя выглядит не как мать, а как нечто жесткое и внешнее, не как живое тело, а как вещество и масса мертвая, от которой мы не дыхание нутром воспринимаем, но импульсы отражаем (“теория отражения”).

Естественно, что при этом мертвящем перекрытии между живым человеком и природой единственно живое человек видит не в низу (земля) и не по сторонам (где не деревья, а стены и трубы), а вверху, где небо и свет, солнце — единственно и стократ теперь живые, ибо за всю жизнь и природу представляТЕЛЬСТВУЮЩИЕ — родные, божественные, живительные.

Вот почему в цивилизации развиваются спиритуалистические религии — с идеей не жизни текущей и ее радости, но со стремлением все вперед и выше, в прекрасное будущее (загробная жизнь), с идеей цели и прогресса — жизнь ради чего-то; и возникает представление о себе как лишь посреднике между прошлым и будущим, а не как об увесистой жизни.

И главное — необратимое, однонаправленное, только вперед уходящее (или остающееся позади) *течение*, т.е. одностороннее движение времени (история=течение).

У земледельца же в его мироощущении время — не течение, но как дождь пролился, солнышко испарило — облака образовались, в тучки слились, и опять дождь пролился — т.е. не течение, а *круговорот* воды.

Теперь — что у кочевника? Есть ли его ругательство в дочь и вырезание потомства, “верблюжонка”, — ориентированность на будущее, или это есть скорее владение временем и удержание **вневремения**? Ведь в самом деле — самая стабильная и непрременная была жизнь кочевников.

Вот во что надо вникнуть: сопряжено ли размножение стада с сезонами или нет? То есть посев-урожай земледельца жестко связан с сезонами и годом=оборотом Земли, т.е. с внеш-

ней жизнью космоса, и его ощущение времени годом внешней природы определяется.

У кочевника же зачатие и рождение стада имеет цикл и такт внутринеживотный: течка и охота самки, а это вот у собак два раза в год бывает; так что животное несет в себе независимый от внешнего космоса такт времени (потому, кстати, по животным знаки Зодиака названы: дополняют что-то к году).

Ауэзов. — Но и у нас рождения приурочены к весне — к выгонам на свежие пастбища.

Я. — Но это уже приуроченность — для удобств, более внешняя, а можно б и иначе, будь теплые помещения. Какой точно срок вынашивания коня, овцы?

— Не знаем.

Я. — Тут вот что важно: как женщина является в человечестве, в отличие от мужчины, носителем собственного такта времени: месячные циклы, 9 месяцев беременности — все это иной ритм и пульс времени, не зависимый от времени оборота Земли, внешнего открытого космоса, — так и животные несут в себе независимые временные измерения и оси, и кочевник обитает уже среди разновариантных тактов времени. Хотя в теплом климате и земледелец снимает несколько урожаев в год. С другой стороны, есть и многолетние растения, и разные культуры в разное время поспевают. Значит, всем этим и у земледельца заход за годовой сезонный цикл совершается.

Болатхан. — Может быть, вот в чем дело: в стаде одновременно верблюжиха, годовалый, трехлетка — и пока-то вырастет в целого верблюда! Тогда как у земледельца все в основном в год оборачивается.

Я. — А сады?

— Да, сады — сколько надо лет, чтоб яблоню вырастить?!

Я. — Значит, в садах тоже заход времени земледельца за годовой цикл совершается. Но в стаде, как вот Болатхан описал — словно сразу несколько потоков времени идет: верблюд разложенный (на поколения) — как целая солнечная, планетная система бытийствует.

Ауэзов. — У кочевников цикл более широкий: 12 лет — примерно жизнь коня. И так это и вошло в восточные календари, китайские, например: год обозначается тем или иным знаком животного.

Я. — Во всяком случае не даром на Востоке — и среди бывших кочевников — так развита культура пророчества, звездочетов, гороскопов, предсказаний будущего.

— И библейские — пророки.

Я. — А взор земледельца — средневропейского человека все вспять устремлен: в начала и причины всего сущего. И в литературе все — жизнеописания, любовь к воспоминаниям, память.

Так что же мы о *Времени* выведем?

Наверное, так: ось сезонов, года Земли — для всех существенная, но с разными акцентами и поворотами. Земледелец имеет дело с растениями, деревьями. А те — с тела Земли прямо открыты в Космос, так что время земледельца, его такт — в открытом мировом пространстве, более экстравертно. Время же кочевника — как смерть Кашеева в яйце — ввернуто в нутро животного: оттуда бьет пульс времени, а не с неба, и гадание больше по внутренностям животных (а не по полету птиц). И время лоном животного само бродит и пасется. Кочевник, следовательно, меж двух осей времени: внешнего Космоса (года и сезонов Земли) и внутреннего космоса (цикла зачатий и рождений животного).

Болатхан. — Можно еще и так сравнить: земледелец — это как женщина: по циклам времени живет и определяется. Она — оседла, основа покоя и гнезда, и дома. А кочевой народ = мужчина все время в движении и более волен выбирать меж ритмами Времени, не обусловлен ими так.

Я. — Хорошо!

Ну, хватит на сегодня.

На следующий раз продолжим тело как шкалу, только уже без головы: что ниже — руки и т.д.

Вот рука — как важна у земледельца, все меры от нее: “локоть”, “пядь” и т.д.

Болатхан. — Кстати, меры кочевников очень расплывчаты. Если скажут: до того стойбища один.., — то будет и четыре, и пять, или, коль скажут “день перехода” — будет три. Вообще — более обобщенное у них мышление, абстрактное.

Девушка-этнограф. — Ну как же, ведь абстрактное позднее, отвлеченное уже от многих вещей?

Я. — Видно, Болатхан имеет в виду то, что кочевник, кто не имеет много предметов и мир чей не засорен так, как у земледельца и горожанина, пронципальнее видит сразу главную силу и суть, энергию бытия.

Ауэзов. — Рука. Недаром на севере говорят: “Глазам не верят, пока не пощупают”, — осязание очень важно.

Я. — Работяги ведь — рукой все: она микровещи должна воспринимать и делать: например, китайский миниатюризм в

искусстве — резьба по зерну риса — без тончайшего осязания не сделаешь. И это — от плотности населения, от осязаемости тела к телу впритык почти: не на глаз, а на ощупь.

Ну ладно, следующий раз возьмем **тело в пространстве** — телодвижения, позы: национальные игры, борьба.

— И танец.

— И позы молитв, асаны.

— Надо индолога пригласить.

— И медика.

При расхождении:

Ауэзов. А что больше поддается ассимиляции — язык или быт?

Я. — Вот у евреев — язык растерян, а быт остался, и психика, и ген.

— Это благодаря религии.

— Не только.

Язык ведь — средство общения, и раз люди рассеяны среди других, то с ними в общении и теряют язык.

А дом остается своим, большей крепостью. Но это — если развита мощная своя культура быта, которая может своим богатством и интересностью противостоять соблазнам унифицирующей цивилизации. Чтобы язык сохранился, надо чтоб хоть ядро земли было, где б внутри язык был обращен, т.е. чтобы внутреннее общение не в доме, но и вне дома было, а то растаскают во вне душу по клочьям.

Беседа девятая — 31.III.1967

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ. ТАНЕЦ

Собеседники: М. Ауэзов, Альгис Бучис, латыш-эстетик, Костя Цвинария, Ораз Дурдыев и женщина — специалист по Бразилии.

Я. — До сих пор национальный космос рассматривали статически: через дом, через голову — как прошлый раз. Но тело (и его части) не было бы так создано, если б его назначение было — пребывать на месте. Тогда зачем ноги, да еще и две? Достаточно прилепить человека к земле пирамидой. Собственно, в теле человека и эта пирамида есть — когда сидит на зад: зад — широкое основание пирамиды нашего туловища, и недаром в индийской ступе (что есть фигура храма) тоже скошенная пирамидность воплощена, ведь это Будда, созерцающий

в позе лотоса. И такая поза есть отрицание движения, есть мысль, что человек = полип, растение — лотос. Собственно, в вертикальности своей: в позиции стоя, сидя — человек равен и осуществляет принцип растения. В движении — животного.

Итак, каждая поза, положение рук есть определенная мысль о мире, мировоззрение: мир по-одному поворачивается, когда человек сидит (и смотря как), и по-другому — когда стоит (и как). Потому позы, асаны индийских йогов — это целые философии, каждая = система мировоззрения: человек встраивается через позу в именно такую фигурацию мирового пространства, а оно ведь по-разному представимо: растяжимо, сжимаемо, сплющиваемо — в зависимости от летящего (и как) “тела отсчета”, что показал Эйнштейн.

Но о чем мыслим мы позой, телодвижением, о каких стихиях и как? Похоже, что в позе, телодвижении мы общаемся в основном с двумя стихиями: землей и воздухом (пространством). Ведь в позе человек наиболее виден как существо срединного царства — между небом и землей: *над* землей мы возвышены и пребываем не *в* ней, как корни дерева, не связаны с ней так, а можем пружинить, отталкиваться, отлетать и тем заявлять о себе как о жителе воздуха, неба. Так что в позе и телодвижении мы обращаемся с тем, что *над* землей, т.е. с мировым пространством — его осваиваем, захватываем, обнимаем (все слова — от действий наших рук = крыльев для захвата воздуха). И смысл каждой позы и телодвижения можно определить, исходя из того, сколько в ней земности, какая в ней с землей соединяемость, — и сколько воздушности: какой отлет в пространство (и какой фигурой и какую конфигурацию пространства описывая) в ней совершается.

У нас — конечности и формы: руки, ноги, голова.

Пространство — бесконечность, аморфно.

Благодаря выбросу (и именно такому) руки, шагу ноги, пространство обретает вид (эйдос=идею) и форму. Танец — тот вообще есть игра идеями, перебрасывание конфигурациями мирового пространства, жонглирование измерениями бытия. Ибо танец все слова нашего тела использует, сплетает в предложения и романы. А слов у нас: возможных поворотов, жестов неисчислимо количество. Вот голова: может вверх-вниз, вправо-влево, наперекос, крутиться, вбираться, ходить от плеча к плечу, покачиваться и т.д. У рук вообще энциклопедия движений: от плеч до пальцев, и каждый род труда — особый набор движений рук имеет.

Но главное — научиться читать смысл каждого телодвижения. Начнем с простейших жестов. Кстати, **жест** — от латинского *gestus* — деяние, дело, поступок. А дело, поступок есть какое-то третье образование из соединения “я” с миром. Вот в языке глухонемых: описываются фигуры в пространстве. То же и у слепых — буквы выпуклыми делаются: везде объем, все три измерения пространства участвуют: слово — пластично, скульптурно. В нашем же “нормальном” написанном слове на листе или в книге — плоскость: как в живописи три измерения стянуты в два. Зато усиливается роль глаза, света, как и в устном слове звука, ритма, тембра — всякого рода внутренней духовности (воздушности). Упрощение в одном отношении ведет к усложнению в другом — изыскивает его богатства (как симфонизм в Европе на упрощенном круге гармонии: Т-СД-Д-Т¹ — мог сложиться).

Итак, жест на осязание (а не на зрение) рассчитан (хотя он и зрением видится). В телодвижении мы прежде всего осязаем и воздух (ветры его, дуновения на себя вызываем, накликаем — потому крыльями рук шаманы заклинают). От ходьбы и танца испытываем радость, упругость, силу свою, увертливость, поворотливость, ловкость: кубарем кувыркаемся, крутимся — здесь все контакт с открытым космосом.

В трудовом танце — контакт с предметом труда (как в туркменском танце изображают, как шьют, нитку рвут, втягивают). В социальном европейском и эротическом африканском — контакт с человеком, так что везде осязания: земли, пространства, другого тела (существа, предмета).

Словом, ноги, руки = наши плавники и крылья, и как, плавая, мы тем или иным протягиванием и взмахом навлекаем на себя волну и ощущаем тело и грудь воды, так и в воздухе: в ходьбе, беге, танце мы испытываем себя (каковы мы на миру?) и мир, каков он на наш “телесный” взгляд (осязание) оказывается. В плаванье мы наслаждаемся музыкальной координацией движений своих членов. Но ведь ребенок начинает с того, что в воздухе загребает ножками и ручками, лежа на спине. Он к воздуху как к влаге относится — той влаге, тех вод, среди которых он плавал в утробе матери = мировом (для него) Океане (отсюда и естественные, врожденные для всех народов представления, что землю окружает и она плавает в мировом океане — в “Окиян-море”).

¹Толика — субдоминанта — доминанта — толика.

Но поскольку мир для телодвижения очень беден: по сути дела есть лишь твердая опора (препятствие, тяжесть) и пустота, — все разнообразие от самого тела нашего продуцируется и из него вычитывается. Когда узбечка бисерно поводит кистью и пальчиками, как бы втягивая иголку, — здесь же игра сухожилий, мускулов, ощущение их гармонической тряски и послушливости внутри нас (танец ведь первоначально не на обозрение для другого делался, а для осязания самочувствия себя). В танце так или иначе встряхиваются наши внутренние и внешние органы (как в гимнастике йогов они массируются неподвижной позой и дыханием), и мы становимся способны устраивать перебор-перепляс наших внутренних органов, их начинаем слышать = познавать самих себя: что там у нас внутри, когда не болит, а просто живет. Ведь слышим мы, что внутри, лишь по нужде, когда болеть начинает, а обычно нутро наше для нас глухо, тупо и немислимо. Так вот в танце, в гимнастике йогов мы задаем нутру усиленную жизнь — и оно начинает ощущаться и познаваться, читаться нами.

Итак, телодвижение, оказывается, есть равно наше соединение, освоение внешнего нам космоса (земли, пространства), как и способ читать, познать, освоить, овладеть нашим нутром — тем, что сокрыто от глаз. В самом деле, внешнее пространство, если даже мы не движемся, еще глазом и слухом может быть осваиваемо (хотя вопрос: человек, который отродясь не двигался, а лишь смотрел и слушал, какое представление и понятие может иметь о дереве, кошке, улице, машине, солнце — да, даже о нем, ведь сам, не двигаясь, как можешь со-чувствовать движению солнца? А ведь познание ума основывается на со-чувствии “объекту” познания всем нашим существом, постановкой на его место — благодаря тому, что в нашем теле вселенная заключена. Мы были амебой, есть и трава на нас — волосы, и чувство черепахи от панциря живет у нас под ногтями, и участь солнца: в самочувствии и обращениях наших глаз и т.д., — благодаря всесоставности нашего существа мы всему можем со-чувствовать в окружающем нас бытии).

Нутро же наше для глаза непроницаемо, для слуха — мало (урчанье какое-нибудь или пук), и лишь тончайшие осязания-касания внутренних органов там знают друг о друге. Но как **нам** знать о них? Нам — это “голове”? Но она, ум наш в этом смысле столь ж удалены от нутра нашего, как от этого дерева перед глазами и солнца (если не больше, ведь как раз умом и зрением совокупно мы очень тесно облизываем видимые пред-

меты. А какую идею — а “идея”-то есть эйдос, т.е. вид, от глаза зависит, — можем мы иметь от жизни нутра, которая до смерти невидима, а когда становится видима на трупе под ножом анатома — тогда не живет? И потом, это опять будет мысль и зрение о вне меня находящемся предмете: кишки трупа для мыслящего анатома — это не *его* внутренности, а то же, что для него дерево или солнце, т.е. то, что вне его, так что опять непознаваемо оказывается мое нутро = без-идейно).

Йог же, пропуская струю дыхания внутрь, словно щупальце и язык в себя запускает (как глаз бросает луч на предмет и обходит им его) и там замирает, задерживает дыхание (словно перебирает им диафрагму, печень, сердце, живот, каждую кишку) и всем существом¹ вслушивается, в-ощущается в неслышную игру внутренних касаний, гармонию их согласований — как тишайшую музыку мира — как атман (внутренняя душа), равный Брахману (=мировой душе — и где она? вне? внутри нас? везде?).

Таким образом, те народы, у которых развита культура поз, телодвижений, через эти средства с невидимым, внутренним, самым глубоким, сущностью (она, по-индийски — *gasa* — сок) и сердцевиной мира пытались войти в контакт и их понять, и понимали то, что для ума, света, слова — непроницаемо: вещь именно *в* себе, трансцендентное=непереступаемое (для кантова рассудка).

Ну конечно, ведь если та или иная поза дает нам конфигурацию мирового пространства, внутри которого мы ощущаем себя пребывающими, то не по внешней фигуре своей (сидим, лежим, бежим, локоть на колено — кулак под подбородок и т.д.) можем мы знать внутренние орбиты и силовые линии, расположение частей=стран света в этом пространстве, но по той композиции, что обретают внутренние органы наши в данной позе; а это нам ведомо либо через замершую позу тела и дыхания, вслушивание (воздух внутрь нас внедряется), либо через жест (поступок, дело) = внедрение телом в воздух как во внешнее нам. В обоих случаях воздух и тело — главные агенты, разница лишь в том, что внутрь чего входит, что фалл, а что влагалище в данном акте. В дыхании йогов струя воздуха — фалл, а тело мое — утроба, влагалище. Но в обоих

¹ Именю всем существом, а не частью: умом, глазом — можно и “идею” целости своей и бытия “охватить”. “Идея” Целого не есть идея, ибо идея = вид, а целое = все: и касание, и музыка сфер, струи дыхания и т.д., — так что лишь общим самочувствием Целое нам постижимо, в нас внедряется. Недаром “целое” в языке в сочетании “цел и неведим” значит просто “здоров”.

случаях мы координацию, созвучие внимаем, тот строй единый, что имеют между собой так поставленное тело: сидя, лежа, стоя, ходя, — и так настроенный на него мир (мировое пространство). Это именно так, ведь в каждом музыкальном инструменте (а он — полость, туловище, наше тело: чистое, как барабан, или с тем или иным внутренним органом: жилой-струной, бронхом с дырочками — как в духовых деревянных; или с заворотом большой кишки, откуда пук исходит, — в перекрученных медных: валторна, тромбон, туба; или с целым кишечником органа) то или иное устройство, фигура мира обитает, и тело музыкального инструмента — тот или иной образ пространства в себе создает = делает нам ведомым — через строй и звук: мир — как брюхо; пространство — как круглое; мир — как тростник; пространство — как столп; мир — как концентрические круги; пространство — как завихрение и т.д.

И *танец* есть также выверка внешнего пространства, рисование своим телом письмен и орнаментов в нем — как и выверка внутреннего нашего пространства, состава и строя: какие повороты, позы, кручения, какие перегрузки может выдерживать, чтоб не **зашлось** сердце и дыхание (недаром к ним, внутренним, термин внешнего передвижения — ходьбы — применен), чтоб не закружилась голова, чтоб все равно не был потерян верх-низ, право-лево, т.е. изнутри продуцируемая ориентировка в мировом пространстве.

Танец = перепляс — всегда состязание на спор и на “слабо!” нашего внутреннего пространства с внешним: кто кого? И через верткие телодвижения мы, как черпаком (наше тело складывается в разного рода захватывающие инструменты и короба), загребаем не только внешнее, но вычерпываем и внутреннее свое пространство, хлебаем его, пока не исчерпается. Потому после танца такое ж опустошение и годность к обновлению испытываем, как и после соития: словно на ветрах утробу свою, как бурдюк, наизнанку вывернули, проветрили и просушили.

Сексуальная фригидность балерин, танцоров, спортсменов и спортсменок как раз и вытекает из того, что танец или бег, гимнастика для них и есть как эротическое соитие с мировым пространством, так и опустошение, ощущение и гармонизация своего нутра, — для испытания чего простым людям нужно внедрение щупальца в нутро и облизыванье его языком и выворачивание всех полостей и стенок (вплоть до кишок, насквозь).

Итак, движение той или иной частью тела есть прочерчивание в пространстве внешней линии, что имеет внутреннее че-

ловеческое и мирское значение. Попробуем читать этот язык. Начнем хотя бы с приветствия.

Костя-абхаз. — Ну вот протягиванье руки...

Ауэзов. — А у нас “селям” — рука к груди, где сердце, и поклон.

Я. — Ну да, нелепо, входя в помещение, где много людей, нелепо перебирать поочередно у всех руки, как это делается. Ведь рука к руке — это образование одного тела из двух — химеры, кентавра, а в хороводе танца одна многоглавая и как бы членистотелая гидра образуется. Перебирание же рук нелепо, ибо это вступление каждый раз в моногамный брак: “я-ты”. Общий же “селям” рукой ко груди — это “я-ты” или коллективное “ты”, предполагающееся уже сомкнутотелым, когда я вхожу и присоединяюсь. Перебирая же руки каждого, я словно разбиваю собой наличную, добытую уже сомкнутость, и рассыпаю ее на сумму единичных отношений.

Костя-абхаз. — У нас поза скрестив руки означает горе.

Я. — Значит, заброшенность, покинутость, ведь обрублены контакты (через руки), и нет помощи. А в Европе это поза гордыни, надменности, поза Наполеона. Здесь человек прибирает, вбирает в себя руки, т.е. то, что дано для связи и общения с другими, к себе назад возвращает. Это поза эгоизма, нарциссизма, антисоциальности. А у русских “сидеть сложа руки” = лень, бездельник, но не имеет значения антисоциальности индивида (эта идея и предположена быть не может, ибо индивид никогда здесь не был самостоятелен), а его антирабочность значит.

Ораз-туркмен. — А у нас лень — сидеть сложа ноги — вон как.

Альгис-литовец. — У нас вообще жестов руками мало: если жестикулируют, это значит: человек **не в себе**.

Я. — Ага, а если в себе — значит, и руки прибраны. Притом у народа-земледельца руки на слишком важное дело используются: они — плуг, инструмент труда, так что кощунство употреблять их дублером слову, которое и само обойтись может. Однако здесь, видно, есть зависимость обратно пропорциональная. У народов-трудяг должен быть менее развит язык жестов, телодвижений (и танцев) — и больше язык словесный. И наоборот: у африканцев, например, где природа в общем сама кормит, тело, руки идут не на труд, а на язык — суть средства общения между собой и с Богом. И отсюда такое богатство у них танца, пантомимы — и менее развит словесный язык.

Ауэзов. — А у нас позы: полулежа или сидя на одеялах — ближе к земле; старики часами на корточках сидя беседуют, а когда в юрте разговор или состязание певцов, суд, то дают скамеечки низенькие.

Я. — То есть тоже как на корточки.

Ну вот: кочевник, что днем и в труде — верхом, как птица на воздухе, ему отдохновение — ощутить землю всем телом. Земледелец же, который целый день на земле стоит, в нее, ее утробу заглядывает, кланяется, узлами кряжистых ног-корней вырастает, ему отдохновение — возвыситься: верхом на стул-подстанов сесть, как на лошадь. Стул — седло оседлого народа, что не движется, не качается, а всегда на месте.

А поза на корточках? Вот (делаю ее), смотрите: человек ведь весь в ней подбирается, свивается в шар — да, образует самую совершенную фигуру, сосредоточивается, не рассеивается — и это выходит наилучшая поза для мысли, особенно и именно у кочевника, который есть животное-живот-шар.

Вот в Индии совершенная асана для созерцания: поза Будды — не шар.

Ауэзов. — Поза лотоса ногами, друг на друга заложенными, образуется.

Я. — Ну да, эта поза — прямой угол, как книга. Это земля — и вертикаль, и лицо; важна обращенность — к свету и дыханию; важны страны “света”, значит. И недаром у них, индусов, нет идеи шара как совершенной (что постоянно в эллинской античности).

Ну а наши мыслительные позы — посмотрим на себя, чтоб освободиться, а дальше и другие позы рассматривать станем, уже не боясь, неужели и до вот этой моей позы, в которой я сейчас думаю, дело дойдет?

Обычно — рука подпирает голову.

Альгис Бучис. — У нас Рупинтоелис — деревянная статуя Христа — в позе задумавшегося крестьянина. Одна рука свободно на ногу, на колено положена, а другая подбородок поддерживает, но спина пряма, и для того рука сильно деформирована, вытянута.

Я. — Итак, получается подставка дополнительная для головы у мыслящего земледельца и горожанина. Словно тяжелеет и не держится. А когда обе руки подпирают подбородок, получается треножник: две руки и спина-позвоночник — как таган, а на нем наш котел варить должен, пар-дым мыслей испускать.

Альгис Бучис. — А у нас и у русских жест: почесать макушку, когда задумываются.

Я. — Ну, это, верно, как дырочку в котелке просверливают, чтобы дух выходил.

Альгис Бучис. — Так, может, мыслительные позы разных народов обдумаем, чтоб логику разную понять?

Я. — Боюсь, они слишком однотипны: все голову подпирают — подбородок, лоб; рот прикрывают (отверстие) — свиваются, закупориваются, замыкаются на себя; рука у рта — это то же, как и змея свой хвост кусает. И в мышлении мы как раз “как змии” — мудры, начала и концы постигаем, и для того все конечное приводим к завершению, совершенству = и наши конечности на себя обращаем; в мышлении мы закругляем бытие и многое к единому приводим, а для того прежде всего себя превращаем в шар и единое из многого. То же и в позе Будды: свиты конечности, вобранны. Это и поза младенца в утробе: ручки и ножки подобраны. Недаром все младенцы как всезнающие Будды и выглядят, а последние (буддийские монахи) — как дети.

Конечно, в мыслительной позе есть национальные различия, но они будут нам виднее задним числом: когда мы рассмотрим весь комплект телодвижений в национальном космосе, тогда его следы будут видны и в мыслительной позе.

Так что теперь перейдем к более выразительным и разнообразным позам. И естественнее всего от неподвижной позы мышления — к **позе молитвы**: она тоже духовна, но более телоподвижна, язык тела здесь более разнообразен и развит.

Ауэзов. — У нас мусульманин стелит коврик, становится на колени, шепчет молитву, проводит рукой по лицу сверху вниз, а лбом — поклон до земли.

Альгис Бучис (литовец-католик). — У нас нет поклонов — бить челом. Обычно стоя или сидя склонить голову. Самый большой грех замолить — вокруг церкви на коленях обойти.

Латыш-эстетик (лютеранин). — У нас скамьи в кирхе, сидят.

Я. — А русские — на пол поклон, и не подстилают, а распластываются — лежат — без комфорта мусульманского коврика или европейской скамейки. Муку принимают, душу из тела вон¹. А западноевропейский храм со скамьями — это Бог, приближенный к уюту помещения, храм — дом (недаром со-

¹ **Дама по Бразилии.** — Но ведь это не национальные отличия, а религиозные.

Я. — Но недаром зоны религий совпадают с определенными космосами: например, ислам — в определенном поясе, а к северу и к югу — другое. Недаром и в Индии мусульманский Пакистан — севернее, чем земля индуизма...

бор — Дом), и комфортабельный там Бог. В этом смысле русская церковь и мечеть — это натуральный космос, открытое пространство, не заставленные человеческими предметами. И верх здесь — небосвод, купол — округлый.

Альгис. — А у нас — острое, шпиль.

Я. — Ну да, у западноевропейских народов — земледельцев и горожан, растительных — подчеркнута вертикаль мира: готический собор и кирха вонзаются в небо острием. Ислам же — более округл, животный, у неба — свод. Русский храм — переходный: есть и вертикаль, но не очень подчеркнутая, и купол, но не единый небосвод, а несколько куполят — луковок-опят.

Ораз-туркмен. — Но мечети есть очень высокие — 90 метров.

Я. — Дело не в высоте, а в вертикальности. Высокая мечеть — соответственно и широкая — все равно округлый небосвод получается¹.

Ауэзов. — В мечети собираются: она дает тень и прохладу — то, что приятно.

Я. — Вот ислам: чувственное наслаждение — средство общения с Богом — через приятное, а не через страдание. И турецкие бани — храмы, в них религиозное омовение совершается.

Дама по Бразилии. — Нельзя религиозное общение мешать с приятным. В Индии идут к монастырям в Гималаях, взбираются и по пути как дренаж примут — подготовку к общению с божеством.

Я. — Конечно, религия это выход из себя для общения с Богом, а не собирание в себя, сужение. Хотя — “Царство Божие внутри нас”? Это европейский принцип “я”, внутреннего мира закрытого человека — особи, закупоренного, подкупольного существования, — спроецированный на все бытие. И недаром в Европе так обязателен храм для моления, общения с Богом.

Это и в позах видно: ведь до сих пор мы позы свивания человека, его умаления, видели — поклоны, падения. Но ведь

¹ Ведь недаром при жесте “да” в сельскохозяйственной Европе голова прочерчивает вертикаль — она божественна. А турки, народы ислама (и болгары от них), головой поводят по сторонам: ширь, простор для кочевых, меж гор и степей — положительный тип пространства. (А минареты? — задаюсь сейчас, пересчитывая, вопросом. — 14.XII.68).

есть же еще воздевания рук горе, зывания, протягивания с мольбой, распахивание рук навстречу — в объятии. Все это саморасширение человека для соития с бытием — и это совершается на открытой природе, а не в храме: обращенность к солнцу, к восходу совершается прямо, без посредника.

И вот в странах, где стихии безмерны, где природа сама дает, внушает идею возвышенного, безграничного (как в Индии, где Гималаи — это сами боги; или где реки — священные — ср. казнящие и плодотворные разливы Ганга), там естественная религия, моление открытому космосу, и отсюда — обращенная (а не свитая в шар поклоном) поза Будды: лицом (а в поклоне — спиной ведь к Богу!). Там же, где, как в космосе Европы, природа умеренна и не дает пищи для идеи возвышенного, да еще трудяги, привыкшие все переделывать, живут, — люди прибавляют от себя к бытию: строят храм.

Латыш. — Но у нас тоже было язычество.

Альгис. — Поклонение дубу, есть у нас священные дубовые рощи.

Я. — Но это все — умеренное в природе. И потом: термин “язычество” путает. Будем различать естественную религию и трудовую — ту, что в цивилизации, где люди прибавляют Бога от себя окружающему бытию как несовершенному (“религия откровения”, по Гегелю).

Вообще — где и когда возникает храм?

Ведь в Египте Древнем боги жили в процессиях, шествиях, а пирамиды — не храмы.

И в Африке ритуальные танцы: вот когда вся община собирается к какому-то месту, они словно своими телами туда и бога приносят собой, и он живет не в помещении под крышей, а в телах людей и их телодвижениях.

Дама по Бразилии. — Вот африканские танцы — неистовы, экстаз.

Альгис. — У нас никогда нет экстаза: танец — шутка, развлечения, отдых, а не священнодействие.

Ауэзов. — А у нас один шаман за всех танцует до изнеможения.

Дама по Бразилии. — Я была в Узбекистане: там нет хоровых, а сольные танцы.

Костя-абхаз. У нас не касаются руки, а лезгин обходит женщину. Она — как ось, центр.

Дама по Бразилии. — Ну, земледельцы целый день натру-
дятся — где им силы под вечер!

Альгис. — Ну да, танец зависит от энергии, что остается у
народа.

Дама по Бразилии. — А в Африке целый день лежат, лень,
копят силы, а к вечеру, в ночи танцуют: как работа для них
это и необходимое освобождение.

Ауэзов. — Я читал, что в танце выражается не характер, а
темперамент народа.

Я. — Ну да, темперамент = температура = тепло, та или иная
огненность народа; а характер — как верно Костя сказал —
это уже форма, упорядочение того сырья — содержания, что
дает темперамент.

Допись к национальным танцам

Перед семинаром зашел в соседний дом к балерине-матери
и балерине-дочери.

О разных частях тела, участвующих в танце, говорили. Япон-
ский танец — неподвижен низ, ножки — маленькие опоры и
скрыты. Зато — мимика, миниатюрные движения головой, ру-
ками.

В индийском танце — гибкость рук, шеи, ног — как змеи;
уже полуобнаженное тело. Однако в основном — на месте.

В Африке — танец живота, в раскоряку центр: эротичес-
кие фигуры, танец соития.

У земледельцев Севера танцы — фигуры трудовой обработки
пространства: “ковырялочка”, “прихлоп-притоп” — как зем-
лю возделывают. И подвижны — фигуры различные описы-
вают передвижениями (круги разнонаправленные, расходы,
узоры на земле кладут, ткут — как вышивание: листики, квад-
раты, строчки).

В танце человек — разное животное.

В основном — птица, надземность. На русском Севере: жен-
щина — лебедь, плывет, “выплывает словно пава”. Есть танец
“уточка”, “гусиный шаг”. А у мужчины — присядка: взмахи
крыльями, будто улететь с земли собирается.

Балет в России развился, в странах же ислама его нет, по-
скольку там — запрет на обнажение тела.

Разница — **танец пространства и танец помещения.**

В открытом космосе — импровизация.

В помещении — упорядоченные движения, фигуры: как в
обществе — должен человек знать заранее, что будет делать

сосед. Па салонного танца — это как бы правовые, юридические, **отношения**: “носиться” могу так, а не иначе, до сих пор — мое, от сих — твое. Светскость — вместо света божьего космического танца.

Фигуры в танце помещения — все более правильные: круг, квадрат (вальс, танго).

Метафизика вальса. Вальс — космический танец. Прodelываем вращение двух родов: вокруг своей оси (с партнером мы — воссоединенный целостный человек) и по кругу зала, т.е. в вальсе мы равны Земле, земному шару, что и вокруг оси вращается, и по орбите вокруг Солнца. В этом — упоение вальса; его захватывающее дух кружение — той же природы, что и коловращение Земли, мы ей равны в танце, ей подражаем, ее собой чувствуем. В вальсе мы — само совершенство. Отсюда само- и взаимо-**восхищение** в нем.

Такт — на 3, т.е. Троица, совершенное и полное число, ибо лишь тремя точками можно осуществить поворот кругом (окружность лишь через треугольник описуема), тогда как остальные такты: на 2 и на 4, парные — квадратные, прямоугольные — выражают уже машинную цивилизацию: в танго и фокстроте ходят, как шатунно-кривошипный механизм в паровой машине (еще и углами локтей туда-сюда что-то толкают).

Вольные импровизационные танцы XX века: рок-н-ролл, твист, — это бунт против машинной цивилизации.

Дрoбь ногами у испанской танцовщицы и кастаньеты-щелчки — это язык птиц (соловья, курицы, петуха, что характерный символ для романских народов: “Галлия”=gallina — курица, по-латински). И знаменитая детская испанская песенка — про курицу и цыплят.

А у нас хлопанья в ладоши, по голеницам, пяткам, бедрам — плоскостями воздуха обработка, а не уколами щелчков.

Подобное отношение к пространству сказывается и в национальной **борьбе**, которая есть захват бытия, способ, метод его объять-понять. У кочевых — как хищники, по-кошачьи мягко приседая и сплетаясь в обнимку.

У русских — драка на кулачки: размахивают руками, как в танце, ибо пространство во-он какое необъятное раскинулось, так что в нем лишь пунктиры намечаешь точками и тире толчков своих рук среди пустынь и зияний.

Пространство при кулачках — не сплошняк, как там, где тело к телу прилегает в борьбе.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

Собеседники: М. Ауэзов, А. Бучис, К. Цвинария, О. Дурдыев, латыш-биолог, казах-домрист.

Принесли пластинки. Послушали казахские, литовские...

Я. — Музыка — трудноуловимое. Чтоб добраться до различий, по нашему принципу, приведем ее в связь с более телесным, осязаемым, очевидным — с естественным звучанием природы, с инструментами. Исследуем звучание национального космоса.

Каков состав звука — по стихиям? Огонь — отпадает (его представитель — свет), вода сама по себе беззвучна. А вот воздух в соприкосновении с землей и дает звук. И действительно, разный звук зависит от того вещества, которым производится трение и по какому (деревом по коже у барабана), и от формы и длины заключенной в этом теле (инструменте) волны — как его души. И когда по инструменту бьют — как по человеку, — он голосит, кричит, пищит: дух так или иначе испускает. Действительно, все инструменты = туловища, фигуры, с заключенной внутри душой. Ее выдавливают через отверстия (вырезы у скрипки — как губы; у домбры, гитары — рот; у иных — много мелких — как ноздри).

Инструменты, как и люди, связаны с растительным или животным царством. Инструменты деревянные — из дерева, стволов, тростников: дудочки, флейты и т.д. Есть инструменты-животы. Барабан — бьют по пузу, оно гудит с определенным тембром, как волну из заднего прохода испускает Гаргантюа, **“баритонально** попукивая”. Гайда (болгарская) — бурдюк надутый, а через дырочку воздух испускается, и она пищит. И гармошка = искусственные легкие, живот, мех: надувается и разжимается, как лепестки и доли легких.

Есть инструменты — мужчины (деревянные, растительные стержни — и издают мужской звук: горны, трубы, рожки, флейты — все воинственные) или инструменты-женщины — с гибким грудастым телом: гитара, скрипка — и все они издают музыку томления и любви.

Ударные, клавишные инструменты — дают соединение мужского и женского, как акт соития: палка бьет по животу в барабане, молоточек ударяет по струне (женской жиле) в форте-пиано (недаром *двойно* назван инструмент: это поистине

целое мира, воссоединенное из полов-половинок, единого “Двубого” целостный универсум). Вообще всякое испускание звука — это рождение целого из соединения половинок: щипком ли по струне или смычком пиля — это разные типы любовных касаний, позы объятий, ведь инструмент по-разному обнимают, держат (ср. позы соитий по индийской Кама-сутре): гитару — как красотку на коленях, скрипку — подняв на руки, виолончель — между ног; везде играющий — мужчина; дудя же в дудочки флейт, кларнетов — держат в руках и во рту фаллос. Недаром в Греции были именно флейтистки-танцовщицы: они сопровождали Диониса и фавнов в вакханалиях, и чувственный звук их музыки не одобрялся Платоном и изгонялся из идеального государства, где были запрещены изнеживающие, томные азиатские: лидийский, фригийский, миксолидийский и гипофригийский лады, и допускались лишь строгие эллинские: дорийский, ионийский и эолийский.

Духовые же большие инструменты — горны, валторны (Waldhorn, нем. — букв. “лесной рог”). Трубы — опять надувание раструба = влагалища мощной мужской струей.

Инструменты и к стихиям могут быть приурочены. Я так думал, что *земля*, ее звучание — это **ударные** инструменты, где тело о тело, шумы разные: барабан, трещотки, ксилофон (по шпалам-рельсам ляп-ду-ду!), кастаньеты, отчасти фортепиано; и тело земли далее — материал и фигура в каждом инструменте.

Вода — это сырое, живое в инструментах: кожи (животы) — барабаны, гайды, волынки-бурдюки; и жилы-струны: если они сухи, не гибки — они не звучат, а скрежещут. Это — путряные инструменты, и недаром для выражения внутренней жизни **струнные** все предназначены: скрипка за душу берет, за жилы струнами тянет; переливы гитар, арф — это словно переливы крови, внутренние потоки, их настрой.

Здесь уже не шум (удар, шорох, шелест), а определенная *волна* (водяное и звуковое явление), голос, слово, фонема звука — *нота*, т.е. отмеченное, запоминающееся — это уже тон, звук органической природы (тогда как земля сама по себе — звук неорганической природы издает).

Воздух — **духовые** инструменты: та или иная плененная в трубу часть мирового воздушного океана особую волну издает, испускает. Но у духовых звук внешней души, космической души природы, пространства, тогда как у струнных — звук внутренней души нашей: такт дыхания, биения сердца. Прав-

да, в духовых происходит соединение этих душ: внутренней, нашей, и внешней, космической — их соитие в трубе; ведь дуем мы из себя, свой выдох, возврат заемного превращаем искусством в дар природе, дарим ей звук, прорезь. В самом деле: при обычном дыхании из нас свист, хрип, хрюк — шумы. Но в инструменте мы им придаем меру, т.е. личность, “я”, сообщаем **определенность** — и пускаем в мир уже как отграниченную волну: со смыслом и с “я”.

Ну да, главное в музыкальном звуке, в отличие от естественного, природного, аморфного, — определенность от сих до сих, прерывность, т.е. это как тело, фигура, форма в пространстве.

Недаром поэтому все инструменты разные геометрические формы имеют: здесь, в музыке, видно, как *пространство* переходит *во время*: соответствующая фигура (цилиндр барабана, восьмерка скрипки, треугольник балалайки, трапеция арфы и рояля, лес вертикалей органа и т.д.) испускает и имеет своим выразителем определенный тембр и тон в мире длительностей.

То же самое, йог, принимая ту или иную позу = телом изобразив особую фигуру в пространстве, словно делал свое туловище то скрипкой, то арфой и издавал своим дыханием определенное тонкое инфразвуковое звучание, что приводило его в состояние гармонии с бытием.

Каждая асана = особая фигура = особый инструмент = особый звук = особое дыхание = особый дух (мысль, мировоззрение).

И мы, когда играем, по-разному извиваемся телом, добавляя к фигуре инструмента фигуру от себя, и тем особой глубиной и выразительности звук каждый раз издается.

Огонь, как стихия, представлен в **медных, металлических** инструментах: их нельзя произвести без огня, плавки металла и их кования в раскаленном виде. Оттого они испускают блестящий звук — как луч света ослепляющий. Восход солнца, луч пронзительным звуком трубы передается, фанфары; ослепление — звоном, бряцанием тарелок: когда брызнет сноп и наступает высшее просветление, тогда совершается и оглушение, т.е. переход от звука к свету, к немоте созерцания и прозрения. (То же — на тончайших, почти беззвучностях, в высших регистрах, флажолеты — ср. вступление к “Лоэнгрина” Вагнера.)

И звон от огня — гусельки звончатые, колокола. Колокол = фалл о влагалище — простейший звуковой универсум — и дрожит и долго живет в воздухе как звук основной и простей-

шей сути мира — тем завораживает. Отдается далеко и повсюду, ибо все в бытии — Эрос, повсюду творится акт соития мужского и женского. Потому из всех инструментов церковь взяла себе именно колокол и орган — сей огненный город — пожар языков — столбов пламени = мировых стволов-трубок. Но собственно город в музыке — это симфонический оркестр¹. Его звучание — это звукопись жизни мирового города, цивилизации, гражданского общества, государства (ср. Шпенглер об этом).

Теперь рассмотрим конкретные звучания национальных космосов.

Во-первых, чем звучит сама природа?

Ауэзов. — У нас вообще тихо: степь. Так что когда из города приезжаешь, как оглушенный стоишь в тишине. Звук от чего? Ну вот ветры и пески звучат, когда волнами пересыпаются.

Я. — Ну да, ветер, прокатываясь по волнам барханов, их волны заимствует, сжатия и разряжения — и на инструменте земли играет.

А. Бучис. — Или трение это песчинок?

Я. — Ага — значит, свист сквозь поры песчинок.

Ауэзов. — Потом шелест травы-ковыля = волны, и легкий серебристый звук.

Я. — Ну а чем звучит воздух? Гор нет — ударов нет; воды тихи. Птицы какие? Ведь в голосе, в звучании человек — птица, недаром голос помещен вверху нашем, наиболее возвышен над землей, над крыльями рук уже.

Ауэзов. — Птиц у нас мало. Ну, перепел — дрожанье звука. Жаворонок — черный, тоже не очень поет. Дрофы и другие степные тоже тихи. Орел — клетот его редок: в горах или когда особое остервенение битвы.

Я. — Значит, звук в степи — событие, ЧП, редкое и особое. Ну а стадо как?

Ауэзов. — Стадо пасется тихо. Когда же звук, значит, волк напал или что-то случилось, и тогда все сразу беснеют, голосят.

Я. — Ну а уход и приход стада? Ведь в деревнях земледельцев особая поэзия и музыка — это уход и возвращение стада.

Ауэзов. — Нет, ведь у нас скорее человек пасется, снимается вслед за стадом, возле него располагается на пастбище;

¹ В струнном квартете: виолончель = земля, альт = вода, вторая скрипка = воздух, первая скрипка = огонь.

съедят траву здесь — дальше пойдут, так что приходы-уходы домой не так ярко выражены.

Я. — Итак, здесь многое очевидно: воздушное пространство на высоте человека от земли уже в основном пусто. Какая разница с этим — леса у земледельческих народов! Здесь еще высоко над человеком продолжается и вознесена жизнь и голосит космос. Естественно, и человеку есть куда тянуться и вырастать: оттого северяне рослые, тогда как кочевники — приземисты, стараются ниже травы, тише воды быть — вкрадчивы, тихи.

Итак, разберем естественное звучание космоса средневропейской полосы — среди трав и лесов.

Лес — это торчат потенциальные разнотембровые и разновысотные волны-звуки; каждое дерево — особый тон, а роща — целый строй. И когда дует ветер, он эту естественную эолову арфу леса звучать побуждает. Как у Межелайтиса:

Нет лиры у меня,
Но ветер по соснам...

А. Бучис. — Это у него по Чюрленису — из “Сказки леса”.

Я. — И сколько звуков лес издает! Треск, скрип, шорох, шелест.

А. Бучис. — У нас в языке много слов для обозначения разных звуков леса.

Я. — Но лес — это пока звучание как бы неорганического космоса.

А. Бучис. — Еще море у нас.

Я. — Ага. Море — это и плеск, и ропот, и ластится, и журчит струйками уходящая волна; и накат, и шум, и вой, рев, гнев, буря.

Это жизнь божества, сверхмерного.

А. Бучис. — У горцев такое впечатление возвышенного, наврное, от гор через зрение передается.

Я. — Но — к лесу, еще не доисследовали.

Кроме звучания ствола и листьев, на ветвях — птицы. У каждого дерева — своя птичка: кленовик..., и птицы по деревьям именуется. Птицы на дереве — это как глаза и рот на кроне головы нашей, что на стволе туловища и на ветвях рук. Это уже звук Жизни, от себя испускающей звук в Космос. Птицы и их голоса — это лучики, пламешки (язык пламени ведь тоже вверх к свету стремится). И каждая птичка — особый инструмент: и мясо в ней, туловище разное, и форма

тсла и головы; отсюда и звук разный: щебет, клекот, воркованье, перелив, токованье, рулады, пенье и т.д. — и все звуки разного тембра, высоты и частоты. И всем этим звучит лес.

А. Бучис. — Про соловья у нас: “Такой телом невзрачный, а как поет”! И еще говорится: “Будь как соловей: что ест (т.е. неприхотлив), — а как поет!”

Я. — Соловей — вот! Хоть везде с ним пение людское сравнивают, однако на разное обращается внимание. Например, литовец, сам грязный, в земле, обращает внимание на родной себе серенький сюртучок, невзрачность соловья. И не звучит здесь столь излюбленная Востоком комбинация: соловей и роза в саду. Соловей в Литве — не садовая птичка, а в естественной роще над рекой.

Но продолжим рассматривать растительность и звук летучий (издаваемый птицами, насекомыми). Ну да, ведь животное земное само — тело, само держит себя, само и звучит. Такое целое лишь вместе создают растения и жители воздуха: растения-деревья суть ноги для насекомых, птиц — тех, воздушных, что несут, заключают в себе голос. Ведь травы — се малый лес: луга в жару звучат, стрекочут насекомыми, этими птицами трав. Все это жужжанье, высокие тонкие звуки — как и тонки, неслышны звуки от струнок-волосинок трав; и как от них лишь общий звук от многих трав под ветром (шелест) слышен, а иначе остается за порогом слухового восприятия, — так и от взмаха крыл шмеля: лишь от многих, массы частых ударов звук слышен становится.

А плюс к тому у земледельцев ведь и домашние животные тоже целый космос при себе, уже внизу, ниже уровня роста человека — как продолжение его живота (жизни): к ним не надо идти и вверх голову задирать, как в храм леса.

А. Бучис. — У нас звуки домашних животных считаются грубыми и не уважаются: хрюканье, гнусавые гуси, лай собак.

Костя-абхаз. — А у нас ни один рассказ не обходится без лая собак.

Я. — Но все-таки “Петушок” у литовцев — и танец, и ценится. Но, конечно, у живущего среди трав и лесов — целая иерархия звучаний. Есть высокое и подлое, добро и зло, душа и тело в звучании — от изобилия звуков.

А еще ведь и воды как журчат: большие реки — беззвучны, но чем меньше ручеек, струйка, капель весенняя — своими тонами звучат и размеренно.

И весь космос земледельца непрерывно и многообразнейше звучит, а он работает в тиши, пашет, сеет где-нибудь на опушке леса или косит — среди жужжанья — всю жизнь вслушивается. Ясно, что и слуховой аппарат развивается до тонкости, и так музыкально и многогласно хоровое пение у северных народов. И отсюда такой вывод: закономерно, что именно у среднеевропейских народов, среди лесов и трав, родиться могла симфония — этот космос, музыкальная вселенная. В степи кочевника для нее нет природной подосновы, прообраза звучаний. А здесь, в лесу, разом звучит и голосит такое и столько! И человеку требуется овладеть этим, возделывать и сад природных звучаний, возделывать окружающее воздушное пространство, и дом звучаний, что от земли до крон деревьев, что от асфальта до небоскреба, — самому построить.

А у вас ведь нет хорового пения?

Ауэзов. — Очень мало — на свадьбах; а так один обычно поет, рассказывает.

Я. — И когда хором, то ведь не на разные голоса, а все на один мотив?

Ауэзов. — Да.

Я. — И в Китае (у Образцова “Театр китайского народа” я читал) нет многоголосого пения, тогда как русское пение немыслимо без подголосков и вторы. То есть, даже если хор в Китае, то это просто много, громкость однородного, а не собор разнородного, индивидуального, особых жизней и “я”.

Теперь рассмотрим звучание **музыки в быту**.

Когда поют и как? Во-первых, в открытом космосе, как излияние души, в простор?

Ауэзов. — У нас не поют в степи. Звук далеко разносится, и это вызывает тревогу. Даже когда скачет кто, за 50 шагов от юрты должен остановиться, так как дрожит земля, и если подскочит сразу к юрте, значит, со страшной, исключительной вестью. А вообще при тишине степи поют люди и говорят много.

Я. — Ну да, при тишине наше звучанье — единственное подтверждение жизненности людской. Перефразируя Декарта: “Звучу — следовательно, существую”. А говорят тихо или громко?

Ауэзов. — Тихо. Поют же у нас вечером, за ужином — долго рассказывают, поя. Целая прослойка людей переходящих от аула к аулу — вот они за ужином рассказывают.

Я. — Значит, музыка у вас не столько эмоциональна, сколько информационна.

А. Бучис. — А у нас на очень скупые слова: “Ты ехал по лесу. Было ли страшно?” — вот и все, а сколько поется!..

Я. — И в русской песне — как протяжно, много звуков на слог-распев; и отсюда в Европе хоры, реквиемы, мессы — грандиозные часовые построения на информационный текст в полстраницы.

Ауэзов. — Есть и стойкие мотивы, но это уже на плачах-похоронах, свадьбах, а так, в сказе, — импровизационно.

Ну и состязаются акыны, разные комбинации, долго...

Я. — Так что или один, или двое = рассказ или беседа.

Ораз-туркмен. — У нас бахши-ашуг — знаменитость; когда умрет — национальный траур. Он, как шаман: все что угодно может с тобой сделать.

А. Бучис. — У нас нет такого: считается, что, один лучше, другой хуже, но каждый может петь. Были, правда, в древности **вайделы** — как шаманы.

Я. — Значит, в Литве в хоровом пении — как юридическое равноправие граждан в правовом обществе, и так же это среди бюргеров, где цехи; а у кочевников ашуг — как хан, как священный племенной производитель.

А. Бучис. — У нас когда поют? Говорят: днем птицы поют — люди молчат. Вечером люди поют — птицы молчат. После работы на поле встанут, один затынет, другой, отпоются — и уйдут.

Я. — Значит, пение — как потребность существа отдышаться после работы; но ведь и птицы щебечут, поют не специально — это они дышат так: просто так свойственно звуку сквозь их туловища, пазы и дырочки проходить.

Костя-абхаз. — Ну, теперь, наверное, моя очередь.

Я. — Да, горный космос продумаем, его звучание.

Костя. — У нас вообще шумы с гор: камнепады и рокот рек.

Я. — Значит, в отличие от тишины степи кочевника и расчлененной органической музыкальности космоса земледельца, здесь неорганическая природа особо властно жива, грозна и возвышенна — и все время дает о себе знать звуком. Потом, в горах звук не протяжный, а резкий, отрывистый должен быть. В лесу: “ау-ау”, а в горах: “эп! эп!” — окликают друг друга. И в горах в ответ — **эхо**, ибо определенный здесь космос, замкнут, не бесконечен, заключен как меж стен. В России же — бесконечный простор и даль, и поэту нет отзыва (ср. “Эхо” Пушкина).

Латыш-биолог. — В Тироле тоже горцы — гортанный звук.

Я. — Да, голосом делают резкий перепад — на октаву, как водопад = спад уровней резкий, и такую волну посылают — на короткое и резкое эхо, на отклик рассчитанную.

Костя-абхаз. — В лесах у нас птиц немного.

Я. — Ну да, здесь ведь хвойные леса. Кстати, в каких лесах, лиственных или хвойных, птиц больше?

— В лиственных.

Я. — И это естественно: хвоя — вечнозеленая, значит, ни жизнь — ни смерть, по ту сторону этого различия стоит. А лист — как птица: живет сезон — умирает и вновь рождается. Лист — жизнен, и именно в лиственных лесах — разнообразие звучаний.

Костя-абхаз. — В горах не поют: нужен глаз да глаз, чтобы идти, не свалиться, а не распевать. Вообще глаз у нас важнее, чем слух.

Ауэзов. — А у нас слух — к улавливанию шорохов приспособлен, а глаз — на даль, узок.

Я. — У горцев глаз — широк: на близь вглядываться, близзорук, а у тех — дальнорук.

А ухо у кочевника, сравнительно с глазом, больше, тогда как у горца — ушки маленькие сравнительно с носом и глазом.

Костя-абхаз. — Звук у нас скорее нужен, чтобы время определять: вот петухи поют — пора.

Я. — Ну да, а еще темно: солнце взошло, но горы его заслоняют. Петухи же об этом ведают. Вообще вот тоже важно: с чем сопряжен звук — с *пространством или временем*? В индийских Упанишадах был удивлен, прочтя, что звук они связывают со странами света: север-юг, запад-восток, т.е. с пространством, тогда как по европейской традиции — Лессинг, Кант, Гегель, Толстой, — звук музыки приспособлен для передачи внутренней жизни души во **времени** (ритм-пульс), и, по Лессингу, музыка и поэзия — временные искусства, в отличие от пространственных: скульптуры, живописи.

Теперь, исследовав, к какому типу музыки предрасполагает естественное звучание национального космоса, попробуем выявить уже собственно музыкальные явления: **рисунок мелодии, такт, ритм**. Давайте вот вы, двое казахов, напойте что-нибудь.

Ауэзов и другой казах поют. “Это песня — плач еще с XVII века”, — объясняют.

Я. — Но что-то подозрительно: квадратный ритм и гармония — не огорожанена ли эта песня?

А. Бучис. — Да, не совсем естественно...

Я. — Спойте другое, веселое.

Напевают — свадебное.

Я. — Ну что ж, уже кое-что можем извлечь. Во-первых, рисунок мелодии — без скачков, мелко-изгибчатый, переливается у суставов, как гибкое кошачье тело кочевника, — ср. с углами и выступами корявого земледельца. И там — вон мы слышали кантеле — какие интервалы: скачки, а от них уже спадания или возвышения. Здесь же, в казахском, скачков нет; а во-вторых, и диапазон мелодии невысок: всего в районе кварты-квинты вьется, но внутри — разнообразие опеваний звука, изгибов демонстрирует: это — **приземистая**, как тело и жизнь кочевника, **музыка**.

Оттого здесь нет и пищи для многоголосия. Ведь многоголосье связано с многоформатностью окружающего космоса: вон — в горах — сколько разных величин, форм и тел, у каждого — свои звучание и рисунок, и отсюда грузинская полифония с резко очерченными интервалами, перепадами и ритмами. То же и в космосе литовца-земледельца: разноголосо взывают стволы и травы, разный тембр, диапазон и длительность имея. А в этом уже и полифония: каждый разную высоту и длительность тянет — как в колокольном звоне: “блин — полблина — четверть блина” — так его воспроизводят.

А здесь и форм нет разнообразных и четких, потому аморфно-импровизационно орнамент мелодии вьется, и уловить его, т.е. оттенить, подчеркнуть контрастом, второй, параллельным голосоведением невозможно — ведь то же самое бы было, и оттого нет смысла разнообразить: была бы не музыка, а смешение, какофония.

Но тип мелодии связан и с **национальными инструментами** и на них, их возможностях, еще виднее быть может.

Ауэзов. — У нас главное — домбра. Длинная шейка и маленькое утолщение с круглой прорезью.

Я. — Голова и рот.

Ауэзов. — На ней — две струны. Струны — из кишок, лучше всего кошачьих, считается. Их перекручивают.

Я. — Ну вот, две струны. Струны — из кишок. Для интервалов широких не приспособлены. Вообще-то любой интервал в пределах октавы можно на любой струне извлечь, а через два зажима и еще больше. Но ведь как скакать рукой и пальцем нужно! Еще и не туда попадешь! Для того пять струн на скрипке — чтобы можно было, не сводя резко ла-

донь с места, пальцами перебирая струны, звуки разной высоты извлекать.

Ауэзов. — Про возникновение домбры и отверстия на ней даже легенда есть.

Я. — Не отвлечет нас? Ну рассказывайте.

Ауэзов. — У хана погиб сын, а хан всем сказал: кто с дурной вестью к нему придет, тому рот свинцом зальет. Долго никто не решался сообщить. Тогда старик один на домбре такую музыку ему сыграл, что тот все понял. Но и слово свое сдержал: на домбру, что ему весть печальную рассказала, свинец вылил — он и прожег отверстие.

Я. — Ну вот, значит, точно **рот** это. Могу гордиться, что предугадал.

(Смеемся).

И таким образом инструментальная музыка причащена к вокальной: рот в инструменте = отверстие в туловище (животе=барабане) прорубая, открывая (а рот есть — в мир Божий глаз от звука), тем самым инструмент из ударного в душевный превращают, голос у него прорезывается.

А. Бучис. — У нас древнейшие — роги.

Костя-абхаз. — А у нас из рогов пьют.

А. Бучис. — Созывали на звук, так знак подавали — в лесу ведь не видно.

Я. — От этого Wald-horn, валторна в современном оркестре — “лесной рог” буквально.

А. Бучис. — Потом дудочки разной длины и толщины в дереве выдалбливали, складывали, отверстия пробивали — и вставляли четверо в ряд с дудочками разной длины.

Потом в один инструмент совместили несколько трубочек рядом — как свистульки.

Я. — В Греции это флейта Пана.

А. Бучис. — Наконец кантеле — ящик плоский.

Я. — Прямоугольник — форма земледельца: стол, пол в дому; у кочевника же все — округло, пузато.

А. Бучис. — На нем несколько струн и перебирают.

Костя-абхаз. — И у нас есть подобный инструмент, только в его середине еще ряд струн вертикально, как у арфы, поставлен.

Я. — Тем гора и долина — два основные рельефа — явлены.

Твердый строй и **звукоряд** мог появиться не с помощью ударных или струнных, т.е. естественно-природных (там скользить можно по струне по неопределенной линии, а не по лест-

нице звуков), но именно на деревянных, трудовых, где дырочки натвердо пробиваются в определенных местах, и там не подправишь в унисон или в созвучие скольжением пальца. Так что гамма, расчленение есть уже внесение от человечества своих расчленений, форм, системы мер и величин в естественный космос природы. Так что лишь у трудовых народов (земледельцев и горожан) четкий звукоряд. У тех же, кто живут на помочах и дотации у природы, звук, тон не фиксированный, а плывет, как в естественном космосе.

Отсюда роги, фанфары приспособлены для перепадов — на октаву, квинту, терцию. Недаром и в оркестре фанфары — для великолепия трезвучий, утверждая их столпы, — как сваи и опоры в мироздании.

Теперь — *время* в музыке: **такт, ритм, темп**. Вот у казахов я не учуял четкого расчленения сильной доли и слабой. Это членение не периодами времени здесь определяется, а эмоцией, выразительностью: когда от души надо вскрикнуть — тогда и сильная доля.

Жесткий же такт, очевидно, не у верховых, а у ходячих, земледельческих народов: сопряжен он с ходьбой, ступанием. И в кочевом танце женском — малоподвижны ноги, живет лишь верх: руки, шея, голова (отсюда все искусство танца, что распределено у иных народов на все части тела, здесь сгущено на верх — и вот эти знаменитые виртуозные скольжения головой на шее вправо-влево). Кочевник нетвердо стоит на земле, а склонен скорее именно по ней катиться, так что жестких расчленений у него нет.

Именно **ходьба**, марш, танец ногами дает нам жесткий такт, соединение сильной и слабой долей в группу, недаром такт по-гречески “стопа”, “ступание”.

ВЕДУЩИЙ. 24 июля 1986

Итак, упал занавес — закончился спектакль мышления. То был хоровод коллективной творческой мысли — и в этом неповторимость (и неисправимость) данного материала, при всей шероховатости, может быть, и неотделанности моих записей этих бесед. Неотделано — да зато неподдельно! Да и юморок некий сам собой возник — даже в самих наименованиях персонажей: “Девушка-калмычка”, “Латыш-эстетик”, “Дама по Бразилии”...

Здесь главное — труд именно *художественного мышления*. Со строго научной точки зрения не все тут выдержит крити-

ку: некоторые утверждения произвольны (“произвольны — да вольны!” — хочется вторым голосом контрапунктировать). Тут же — беседа, игра, юмор...

Конечно, текст, произведенный образным мышлением, требует некоторой “техники безопасности”: не надо всякое высказывание принимать за чистую монету (но все ж за монету принимать надо — пусть и “грязную”! — мысль и толк там есть). Зато “мыслеобраз” смеет работать с целостностью бытия, культуры и всякой вещи и доставлять их понимание, тогда как рассудочная мысль сухой науки разлагает все на части и дает о них **информацию**, которая есть *знание — без понимания*. (Осознаю: слишком резко выразился, но вы ж меня поймете?!)

К темам этих бесед примыкают нижеследующие уже мои собственные рассуждения, выдержанные в том же духе — толкования предметности, прочтения вещей быта как идей бытия.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

6. II. 1968. Глянув на обложку книги Элизе Реклю из серии “Народы и страны Западной Европы” — “Испания и Португалия”, где изображена коррида: матадор на коне копье вонзает в шею быка, — подумал: да ведь игры каждого народа — это его космос, приведенный в движение, это космические действия. Сначала подумал: вон в Испании — ведь тоже страна цивилизованная, двадцатого века, — а сохранили древнюю игру. А у нас, в России, недавно, наверное, будь такая, отменили бы — как “варварскую”, след нашей “некультурности”, и остались мы б опять без традиции, с еще одним прерывом... Да, так и не могу назвать национальную русскую игру: не дошла до наших дней, а все из-за исторического пунктира, перепадов, когда все заново и словно начисто писалось на земле.

А еще — какой-то странный стыд перед иностранцами за свое, не гордость. Вон испанцу смешно стыдиться иностранца: какой ты ни есть расцивилизованный, а я — пастух, все равно гордо голову ношу и плевать хотел; самостен он. А русский врожденно застенчив, ориентирован на бок, на другого, в сторону, в даль, так что каков он есть здесь и теперь — это, ему кажется, совсем не то.

Испанец же горд, напротив — свое здесь и теперь, “я”, атом утверждает, даже выпячивает больше цены (идальго и спесь):

что я во какой! А русский, и будучи хорош, каков он есть здесь и теперь, — все равно умалит себя, ибо самочувствие его: “Эх! Не то все это, а кабы...” У гордого атомного испанца — присутствие = при сути своей пребывает, а у русского ощущение отсутствия = что от сути своей отделен и еще дойти до нее надо дальнейю дорогою... Испанец — точка, русский — тире.

Но это вбок, а теперь — об играх.

Игра! Что такое вообще, по идее? — Да это же занятие бессмертных и вечных, богов беззаботных. В игре мы — как боги: забываем время, все цели: для чего, зачем, что делать? Все причины: откуда? Все смыслы жизни, все вопросы; все заботы, выгоду, цели, корысть, нужды, потребности, чем труд движим; “я” свое — его нет, забыли; все вышли из себя — вместе с массой болельщиков на стадионе, в едином мире. То есть преодолено самочувствие смертного человека, который существует в ощущении начала и конца, для кого время — деньги и течет, и уносит; но как дети мы, для которых ничего этого еще не началось, что еще полуангелы, несут печать мира иного, где были, по мифам, души до воплощения, отчего Гераклит образ вечности представлял так:

“Вечность — ребенок, забавляющийся игрой в шахматы: царство ребенка”¹.

Здесь все точно: что это **детство** — т.е. безмятежность, юность — и в этом смысле человек выглядит в искусстве взрослее ангелов и даже богов: верно ведь — те несмышлелыши, так многого не понимают, наивны, простодушны; так, Яго взрослее Отелло, наивного ребенка, хоть Отелло совсем не молод. Человек и мужественнее, зреее женственных, инфантильных ангелов; и тело об этом говорит — у тех мягкое, гладкое, с невыраженными мускулами, а у человека — вона какая мускулатура! — для дел, трудов, усилий в достижении целей. Вот почему Микеланджело, надарив богов и ангелов даже мускулатурой, сразу их оземлил, одухотворенной легкости и крылатости лишил, придав им не свойственные безмятежности бытия качества воли, усилия, а значит — преодоления. А что им достигать и преодолевать, когда все при них — растворено!..

Что это — **забава**? “бавя” по-болгарски (из старославянского корня) — “замедлять”, т.е. атрибут вечности (ведь смер-

¹ Античные философы. (Свидетельства, фрагменты, тексты). Сост. А.Австисьян. Кисв: Изд-во Киевского ун-та, 1955. С.23.

тный человек одержим идеей ускорения, спешки: скорей! время не терпит, дорого! надо успеть! — А что успевать-то ангелам? Или преуспевать? Это их не касается), так что здесь не жизнь (что имеет свое *другое* — смерть), а бытие, пребывание, чистое.

Что это — **игра**? Не труд в поте лица своего, не битва не на живот, а не смерть, не серьезное что-то, где решается вопрос жизни или смерти и где остервенение, усилие и стискивание зубов в ярости на соперника или врага, и отчаянье, и самозакалывание при поражении и неудаче. Нет — игра! Сегодня ты, а завтра я, и неудачников нет, так что и плакать нечего. И когда сказали: “Что наша жизнь? — Игра”, — то этим сразу жизнь перевели в иной план — на уровень бытия, и самочувствие легкости и не нашей заботы нам сообщили.

И все бытие — круговорот, игра стихий: вода пролилась дождем, выросла стеблем, поднялась паром, сгустилась в воздушное облако, пролилась дождем...

Вот почему так дорожит и современное человечество игрой, спортом, ибо игра — мировоззренческа, сообщает издерганному современному человеку мироощущение бытия, богов бессмертных. Вот почему, когда в игру начинают проникать интересы, цели и престижи (деньги ли, подкуп или нажим на национальную гордость, или толковать ее как схватку “лагерей” или преимущество той или иной социальной системы), то это уничтожение как раз игрового мировоззрения и оковывание самих игроков: недаром наши футболисты, накачанные перед игрой партийным собранием, что или выиграть, или партбилет на стол (утрирую), — получали такой шок и оцепенение, что проигрывали. И сам народ, болельщики, что во время игры, с амфитеатра небес, с облаков южной или северной трибуны (недаром стадион такими космическими частями разделен: по странам света, как мир, Вселенная, само бытие, пространство — а не помещение!), богами и ангелами взирают на схватки людей на плоскости поля Земли, — недоброжелательно отбрасывают привходящие интересы и добры к приезжим, хвалят их, осыпывают своих: все объективно.

И тут, на поле, не смужлюешь, как в кабинетах за подписями и печатями на бумажках и анкетах, не выдашь плохое за хорошее — тут прямой самосуд, всепроницание, сразу все видно, как на духу, не скроешься, не спрячешься (за документ, за билет, за дядю, за спину), а каждый есть то, что он стоит. Так что здесь бытие истины = как естины, а болельщики одарены

всевидением и всеведением, как боги, судят людей беспристрастно, по делам их. И если они — “болеельщики” (от слова “болезнь”), то оттого, что они сейчас чокнутые, нездравомыслящие по-земному, а идиоты, юродивые, безмятежные: у него дома ни гроша, а он прыгает и ликует на стадионе! — и болеют они за игру как таковую, ну и за “своих”, конечно, “фаворитов”. Но это лишь предлог, как в маневрах надо ж разделиться как-то: ну на “красных” и “синих”, на “Спартак” и “Динамо”...

Итак, в игре мир освобождается от отчуждения; цивилизация, история — все к черту, нет этого, а мир — как в первый день творения, и вообще — бытие еще до творения, до воплощения, до “грехопадения” в “труд” и “заботу”.

Оттого те игры хороши, что древни.

Новые игры, как правило, не имеют космически-миросозерцательного характера, как, кстати, и новые танцы, что у нас собираются искусственно изобретать и вводить в пику “неприличным” твистам, рок-н-роллам, ча-ча, шейкам и прочим, что недаром так первичными действиями названы: twist — расщеплять, shake — тряссти, потрясать (как громовеержец перу-пом): в них отелеснены праидеи, как это обычно в народных танцах, откуда и эти современные взяты: танго (tango — лат.) = “касаюсь” — тоже идея касания, осязания, как одного из пяти чувств; ролл (roll) — шар, катить; фокстрот (foxtrott) — “лисий шаг”, поступь — тоже подражание животному тотему, как в первобытных магических заклинательных танцах.

И судья, что на поле есть лицо официальное, цивилизованно-ученое, царь и король, — весь под обстрелом и контролем народа, кто есть высший судья и может освистать “судью — на мыло” и свергнуть царя — вот уж где он не начальник, а подчиненный, всего лишь доверенный, слуга народа, исполнитель божьей воли (а в роли богов — зрители, с небес = ярусов амфитеатра, с его полушария — как и небо есть получаща — взирают на действие смертных).

Такова игра как ритуал, обряд, культ, жанр в нашей жизни и модус вивенди. Это — существование и мироощущение людей как божеств.

Что же игра по своей материи, сюжету, что там происходит?

Во-первых, **происходит**. Космос не статичен, но динамичен. Однако движение это хоть и интенсивнейшее, но такое, что в итоге ничего в космосе не убавляет и не прибавляет, а весь его в равенстве себе оставляет: хоть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то повеселее, кто-то попечальнее уходит, —

но баланс-то один и тот же, и все довольны: лишь бы игра была хорошая, веселая, а результат — условен, неважен, предлог лишь, чтоб игра развернуться и состояться могла: надо ж кому-то взять на себя ампулу говорить “да”, а кому-то — “нет”. Но ведь различения эти условны, лишь для создания полюсов, разности уровней и потенциалов, так, чтобы в бытии началось движение, течение куда-то, перепад, действие, но ведь через вызываемое им противодействие опять все возвратится на круги своя.

Итак, в игре то чудо: действие (история) в мире происходит — и в то же время ничего в нем не меняется: это таинство совершения — и совершенства, стремления и покоя, распада и гармонии; что все течет, все изменяется — и что ровно ничего не происходит и не случается в бытии...

Так и в битвах эпических героев: они в “Илиаде” идут иль на славу, иль на погибель. Но кто победит: троянец Самоисий или ахеец Аякс, кому перейдет слава? — она все равно **есть**, их подвиги валяются в общий котел славы и красоты бытия, и одно и то же бытие красуется славою через них, эти прекрасные тела и подвиги героев, переливаясь мерцанием, блистая и светясь; они лишь волны (эти герои), выпуклости, на которых чтоб слава играть и переливаться могла.

Какое же действо, конкретнее, совершается в игре? Это всегда *священнодействие*, то есть основное из действий бытия — в разных формах у каждого народа.

И это основное действо: акт жизни-смерти, зачатия, порождения, убивания одного — оживления другого. Это — соитие. В разных вариантах: как прямая любовная эротическая игра (это в танце обычнее), как война, драка на кулачки, битва, пронзание, вонзание стержня, шара, мяча — в полость (копья — в чрево быка, мяча — в ворота). И когда болельщики в страстной истоме вопят: “Шайбу! Шайбу!”, — это катарсис вождения, дошедшего до предела. Недаром, как мне рассказывал С. Бочаров, при демонстрации фильма Антониони “Затмение” во Дворце спорта в Лужниках, когда между героями пошли любовные флюиды, а соитие все задерживалось, по излюбленным антониониевским задержаниям (как в музыке есть форшлаг = торопливый, предваряющий удар, и — задержание = запаздывание звука), — раздался возглас: “Шайбу! Шайбу!” — чем сразу эротический подспуд спортивного боления выразился. И если у болельщиков болезнь, то это болезнь Меджуна, Неистового Орландо — это любовная лихорадка, неистовство,

бурление, кипение, вожделение, “в крови горит огонь желанья” — вот антонов огонь болевщиков.

Итак, в игре — царство Эроса.

Ну да: и по Гесиоду, и Эмпедоклу, сначала в бытии Хаос, потом Эрос, а потом уже Космос, строй, порядок. То есть рассеянное бытие приводится в порядок силами любви и вражды, притяжения иль отталкивания всего между собой: частиц, стихий, элементов и т.д.

Действительно, во всех играх такая последовательность: возбуждение, эрекция, предельное напряжение сил, скачки, гонки, броски, попадание в цель, к финишу и конечное расслабление, облегчение — все это цикл и ритм соития.

Единица игры — раздвоение на партии, число *два*, то есть каждый — половина целого, каждый другому — “свое другое” (термин Гегеля), своя половина, как в супружестве.

И когда дети “сговариваются”, то делятся между двумя “матками” — материнство тоже зона Эроса.

Но что разделение целого бытия на полы: мужское и женское — есть его (бытия) игра, для движения внутри его равенства самому себе, видно по тому, что каждая партия, команда, игрок, боксер — попеременно то мужчина, то женщина: то нападает, то принимает удары, то забивает гол, то его получает, да и ворота меняются: хоровой то брак, не моногамия, без жесткого закрепления функций и специализации.

Итак, универсальный сюжет игры — соединение, священнодействие во Эросе. Это есть и в “горелках”: успеет ли догнать девушку и поцеловать; и в шахматах — загонят ли стоячего короля, **мат** (материнство) мужику навяжут или нет? В шахматах активнее женское начало: ферзь (королева) какие шажищи и броски совершать надарена, а король лишь переступает, семеня. И это с индийским космосом, где женское начало активнее, чем в Европе, например, связано. Недаром и в нынешнем мире женщины премьер-министры где? Индира Ганди в Индии и Сиримаво Бандаранаике — на Цейлоне.

Ну а теперь можно и к толкованиям национальных игр — как национальных мировоззрений — приступить. Какой же вариант основного космического акта соития, в какой предметности, в каких телодвижениях воплощается в данном народе = в данном пространственно-временном континууме?

Раз задумался над этим, глядя на картинку корриды, с нее и начнем.

Итак, бой быков — забой быка, игра космоса Пиренейского полуострова, у Геркулесовых Столпов, у конца материка, земли Старого Света, когда солнце окончательно уходит на запад, на закат в воду, в Аид.

Вот жесткая локальность этой игры: она лишь на крайнем западе Средиземноморского мира и на краю известного до Колумба света — сгустилась. Нет ее ни в Италии, ни в Греции, ни в Африке... Ни в Индии, где корова — священна.

Однако везде проступает священство коровы, быка и их связанность с солнцем и землей (в Египте бык — атрибут и голова одного из солнечных богов). Зевс — солнечный бог, воплотившись в быка, похищает Европу-материк (мать-женщину), т.е. лишь во образе быка Солнце может совокупиться с Землей (рога его — лучи). След этот переключки быка с солнцем и в латинской поговорке остался: *quid licet Jovi*, поп *licet bovi* = что позволено Юпитеру, не позволено быку. В “Бхагавадгите” в третьей главе, именуемой Карма-йогой, мир-жертва назван коровой:

“Вместе с жертвой, создав твари, некогда рек Праджпати: “Ею размножайтесь, да будет она вам желанной камадук (букв. “корова желаний”)¹ .

Миф о Минотавре в лабиринте, т.е. во чрево, лоно земли забравшемся быкоголовом, и его убийстве Тесеем есть тоже вонзание перуна, луча света — в темное царство.

В Дельфах статуя быка — единственно животная.

Итак, то, что убивают быка-солнце в Испании на Пиренеях, на краю известного человеческого мира, — его там пригвозждают, закрепляют, — связано с солнцем, его закатом и есть, возможно, магическое действие с солнцем: от него как бы берут залог, убивая причастное к солнцу существо, чтоб опять возвернулось.

Бой быков — это точка над *i*, конец-начало (а не процесс, промежуток, даль, порог и канун — как в России), это акт, дело, взятие на себя ответственности здесь и теперь. Потому испанец так выпукло горд, надут, ибо как бы за всех, за весь известный средиземноморский мир точку над *i* ставит, солнце пригвозждает, грех на душу и ответственность берет.

Оттого и ауто да фе (“действие огня”), и костры-огни инквизиции, и церковь, и католицизм (вселенство) здесь крепки, ибо —

¹ Махабхарата. Бхагавадгита/Пер. с санскрита акад. Б. Смирнова. 2-е изд. Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 1960. Гл. III, 10.

шутка ли! — край света, дальше — прямо ад, так что — одумайтесь! Где уж одумываться, как не здесь? Это итальянцу Данте на Апеннинах еще шанс есть — успеть еще можно, пока солнце (или сам) до Пиренеев, конца света (точнее, конца материка, т.е. матери-земли, но это равно и концу стихии света, ибо свет — *на* чем-то, на форме, так что верно материк Евразия назван “Старый Свет”) дойдет, так что у него есть выбор: рай, чистилище, ад — три, а здесь уж — или-или, третьего не дано. Оттого диалектика и софистика рефлексии не имеют космических шансов развиваться на почве Испании: здесь принцип определенности, авторитета, авторитарности (самости, ответственности) и догмы, “да”-“нет”, а что сверх — от лукавого — и на костер ауто да фе, действия **огненного**, как бой быков — тоже в своем роде ауто да фе = игра с огнем-солнцем, заклинание солнечного божества. И недаром в испанском искусстве если встречаем зыбкость, мерцание, рефлексию, неопределенную духовность, то это у Эль Греко — букв.: Грека, византийца, эмигрировавшего с Восточных столпов и врат Средиземноморья, с Геллеспонта (пролив Босфор-Дарданеллы), после завоевания Константинополя турками, — аж до самых Столпов Геркулесовых.

И когда на северо-западе Европы недостача почувствовалась в определенных характерах и ритмах, куда поднапитаться пошли? Мериме за Кармен — в Испанию, Бизе — туда же, Мольер, Моцарт, Пушкин (Дон Жуан — Хуан), Глинка (“Арагонская хота”), Чайковский (“Испанское каприччио”), Хэмингуэй (“Фиеста”) и много еще...

Наконец интернациональные бригады в испанской гражданской войне 1936 г. — сплошь составлены были из западноевропейских интеллигентов, возжаждавших определенности “да” и “нет”, вырваться из тенет рефлексии, из зыбкости софистики и множества — к единому, твердому.

И бой быков есть тоже по *passaran!*¹ солнцу: дальше идти некуда (*pes plus ultra*), защита телом, преграда, как Хозе — Карменсите нож вонзает.

И если, по Фрейдю, есть комплекс садистско-анальный (заднепроходный), то он локализован на Пиренеях. Космическая суть этого комплекса — акт сжатия, выдавливания, выжимания, напряженная земельность, тяжелая земля, притяжение, сдав-

¹ “Они не пройдут!” — лозунг республиканцев против франкистов в гражданской войне 1936 г.

ливание, сплющивание через боль (отсюда садизм, пытки инквизиции, орган из кошек испанского короля Филиппа — см. в “Тиле Уленшпигеле” Шарля де Костера).

Это связано — с выходом: недаром анальное отверстие, задний проход, заход-Запад (т.е. западание-вываливание) — как и Солнце на Западе западает, закатывается.

Экскременты — цвета коричневого: соединение земли (черноты) и золота, огня — цвета солнца. И кучи фекалий = кучи золота, их замещают и воплощают; потому некоторые люди каждый раз с восхищенным удивлением, как замороженные, разглядывают эти кучи, из них на толчке выходящие...

Кстати, недаром этот комплекс присущ людям, родившимся под созвездием Тельца (Быка) — апрельско-майским (ибо состав существ, которых девять месяцев в утробе матери-Земли вынашивали, пока наверху сменились лето, осень и зима — а таковы рожденные под Тельцом: значит, зачаты где-то в августе, — конечно, иной, нежели тех, девять месяцев которых протекли, пока наверху были, например, зима, весна и лето; разные сочетания земли, воздуха, воды, огня в них вошли).

И недаром у испанцев и бой быков (созвездие Тельца), и пристрастие к золоту, пышности, великолепию (испанская живопись, Веласкес в сравнении с Ван Дейком, например), а главное — отсюда за золотом = солнцеземлей отправлялись вслед солнцу — на открытие Нового Света: золотая лихорадка конкистадоров в XVI столетии. Завезли и бой быков в латиноамериканские страны (Мексику, Уругвай и др.), где эта игра уже имеет смысл скорее **встречи** солнца, восхода.

Но это уже — занесенность.

Ибо по спонтанности своей, самопроизвольности возникновения бой быков — это проводы солнца.

Странам восхода-Востока — Китай, Индия особенно — недаром противопоказано убиение коровы, запрет на эту пищу: не созрели еще земля и солнце, сутки не прошли еще, время не наступило.

А в Испании — там не только можно, но уже надо, пора.

Эллинские игры — антропоморфны, главный агент — тело человека, оно и игрок, и предмет игры: гимнастика, борьба, атлетика. Здесь, правда, появляются предметы — диск, копье, но эти предметы для проявления силы тела и всей его ловкости и складности. Оттого и обнажены, тогда как у других народов в играх — разные одежды, хотя вообще, по идее игры, человек в ней предстает в натуре, естественным, без покровов,

открыт как на духу, на телесной исповеди бытию, чем игра и является — донос бытию о том, каким стало человечество за историю и цивилизацию: сохранило ли ген свой? И Цивилизация завет свой с Космосом подтверждает каждый раз в Игре. Что игры, как завет с Космосом, важнее каких бы то ни было интритлюдских группировок (национальных, классовых) и отношений, эллины удостоверяли тем, что в разгар междоусобной Пелопоннесской войны, где люто колошматили друг друга афиняне и спартанцы, неукоснительно соблюдались и справлялись Олимпийские, Истмийские, Пифийские и прочие игры, где полисы — противники на поле боя — встречались как дружественные состязатели в играх. Мы-то представить себе не можем, чтоб в разгар, например, Великой Отечественной войны с фашистской Германией проходил бы футбольный матч национальных сборных СССР и Германии. А вон ведь — по той идее мироздания, что эллинам была внятнее и домашнее, — так бы должно было быть. Хотя и в современном человечестве это игровое бытие осуществляется: в дипломатии, в дипломатической неприкосновенности и иммунитете. Послы-легаты — выведенные из уровня социально-национальных законов и нужные бытию существа; их сохранность нужна Космосу, чтоб поддерживать на земле игру истории в разнообразии и распределении партий, позиций и сторон между веками, странами и народами.

Итак, если у эллинов тело человека — игрок и инструмент игры одновременно, мир как бы к фигуре человека сведен и из нее выводится (пифагорейское тождество макро- и микрокосмоса), то в странах Средней Европы, средней полосы распространились **игры с шаром**, мячом: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей (шайба пришла тоже как плоская Земля = диск, по древним представлениям), кегли, лапта, гольф, теннис, крокет.

Здесь важен перенос центра тяжести с *тела* — на *инструмент*, предмет: за ним следят, а тело игрока уже не так важно, важен результат, выгода, цель — гол, а каким способом: красиво выиграно или силовым приемом — не так уж важно.

(В средиземноморской еще, испанской корриде цель — не просто вонзить копьё, шпагу в быка, но осуществив весь ритуал телодвижений, все приемы, весь церемониал красиво, — это очень ценится у тореро и матадоров: длительность игры со смертью, на грани ужаса и стога подольше продержаться — и в этом комплекс садистско-анальный испанцев сказывается.)

Человек, его совершенство здесь, в Северной Европе, уже не есть цель бытия народов, космосов, но сам человек *для чего-то* употребляется: для богатства, для идеи, науки, для духа, культуры, для родины. Глаз от человека отведен: на вещь или в даль, но идет *опредмечивание*, отчуждение человеческой сущности. И это — воля национальных космосов этой полосы. Человек голый и ровный всегда здесь невозможен — хотя бы потому, что не ровная температура Эллады, а перепады морозов и жары, зим и лета; человек здесь не постоянно равен себе, а лишь в итоге и сути, которая каждый раз по-разному проявляется. Здесь уже проблема *сущности и явления*, ноумена и феномена, как быть одним и тем же — и разным.

Человек здесь важен как деятель, но не как дело; дело же — что-то другое, нежели человек и его жизнь; вещь, мысль — плод рук и ума. Здесь недаром является принцип: цель оправдывает средства — принцип материковый, стихии земли (недаром в жестком суровом Риме родился и итальянцем Маккиавелли развит), а не воды, при которой цель — как плоть — смешна, производна: берег, остров, ладья, человек, а пребывает “средство” — море, волна.

Поэтому здесь мир делить начинают на субъект и объект — как основное деление (для эллинской философии это деление бытия хотя и было, но как частное и периферийное). Здесь даже субстанция — субъект стала (у Гегеля — Абсолютная Идея), т.е. деятельность, труд, творчество, креационизм.

Ну да, в играх с мячом игрок — лишь деятель, сочленение, шатунно-кривошипный механизм, хорошая машина, важен его рычаг для удара: нога — футбол, рука — волейбол, и в разных играх человек становится механизмом для произведения иного движения: баскетбол — бросок двумя руками — вполне “машинно-рычаговое” движение; и по разделению труда и игры — особые, особые и телодвижения. Когда же всю универсальность механизма человеческого тела хотят на параде просмотреть, то недаром такие спортивные жанры называют по-эллински: олимпиады, спартакиады (а не “первенства”, где фюрерство, вождизм, цель и результат в каждом виде разделенного, как труд, спорта важны).

В этом смысле разница бокс — кулачки, машина — дубина хорошо уясняется. Ну да, **бокс** (англ. box — буквально “коробка”) — одиночка, помещение, и здесь двое, один на один выбросы рук и ног — своих шарниров — демонстрируют. В отличие от античной борьбы, где вплотную и обнявшись в со-

гии, тела атлетов друг друга перекручивают, всю красоту мышц, их пружинность, скульптурность и пластику поз являя, — здесь, в боксе, соприкосновения вплотную, тела к телу нет, а выбросы конечностей, удлинение тела сверх его естественной меры, — чтоб малое само, а смогло бы занять большее пространство, что достижимо через активность, движение, мельтешение (как вращающийся быстро стержень нам кажется плоскостью круга), а во-вторых, через орудие труда, которым здесь рычаг руки является: руки загребущие, руками махание ведь тоже есть распространение человека.

Россия знает **кулачки**, когда на драку сходятся стенка на стенку, т.е. артель на артель, а не индивид на индивида (как в западноевропейской, германской игре “бокс”). Индивид же здесь сам по себе аморфен, а силен, когда “один за всех, все за одного”, коллективизм, хор, мир, община, сход, собор — все русские принципы. Бокс же — это один на один, турнир, поединок, **дуэль**, что распространилась на Западе и так неестественна в России, отчего убийства русских поэтов на дуэлях — это именно вонзание западного принципа в российский, когда эгоистический принцип индивидуально-атомной части и самости “я” повергает во мгновенной вспышке и вспыльчивости российский принцип длительности, долготерпения, “само пройдет”, выражающий знание чего-то высшего, принадлежность человека не себе, а большему чему-то, высшей воле — родины что ли, России, народа, и любви и преданности, с ними человека соединяющих.

Кулачки как артельный принцип игровой борьбы: “Эй ухнем, ребята! Наддай, навались!” — аналогичен и артельному принципу труда, что воплощен в “Дубинушке” и недаром противопоставлен машине, которую изобрел “англичанин-мудрец”.

Кулачки — стенка на стенку — космическая игра открытого пространства, где тучи и ветры собираются и гуляют по широку-чисту полю российскому. Бокс же — от, повторяю, box (=коробка) — игра помещения, дома, мира, где жизнь ушла в здание.

Игры с мячом — гонять шары = гонять светила, что здесь, на Севере среднем, тоже нуждаются в погонянии, в усилении, в помощи со стороны людей, в подстегивании, в насилии и нажиме — тогда как в средиземноморских субтропиках солнце, в общем, ходит само собой, ровность тепла обеспечивая; севернее же все больший удельный вес обретают календарные празднества, разделенные по временам года: встреча

зимы (елки), проводы (масленица), встреча весны, проводы лета и т.д.

Недаром в эллинском *летосчислении* не важна такая единица, как год, — она аморфна и пропадает (на севере она подчеркнута: попробуй ее не заметь, когда нос защекает стужею!), а здесь счет вели по олимпиадам (т.е. по четверолетиям).

Календарь — идея материковая, когда ритм Земли прямо по светилам надо сверять, землю со светом, и недаром он развивался, с одной стороны, в земельно-ирригационных космосах Египта и Вавилонии, а с другой — в горно-земельном, суровом Риме и Италии (календари юлианский, григорианский).

Шахматы — игра, **индийский космос** в себя вобравшая. Это мировоззрение бесчисленного множества сочетаний, множества рождений, что проходит одна душа. Индийские упанишады, философии, толкования — это перебор разных сочетаний: стихий, способностей, которыми может быть достигнуто соединение с Брахманом, и озарение, и прекращение кармы. Причем пешка-шудра, пройдя до конца свой путь, исполнив дхарму, может появиться в новом рождении как кшатрийка-королева, на новом уровне способностей и с новой дхармой. И как множество величайших богов: Брама, Индра, Шива, Вишну, асуры, боги, ракшасы, разные миры и сочетания здесь, так и в игре бесчисленное множество комбинаций и главенств.

Это пристрастие к чуду перерождения на новом уровне выражено в легенде о том, как принц за изобретение шахмат предложил мудрецу награду, какую пожелает, и тот попросил дать ему столько зерна, сколько соберется, если на каждую последующую из 64 клеток шахматной доски положить вдвое больше, чем на предыдущую. В итоге вышло 2^{63} (два зерна в шестьдесят третьей степени), что может быть равно количеству зерна на всей Земле. Это чудо геометрической прогрессии (прогрессия — тоже поступательность, шаги перевоплощений на новом уровне) — то же, что накопление, с одной стороны, заслуги, а с другой — кармы.

И читая описания сражений между пандавами и кауравами в “Махабхарате”, — например, вот этот бой: **“Стрелю с широким и острым концом** Дурйодхана поразил насмерть **возничего** Юдшихтхиры, Юдшихтхир^а же убил одного за другим **четыре коней**, запряженных в колесницу Дурйодхана. Перейдя на другую **колесницу**, сын Дхитараштры продолжал сражаться, и **стрелы его** (уже множество, как пешек, а не как одна стрела с широким и острым концом, что, наверное, как “офи-

цер” по силе на шахматной доске. — Г.Г.) вонзались в грудь и в плечи Юдшихтхиры, и **кровь** забурлила из многочисленных ран на теле витязя, как **горные водопады**. Но не склонился старший из Пандавов под жесткими ударами, стойкий в бою, и, собрав все силы, послал на врага **стрелу с острым и твердым как алмаз, наконечником**. Та стрела тяжело поразила Дурйодхану и, пройдя **сквозь его тело**, глубоко вонзилась в **землю**. Тогда Дурйодхана, полный ярости, поднял свою **огромную палицу** и хотел метнуть ее в Юдшихтхиру, дабы покончить одним ударом с враждой и войной (как шах! как вилка! — Г.Г.), но раньше чем он успел это сделать, **дротик** Юдшихтхиры пронзил его грудь¹ и т.д., — я узнал во всех этих комбинациях орудий, ударов равноценные сочетания, как в шахматах. Слон имеет столько же силы, как три пешки, ладья — как два коня, ферзь — как ладья и два слона (= ладья и два коня = ладья и слон и конь = слон + 8 пешек и т.д.). Так и здесь: один герой поражает **возничего** другого героя, а тот берет у него **четыре коней**, что равноценно; кровь одного бурлит, как горные водопады, а у другого страдание выражено переводом на другое, но равноценное сочетание стихий: **сквозь тело — в землю**. Перебирать дальше не буду — см. выделения в цитате.

И таким образом — по шахматному принципу — и можно было нанизать в эпос “Махабхараты” описания тысячи боев на сотни стихов, ни разу не повторяясь, а разнообразя сочетания, так что не наскучивая.

Философия футбола

13.VII.98. Вчера был захватывающий футбол: Франция — Бразилия на чемпионате мира в Париже. И — неожиданность: Франция всухую “сделала” фаворитов: 3—0. Полагали заранее многие, большинство, что четырехкратные чемпионы мира победят. И вот — так... Я болел за французов — и так рад: Европа! Старая культура! Как ни хоронили: там “закат” и проч., а вот ведь — жив курилка! И посрамили Америку — пусть и Латинскую.

И что значит — рост, нордическая раса! Бразильцы — как тигрята, желтые, по-кошачьи гибкие, с мячом вьются. Но

¹ Махабхарата. Литературное изложение Э.Н. Тсмкипа и В.Г. Эрмана. М.: Изд-во вост. л-ры, 1963. С. 119.

эти — белые, высокие, и два мяча забиты — головой. Бразильцы на голову ниже и не могли перехватить угловую подачу. Так же и у ворот Франции защитники перенимали угловые — и отбивали.

Но и разложенность была какая-то в команде Бразилии, а во втором тайме уже лихорадочность, истерика — волю к победе потеряли. А к французам — прилив энтузиазма: и свое поле, и президент тут, и завтра 14 июля — День взятия Бастилии, национальный праздник...

Но как объединяет всех, весь мир футбол! Подъем и восторг — и понятно, почему в Элладе прекращались войны во время Олимпийских и прочих игр.

И восценил я футбол. Игра — по преимуществу! Еще и отчего? **Запрет на РУКИ**: они же — орган Труда, “-ургии”, заботы, работы, корысти — “загребущие”! И лишь ноги, голова, грудь могут брать мяч, но руки — убраны. Такие правила игры — парадоксальные. Казалось бы, так естественно именно эти хваталища употреблять! А тут такой “глупый” запрет, не логичный. Как в Вере: *Credo, quia absurdum est* (лат.) = “верю, потому что это абсурдно”.

Еще и органы Войны и Борьбы — руки. И вот — убраны, обрезаны. И лишь одному вратарю разрешены.

Потому все прочие виды спорта, где руки употребляют: баскетбол, волейбол, бейсбол, — как Игра рангом ниже, на порядок. Ибо в них органы труда, заботы — в ходу и о прозе Работы напоминают.

И характерно, что в США, стране работяг-трудоголиков, и футбол особый — американский, где задача — хватать руками мяч и бежать с ним вперед. А в Европе — “рукам воли не давай!” — воистину артистизм.

И потом — без крови, в отличие от гладиаторских боев или корриды, где забивают быка. И не бокс, с его мордобитием. Кстати, в Америке он излюблен (см. “Мексиканец”, рассказ Джека Лондона).

Да, метафизическая игра-спорт — футбол, и именно по “абсурдности” запрета на применение рук. Но благодаря этому в иное измерение бытия выходим все: где люди, народы не работают, не воюют и тем не менее мощно живут — иномерно! Бескорыстно. Без Пользы, при том что жизнедеятельность в сей игре — сверхмерна, так что даже до Болезни (“болельщики”).

И — **в открытую** все, на виду! Нет ничего тайного: все — явно. Нет отчуждения и секрета — в отличие от функциони-

рования Власти в механизме Социума, где все сокрыто, за спинами людей. А тут — **очевидно** все! АЛЕТХЕЙЯ = Истина, по-гречески, что означает буквально “несокрытость”.

Да, Футбол=Истина воочию, собственной персоной. Истина Бытия разыгрывается и себя являет.

И нет тут кантовой пары: Сущность и Явление. Истина тут не прячется, а явлена. Что есть — то есть. Не спрячешься. Все на виду и на слуху. Нет тебе игр в прятки между “ноуменами” и “феноменами”, как для своих игрищ выдумали свои запреты и правила философы. Тоже ведь свои игрища. И сколько тут “нельзя”, запретов — в философии, в науке, в искусстве!

Да и вся цивилизация — на запретах. И мораль “не убий!” и проч.

И в футболе “не употребляй рук!” = “не убий!” Ибо руками тут вершится именно убийство игры, игрового стиля отношений меж людьми, к бытию. И когда игрок в истерике или досаде хватается мяч рукой — он разрушил игру, недостойн, не человек тут.

Ну и — идеальный социум тут, в команде на поле. Где в полной мере индивидуальность, ее талант стимулируется и влит в интерес коллектива. Гармонические отношения между Личностью и Обществом во время игры. Ну и — Соборность! Живая церковь — команда на поле. А матч = литургия = “народное действие”, буквально, по-гречески. Богослужение Игре — как Свободе.

Коммунизм! Где “свободное развитие каждого есть вклад в свободное развитие всех” (ну там — “условие” — тоже годится).

И тут жрецы, священнослужители — игроки. И “паства” — “приход” — на стадион. “Болельщики” — так у нас. Но еще они именуются “фанаты” = одержимые, страстные, энтузиасты — религиозное это чувство. В Болгарии “болельщиков” называют “запалянковци”: кто пылают пламенем. Тоже факел-очаг-огонь-алтарь.

И не случайны оттенки национальные. Русские — “болеют” = сострадают, жалеют = любят. (В словаре русской женщины “жалеет” = “любит” — тождество.)

Глянул в Оксфордский словарь: английское “фэн” — сокращенное от “фанатик”, т.е. вне себя, вне рации: в страсти “бхакт”, преданный Любви, рыцарь. Верный — как в Вере.

А стадион-амфитеатр — это же как система зеркал, чтобы фокусировать совокупный луч из глаз народа — на поле, на

игрока, на мяч — и волей своей водить, как по радио управлять — влиять, электризовать, наводить. Индукция коллективной Воли.

А эти, игроки, — они ж как рыцари на турнире. Выкладываются до предела. И открыты чувства: ликуют, плачут — как вон вчера вратарь французов в конце закрыл глаза и плакал — от радости победы, где он сыграл свою роль образцово. И — слезы на глазах проигравших тигрят — желтых бразильцев-котят. Их там растерзают — на родине.

И — бег! Животные благородные, как кони-олени. Не хищники. Как “гуингмы”, благородные лошади у Свифта. Ум — в ногах. Умные туловища-торсы — без рук. Как если бы античные статуи (что в большинстве дошли до нас без рук) выпали на поле и задвигались-заиграли.

Да, гениальность *запрета!* **Не все позволено — значит, Бог есть!** (Так перевернем достоевское уравнение: “Если Бога нет — то все позволено”). Вот и тут: запрет рукам — и сразу высвобождена на бесконечность другая способность человека — гений ног. Так же взывают к творчеству запреты в искусстве (в музыке — запрет на параллельные квинты и пр.), роль ФОРМЫ — как ограничения, обрезания свободы... Как ритм и рифма в стихах — и вот вертись в этих пределах — гениально-беспредельно-свободно, как Пушкин!

И это — по СМЕРТНОСТИ человека установление: раз ты ограничен сроком жить, а разуметь — по частям (не все сразу понимать), то тебе шанс дан: в частичности своей — бесконечность Бытия ощутить, реализовать, искру Божию таланта = дара Божия в себе развить и так собою Целое явить, его закон-гармонию-красоту.

Но снова — к магии Футбола. Играют со Сферосом — совершенной формой, в которой Космос представляли античные философы. Земной шар наш перекидывают — как боги в пространстве небес Вселенной. Но нет, не в беспределе Апейрона, не в Хаосе, но в Космосе: ограниченная Вселенная — как футбольное поле, а в нем — законы Природы действуют, как правила-заповеди этики, Бога.

И вот мы на стадионе, всего лишь люди, — но как боги, инопланетяне, на время матча: так вольно обращаемся с нашим шариком Землей! Космическая игра — футбол: выносит и нас, созерцающих ее, в космос свободы от себя, от зависимости от веса-тяги Земли и от не-обход-имости ее. А тут не только обходимость, но и о-бег-аемость Бытия.

6.II.1968. Сама эта идея земле-делие — грандиозное метафизическое сцепление. Земля — это мать, та, которой свойственно *родить*, порождать, давать прибыток бытию через Эрос и **естественное** рождение, через самую жизнь. Труд — это искусство, прибавление к бытию через творение. А творение в отношении Природы и ее способа — рождения, выступает не как жизнь, а как смерть: срубается дерево, чтоб построить дом. В отношении же к Бытию (а не к природе) созданное трудом выступает уже как воскресение: то, что носилось в рассеянном бытии в потенциях, прототипах, прообразах, идеях, сначала воплотилось на жизнь в природе, потом подверглось убиению трудом и цивилизацией — и на этом уровне стало сырьем, полуфабрикатом, пассивной глиной, которой ум через человека и его деяния форму придает, по замыслу и идее.

Итак, дело — антоним родам. Земле же присущи роды. Так что соединение “земли” и “дела” есть насильственное супружество, кесарево сечение — железом плуговым.

Но поскольку Земля — не самоцель, а лишь частица в Бытии, то насилие над нею через людей и цивилизацию, изменение ее естественной непо потревоженной жизни вполне может быть допустимо и даже оправдано и необходимо: в высших видах Бытия и с точки зрения последнего может быть важнее, чтоб прокормился и уцелел паучок-человечек, нежели б остались в Англии, например, леса и луга, эти естественные покровы Земли, — пусть ее шкура будет содрана. Однако и интерес Земли может быть Бытию равномерно дорог, смотря где, и оттого разное отношение к земледелию в разных народах и различны законы об этом.

Например, в Индии земледелие — дело грешное: брамин никогда им не должен заниматься, а разве что вайшья и шудра. Ибо это есть вспарыванье чрева Земли, вторжение с людским эгоизмом в естественный правопорядок природы. И одно дело — распахать степь, равнину, долину где-нибудь в умеренном климате, где трава лишь по пояс, не выше, и человек один — высшая мера вещей и существ и может иметь свое суждение, свой интерес, а свою ценность осознать как более ценную для Бытия, чем существование кузнечиков, травок и цветов, которых он лишит жизни, вспахав и засеяв поле. Но когда кругом джунгли, лианы, заросли, где цари — слоны, тигры, обезьяны, змеи — такое кишение существ, каждое из которых и сильнее и снабжено отстоять себя от человека — зна-

чит, это недаром, значит, природа заинтересована в их бытии и своими стихиями и законами (богами, асурами, ракшасами индуизма) их крепит против человека. Ведь здесь, чтоб возделывать землю, надо джунгли сжечь, животных уничтожить. А ведь эти же джунгли и человека кормят: одежда, жилье, пища как плоды — все самой природой здесь в изобилии человеку доставляется, ну — сколько положено, не больше; оттого, если плодится население больше меры, — его вина, ему и расплачиваться. Человек здесь не имеет права задрать голову и почувствовать и заявить, что он выше всего, что он — “мера вещей”, что он — “цель природы” и что “все — для человека, все на благо человека”. Гуманизм здесь неестествен, ибо к человеку столько же сострадания, сколько и к слону, и к корове, и к обезьяне — к ним, священным животным, даже больше. И человек знает свой шесток в разумном правопорядке природы и будет умирать с голоду, но корову не зарежет.

И недаром — при малом земледелии, труде и искусстве — здесь, в Индии, дарами природы существует гораздо больше людей, нежели в Европе, где человеку все дозволено и где он прокармливать себя в поте лица своего должен.

И усилия Логоса в индийском Космосе направлены не на преобразование природы во имя человека, а на уяснение человеком своей дхармы, своего пути в неизменном бытии — как частной улочки в его городе: чтоб город существовал и подтверждался. Не мир — пассивная глина и материал для духа человека, но сам человек, его существование есть материя, в которой облекается Брахман (как вселенский дух), и жизнью своей человек должен над собой (а не над природой) работать, себя, а не землю возделывать. Оттого — Веды, обряды, йога, буддизм — столько инструментов для обработки человеком самого себя, своей души и дыхания, чтоб львиная доля энергии и времени его существования на это уходила, и так мало здесь было орудий труда и индустриальной прыткости, которые суть экстравертность, направленность человека во вне себя как в “не я”, империализм, видение в глазу природы сучка-задоринки и невидение в себе, в своем существе — бревна, так что усилие идет на усовершенствование природы, материи и богатства, а не на самоусовершенствование и культивирование божества в своем бытии.

В журнале “За рубежом” за 1968 г. № 6, на с. 13 в статье “В Южно-Африканском Союзе” помещены два снимка, которые дают воочию узреть, что такое туземцы и чужеземцы в кос-

мосе тропиков. На одном — лица белых фермеров на аукционе. На другом — жители одного из бантустанов у знахаря.

Существа, необходимые местному космосу, — мягки, не напряжены, непритязательны (как одеты! — почти раздеты), смотрят друг на друга, внутри своего круга, между собой умиротворенно замкнут их взгляд.

А вот волкодавы, хищники, нацеленные, подстерегающие взглядом из засады шляп (те же — гололобые, себя предоставляющие), все направленные экстравертно на цель, вне себя; они — на пределе активности: схватить, урвать, преобразовать, усовершенствовать (что значит для них привести в соответствие со своей человеческой мерой); собранные (как руки — в позе наполеоновского империализма! — а у тех руки висят или полусогнуты) и не способные совершенно на себя оборотиться и увидеть свое уродство: у одного рот хищно-рыбий, книзу углы — притяжение земли и воды, низа мира; у другого торчат колющие пики усов; тогда как у тех рот в полуулыбке, углы кверху, к небу, как у месяца. Носы = кили, плуги, взрывающие пространства, для устремления и пробивания клювы. А у тех — округлость, приплюснутость, самозакругленность, на себя обороченность, самодостаточность — очертания, как у округлого плода с тропического дерева. У этих же черты — угловаты, резки, квадратны, как у форм машин и механизмов: плоскости, углы, рычаги рук, резцы носов. И проступает специализация, односторонность, обрезанность человека: сняты в полтела, ибо только мозг и руки в них важны; те же всею фигурой прекрасны, как серны, антилопы гибкие. А эти — крабы, танки панцирные. Недаром у Лоуренса в книге “Любовник леди Чэттерлей” люди породы индустриальных дельцов сравниваются с раками, крабами, омарами¹; то же и у Драй-

¹ Из человека в английском космосе угля и тумана выводится новая порода людей (вообще идея выведения новых пород существ создадим искусственных условий — англосаксонская, ср. Свифт: “лилипуты”, “йэху”, “гуингмы”; Дарвин — теории естественного и искусственного отбора; Уэллс — “морлоки” и “элои”, люди будущего). Сэр Клиффорд “становился почти целиком существом с твердой деятельной скорлупой (efficient shell) снаружи (of an exterior — букв.: со стороны внешнего мира) и с мягкой внутренностью (pulpy interior: внутренность — как чувствительная пульпа, осязание) — одним из удивительных крабов и омаров (crabs and lobsters) современного индустриального и финансового мира беспозвоночных (invertebrates) ракообразного типа с оболочками из стали, подобно машинам, и внутренними телами из мягкой пульпы” — *Lawrence D.H. Lady Chatterley's lover. Privately printed, 1930. P. 129.*

зера в “Финансисте” — спрут, словом, земноводные, что соответствует и моему образу выше: “рот хищно-рыбий”. Фермеры сидят, как крабы с клешнями сведенных рук, под панцирями шляп и пиджаков и с глазастыми панцирными выпуклостями очков.

Здесь эти люди — в инокосмосье — уродливы. Они же у себя в Англии или Германии — прекрасны, ибо соответствуют космосу, где активность и предприимчивость изыскиются от человека самим бытием.

В умеренном поясе у оседлого населения земледелие — основа нравственного здоровья народа (ср. у Маркса об этом — и Лев Толстой). Отчего? Да оттого, что здесь человеку нужно воздвигать зону жизни на земле — до своего уровня и выше: через насаждение злаков, конопли, садов, строительство домов, городов, небоскребов, чтоб выровнять слой жизни с горами тропиков и севера, с эвкалиптами, секвойями (посредством небоскребов), со слонами и китами (посредством танков и подводных лодок), с птицами (посредством самолетов).

Труд здесь красит человека, тогда как в Индии — лишь частично, а то и уродует. Тут надо вдуматься в изобильно наличное — в этом подвиг, от человека ожидающийся: не мешать собою, своим тупым движением, а вслушаться, — тогда как в средней полосе человек призван к дерзанию, выйти за пределы себя “на труд, на подвиг и на смерть”: на Арктику походом, на мерзлоту, на великие стройки, ударные стройки и т.д.

То есть в средней полосе и к северу Земли человек призван к восполнению недостатка жизни — как теплокровное животное, посланец юга, солнце в себе (в сердце) несущее, чтоб льды растапливало. На юге от человека изыскивается самоохлаждение — с помощью омовения (вода), дыхания (йога, прана), созерцания света (буддхи). На севере же человеку пристало разогревание с помощью энергетики: угля, нефти=извлечения земного огня, света-электричества; с помощью горячительных напитков и страстей — распалялись интересы, цели и эгоизмы, чтоб подвигать человека на дело во вне себя, чтоб выходил он из себя (отсюда апология “погони за счастьем”: Гельвеций, Стендаль — и за “успехом”: Америка), зацеплять его, изнутри наизнанку чтоб выворачивался, распластывался, распоясывался. А на юге нужно умерение, сдержанность, отрешение, йога самообуздания, жертвы Брахмо, Пуруши или Христа за людей. Обеспечив себя этим образом заранее “искупленного греха”, порешило человечество двинуться на север и стро-

ить цивилизацию в средней полосе мира (в Европе, Америке), где предаваться оргиям целеустремленной эгоистической активности: промышленности, практике, войнам, грызне — сплошной экстравертности, преобразованию среды и **условий** для улучшения человеческой натуры. И христианство, и всякого рода морализм был нахлобучен сдерживающей смирительной рубашкой — как церковь и храм; и заведен ритм недели (= недеяния), чтоб чтили субботу и воскресенье, т.е. хоть как-то бы ограничивали прожорливую деятельность праздниками — святою праздностью и предавались бы созерцанию, теории, а не практике — трудам (как и Бог сам на день седьмой творения — вот вам пример).

Вот почему христианское миссионерство у первобытных народов в тропиках — в Африке, даже в Индии — излишне: не туда суется, там оно не нужно, ибо не их учить удержанию от излишне распоясавшейся активности “я”.

Цивилизация — практика, тогда как теория (от греч. “теорео” — созерцаю, умозрю) расцветает в промежутке между избытком природы и избытком цивилизации: в субтропиках Индии, в Греции, в Европе в сравнении с Америкой и т.д.

Земледелие — согбение, поклон, поза молитвы, преклонение вертикали человеческой гордыни: задранный нос опущен книзу и замкнута фигура в полукруг, в колесо: не грудь колесом, а спина — горбом. Грудь колесом нужна для рассекания воздуха, как у жеребца, и зоб у птиц — для продвижения вперед и выше (так и самолету, чтоб воздушные потоки его подняли над землей, надо приспустить крыло — задрать грудь для обтекания).

При земледелии взгляд уставлен вниз, на борозду, в землю, в прах, откуда я и куда возвращуся. Это — школа смирения, т.е. бытия с миром в душе.

В то же время это почерпание (через взгляд) силы от Земли (как Антей): торфа, угля поддать горючему взгляду, что землю светом ума, плана и замысла своего пронзает в совокуплении, чем и является возделыванье земли, ее вспашка, сеяние и жатва, а именно: соитием цивилизации (искусства) с природой (естеством), здесь они смыкаются — в сельском хозяйстве, в агро-культуре. *Сельское хозяйство!* На землю осел, *сел* — и съел (въялся, зарылся лицом, пастью, горстями, руками-плугами заблужденными — замкнулся — хозяин!).

А в Индии, если *сел* — так в позу лотоса (основная поза — асана созерцания) садись устойчиво: плоскость зада и скре-

ценных бедер к плоскости земли, что значит оттолкновение на невоздушной подушке (земледелец же мало того, что стоит цепкими ногами с когтями пальцев, но еще и острием сохи-плуга вонзается), отказ от земли, а может, напротив, срастание с нею, слепление, склеивание, как двух пластинок, перенятие ее силы, оттягиванье ее на себя — через наибольшую плоскость соприкосновения, чтобы в меня сила земли перелилась, и тогда я уподобляюсь ее растению, собой ее продолжаю, силу жизненную постигаю, ибо ее имитирую — прорастание — и сам раскрываюсь навстречу пространству и верху — как цветок.

В земледелии ж человек от верха мира и пространства отвернут, изогнут колесом — в пружину себя собрал, чтоб силу, из земли в меня через рост мой по ногам некогда перетекшую, передом — руками в нее же вонзить. Здесь площадь соприкосновения уменьшается, ибо от меня, малого, надо на Землю, большую, обратно воздействовать, так что колющим, враждебным острием ногтя, руки, сохи, плуга, лопаты, мотыги, а не мирной, доверчивой плоскостью зада и бедер к земле обращен человек. То есть земледелие — четвереньки; ну да, человек здесь вновь четвероногое: на двух ногах стоит, а руками к земле, их продолжив сохой, плугом, опять возвращается, припадает.

Так что земледелец не так уж мирен: он непрерывный Земли насильник и изувер. Горожанин уж забирает выше — воздух травит; промышленник — глубже: недра шахтами бурит. Однако земледелец, как существо переднего края меж цивилизацией и природой, эта крайняя плоть человечества, Бытию посвящена и им освящена, ибо прямо желание Земли чувствует, на него настроен и волю Бытия исполняет. Так что где не надо самой Земле дополнять Эрос неба, дождя и растительных корней осязанием, ощупываньем, чесоткой земледелия, там оно и не пойдет, как оно с трудом идет в лесных, сероземных почвах или на севере, где космос мерзлотой в поры Земли вонзился; и зато как успешно в долине Нила, где поверхность Земли совершенно гола и ничем ее космос не щекочет, не балует, — тут и насели муравьи-людишки и давай здесь ирригацию, пирамиды, плотины возводить. В Сахаре-пустыне земля удовлетворена прямым вонзанием жгучих лучей солнца, и более, значит, ей ничего не надо. На севере жало Бытия Землю мерзлотой и льдами насквозь прохватило и глубже. Недаром там мужик — Дед Мороз повелевает — **Красный нос** (субститут-заместитель фалла) и глядит:

И нет ли где трещины-щели
И нет ли где голой земли
(Некрасов)

т.е. — хорошо ль ее задраил? — и

Тепло ли тебе, молодлица? (= Земля — Г.Г.)

Ибо при замерзании то же ощущение блаженства, растворения, умиротворения и истаивания, вознесения в бытие, сладкого слияния со всеединым, что и в тропически-индийской нирване: так прибирает Бытие душу раба своего, снеговым саваном прибранную, принаряженную:

В самом чистом, в самом пещном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?
(Блок)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗОДИАК. ЖИВОТНЫЕ — МОДЕЛИ МИРА

25. VII.86. Ведущий. Имеет смысл присовокупить сюда мои размышления над тем, какую символику таят в себе образы различных животных, отчего и почитаются они за священные (тотемы!), ведь в них представляется целый Космос. Толкования эти я проделывал в ходе анализа литературных произведений русского поэта Тютчева, эстонского прозаика Таммсааре и киргизского писателя Чингиза Айтматова.

Лебедь и Орел

(Натурфилософский романс на стихотворение
Ф.И.Тютчева “Лебедь”)

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя вливает солнца свет.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лслест твой всезрящий сон —

И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

Впервые у Тютчева появилось тело, существо животное — но какое! Лебедь — птица света. И она, “лебедь белая”, начало женское: связана с водой — “плывет”. Лебедь — русское космическое священное животное, чья плоть (земля) соткана из света, воздуха и воды.

Однако “да” в логике русской мысли не может быть сказано, не оттолкнувшись через некое “нет”. Для жертвоприношения “нет”-у, для “сведения на нет” здесь взят Орел — птица чужеродного космоса. За что же он отвергается как не свой, не родной? Орел — темен, плотен, земен, есть летучий камень и, хотя прямо в свет солнца взирает, но “очами неподвижными”, зеркальными... Впивает свет, но не светлеет сам. В Орле мир явлен своими твердыми конечностями в стихиях: огнем и землей (“огнем и мечем” — почти). Лебедь же — всеобщая размытость, воплощенная переходность, отсыл каждой стихии от себя в другую: “Нет, не я здесь, — словно говорит земля, — а воздух и свет”. “Нет, не я здесь, — словно говорит воздух, — но вода, свет, земля”. И т.д. Это — “божественная стыдливость” (а “божественная стыдливость страданья” у Тютчева — категория русского мира), и недаром русская красавица = “лебедь белая” очи долу потупя держит, стесняясь своей красоты и светоносности, ее прикрывая.

Но столь птица эта универсальная, что даже двуполая: можно сказать и в мужском, и в женском роде: “лебедь чистый” (у Тютчева), “лебедь белая” — в народной поэзии. Даже пол здесь размыт: не поймешь, мужик или баба.

В отличие от Орла Лебедь не отражает свет темной плотью своей, но сам есть сгусток света, отверждение света в чистом пространстве, сам светоносен. Вот идеальный русский космос! — недаром его поэт создает “из пламя и света рожденное слово” (Лермонтов). Вот идеальная плоть по-русски: кристалл, чистая прозрачность (опять от “зрак”: “прозрачность” есть свойство протяженных тел с точки “зрения” света).

И свет здесь не вещественный (огонь, “молния”, “солнце” — то, что зрит Орел), но чистый: “чистая стихия”, и скорее свет звездный за него представляет, чем солнце.

Орел — односторонен: лишь “за облаками”. Лебедь же — “между двойною бездной”: как двойное бытие рассеченных туманом гор (в стихотворении Тютчева “Утро в горах”), “на пороге как бы двойного бытия” — занимает русскую точку в пространстве. И его естественное законное дело — “всезря-

щий сон”. Это птица — провидица, чей, верно, глас — “пророчески-прощальный”.

Орел — птица божьего гнева: перунов, грома и молнии.

Лебедь — птица милости. И звучность имени “Лебедь” — насквозь родная: мягкие согласные, связанные через “е” = горизонтально-далевое вытягиванье миниатюрного космоса рта при слегка сплюснутом, нахлобученном нёбе.

К.В. Пигарев в примечании к стихотворению сообщает: “Как указывал Ю.Н. Тынянов, “сопоставление (символическое) орла с лебедем было излюбленным в европейской поэзии, причем в этом символическом состязании побеждал орел. У Тютчева победа за лебедем”... Действительно, в стихах В. Гюго, Ламартина, А. Шлегеля, Цедлица орел являлся символом борьбы и мятежности, а лебедь — покоя и созерцательности”¹.

Конь морской

(Натурфилософский романс на стихотворение
Ф.И. Тютчева)

О рьяный конь, о конь морской,
С бледно-зеленой гривой,
То смиренный, ласково-ручной,
То бешено-игривый!
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком божьем поле:
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

Люблю тебя, когда стремглав,
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав
И весь в пару и в мыле,
К брегам направив буйный бег,
С веселым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий брег
И — в брызги разлетишься!..

Перед нами водяное божество, русский кентавр. Из чего составлен? Греческие водяные божества: nereиды, Протей, дельфины, тритоны — выплывают из глубины, более связаны с толщей, с телом воды. Русский же поэт видит на море коня — того, кто еле касается низа, а летит, как птица, воздушен, т.е. Парус! Не-

¹ Тютчев Ф.И. Лирика. М.: Наука, 1965. Т. 1. С. 344.

даром он — сын вихря, ветра: “Ты буйным вихрем вскормлен был В широком божьем поле”. Море освоено — через поле: ширь, степь — как равнина русская¹. И движение на нем — далекое, горизонтальное (эллинистические образы — из глубины приходят и в глубину уходят: вертикален их вектор). Тело в конце — водяное (“с бледно-зеленой гривой”), но душа — ветровая. Воздух и морская вода здесь — варианты основного противоположения: свет (небо) — земля, как родителей всего.

Нрав Коня морского — то-то: однородно-стабильный:

То смиренный стоишь под стрелами врагов,
То мчишься по брашному полю...

(Таков и Илья Муромец: то сиднем сидит 33 года, то богатырем гуляет.) Нет устойчивого положения, самостояния, а разнесен на крайности — на пороговые состояния. И его “я” нет в точке, в данный момент, оно — “пророчески-прощальное”: то ли память о прежнем “то”, то ли ожидание будущего “то”. Это “я” по природе своей — отсылное: не самодовлеющий сгусток, а распыленность.

И эта истина состава его существа сказывается в том, что его смерть есть распыление, рассеяние: “в брызги разлетится”. Бог его вихрем создавал — и теперь вновь из него вихрь выходит (“брызги” = водяная пыль). Природа себе же на игру создает прекрасные существа — и губит их, себя же украшая. Потому такая смерть совсем не смерть и не ужасна, а есть творческий акт, рождение красоты, явление пышного цвета:

Люблю я пышно природы увяданье...

И русский поэт когда любит Коня? Когда он стремглав мчится навстречу гибели. Для того так живо описана плоть и одяние Коня морского — чтобы явить, разодеть его в великолепное убранство для “священной жертвы”; так и Поэт — у Пушкина, призванный к священной жертве, радостно стремится навстречу бездне, где высшая вспышка и чудный расцвет.

¹ Горьковский Буревестник потому так привился, что реализует тот же образный архетип, что у Тютчева и Лермонтова (Парус). Море — “седа равнина” (убеленное по-русски). На нем — Ветер. Буревестник — “между тучами и морем”, как и Лебедь и челн — “между двойною бездной”. Он сам — световая птица черного солнца — “черной молнии подобный”.

А мышление степью о море и у Горького есть: “Буря на море и гроза в степи — я не знаю более грандиозных явлений природы”.

Само создание русским мифотворцем именно Коня морского — многоглаголюще. Медный всадник и водяная стихия мирового потопа — опять сопряжение коня с водой. Всадник же — вихрь. Петр — “божья гроза”, “движенья быстры”...

Куда ты скачешь, гордый конь, = Копыта кинешь в звонкий брег
И где опустишь ты копыта? И — в брызги разлетишься!..

И сюжет “Медного всадника” — это восстание стихии Воды, праматери всего, на затвердевшего = возомнившего быть самостью Коня, казнение чада...

(Август 1966)

Свинья и Овца

А совершая свое интеллектуальное путешествие в Эстонский Космос в декабре 1976 года (по ходу чтения романа А. Таммсааре “Варгамяэ”), я дивовался новой для меня в этом мире иерархии животных. Кабан и свинья тут — основные тотемные животные и материал для сравнений с человеком. “Труднее всего Юссию приходилось с ложками. Никак не удавалось вырезать их похожими на нижнюю челюсть свиньи, как хотелось хозяину. А ложка непременно должна быть вроде свиной челюсти, это Варгамяэ Андрес знает твердо”¹.

Тогда в процессе еды я — как кабан: обретаю его силу и упорство, квадратная челюстная хватка на меня переходит в ходе литургии еды с этой “лжицы” = челюсти свиной.

“Свиньи уже на дороге, на выгоне им нечем поживиться. Брюха у них пусты, свисают, как кузнечные мехи. Завидев хозяйку, они подымают жалобный визг, будто они вовсе не свиньи, а заколдованные дети. И хозяйка разговаривает с ними, как с детьми, ведь у нее еще нет своих” (с.62).

Как розна шкала ценностей! Свинья, это грязно-“трефное” животное в космосе семитски-исламском, презрительное — в среднеевропейском (уравнение: “ты = свинья” звучит оскорбительно в германстве и российстве), для прибалта-северянина положительное существо, с кем безобидно можно сравнивать и человека, и деток любимых...

И в пословицах эстонских: “Свинья сказала: “Коли у меня есть клочок голой земли с мою шкуру, то я прокормлю себя

¹ Таммсааре А. Варгамяэ. Таллин: Ээстираамат, 1975. С.78.

и своих поросят”. Свинья — образец матери и мера поведения, дама, “приятная во всех отношениях”, в космосе народа земледельца. В пословице этой приведены друг к другу свинья и земля = домашнее скотоводство и земледелие: свинья глядится в землю, земля — в шкуру свиньи, как в зеркало.

Антиподна Свинье Овца. Овца для народа земледела и помора — таинственное, как бы чужекосмическое тут животное, в отличие от свиньи, которая свойска и понятна. “Ужаснее всего было (на восприятие детей Варгамяэ — Г.Г.), когда закалывали именно овец, — все происходило так таинственно и тихо. К тому же овца как бы святая тварь, никто никогда не вгонял в нее беса (имеется в виду евангельская притча о том, как бесов вогнали в стадо свиней и они бросились с крутизны в озеро — Лк. VIII, 32—37, — притча, которую Достоевский взял в качестве эпиграфа к роману “Бесы” — Г.Г.), про нее даже пели, глядя в молитвенник (опять же в библейской символике Агнец-ягненок сравнивается с Сыном Божиим. — Г.Г.). Старый хозяин Эммасоо, большой мастер оскоплять животных (он не оскоплял только жеребцов), никогда не прикасался ножом к барану, не обнажив головы, голой как яйцо.

Другое дело — свиньи. Они визжат и когда их оскопляют, и когда их режут или вдевают им в нос кольцо, и от этого визга детям как бы полегче на душе” (с. 274).

И в кухне эстонской меня также поразило смешение того, что не смешиваемо в России иль в Средней Азии: яблочное желе (компот), а в нем остров (как бы Сааремаа) сливок. То есть корова — с садом (= свинья под дубом, “свинья в апельсинах”): “земле-вода” — с “огне-водой”, солнечной, как если бы смешать молоко — с вином!

Или — молоко с мясом: кровяная колбаса (“вяракяэ”, как жется), где в кишке кровь перемешана с мукой, а жарится в молоке. “Во блюдо!” — объяснили мне вчера.

Но мясо с молоком — табуированная на юге смесь. Даже в Библии запрет: “Не вари козленка в молоке его матери...” А тут они сближены, мясо и молоко (как и полы тут: мужское и женское, в языке и быте...)

Мясо = огнеземля. **Молоко** = световода. Мясо = смерть, молоко = жизнь: освобождение существа от его мяса означает ему смерть; опорожнение вымени (а также яиц и яичников) от молока (семени) означает опустошение для *vita nova* (= чтоб начать жизнь сначала), есть “воскресение”. Так что, поедая мясо, мы едим смерть — и одинарно-конечное существование,

идею уникальности в себя вьемлем и ее тоску; пия же молоко, внемлем “жизнь вечную”, вечно новую... Так что такая еда = литургия (а еда есть причащение нашего организма, тела к местному Космосу, Целому); мясо с молоком — равномошно евхаристии южной, где хлеб с вином = “тело и кровь Господня”.

И про **кровь** интересно: русские, когда режут скотину, кровь выпускают, выливают на землю. Кочевник — сосет прямо теплую, из шеи, “из горла”, когда она хлещет. Земледелец-эстонец размешивает ее с мукой, кашей, заталкивает в чулок кишок — на сбережение (как бабы и бабки — деньги), т.е. во Время кровь переводят, впрок, по-земледельчески, зарывают: ибо перемешивание крови с мукой есть как бы посадка крови во прах солнечной земли (= муки-зерна), или наоборот: орошение-поливка, мелиорация (= “улучшение”, “подобрение”) “земли”, а именно муки — “водой”. Да и какой земли и какой водою! Мука ведь есть лишь по форме частиц — “земля-прах”, песок. На самом-то деле она — из зерна, а зерно = солнце на палочке растения-стебля (как “подсолнечник”), притянутое и связанное с землей. **Зерно** = микросолнце, оземленное небо. Так что мука — это солнечный снег; еще и белизна света тут в качества входит, плюс к огненности и земельности. Так что, когда добавляют в эту уже смесь первостихий, что содержится в муке, еще и воду, и закваску (= “водо-землю”, что возбуждает брожение, пропитывает воздухом поры, поднимает тесто), а потом — и в огонь печи, — то действительно в итоге возникает универсальное космическое существо = “божество”, сотканное из всех стихий и качеств. И **Хлеб** — величайшее естественно-искусственное божество, рожденное и сотворенное...

Ну а что за “вода” — **Кровь**? Это — вино из винограда-ника тела, всех его клеток=ягод, гроздей=органов выдавленная, пожертвованная. Тело — сад, запеленутый в мешок-пещеру кожи. Когда режут — сад раскрывают и сокровища его, и что было тайным — делают явным...

Южанину, арабо-исламцу, семиту нельзя пить вино, но можно — кровь. Русский — срединный (как и западноевропеец и германец) — не может пить кровь, не пьет и вино, но водку — белую или брагу-пиво, хлебные, злачные... Северянин уже ест кровь. Там все твердеет: огонь-свет — из сала-жира у эскимосов... Вода там и жидкостная форма всего — отвратна им, ибо есть смерть = разбухание и отсыревание во холоде.

Вон в Сибири: мороз в 40-50 градусов переносим, ибо сух воздух, а тут при 0 -1 промозгло и до костей пробирает: вода — как проводник-лазутчик мороза, волнами-лучами, своими иглами прокалывает насквозь непрерывно-континуальностью своею, — и делает то, чего воз-дух сухой сделать: так вонзить в тебя мороз! — не может, ибо в нем (в воздухе) пустотами разделены атомы мороза, не вытянуты в колонну, как в волне промозглой воды-жижи.

...Араб-кочевник, тюрк, монгол в поясе субтропиков — уже пьет кровь животных. Кровь = вода, жидкость, столь ценная здесь, в космосе суши. И как пьют и умываются мочой верблюда, так и кровь пиема... Сама форма жидкости здесь алкаема, божественна. И, хотя человек-кочевник есть *кентавр* на коне (иль верблюде), сожительствует с животными, тем важнее ему от них и самоотличаться. И потому в арабо-персидской поэзии, наряду со сравнениями человека с конем, газелью, уподобляют его цветку, розе, кипарису, т.е. растению (что здесь редкостно и ценно) или звездам небесным, или камням подземным, драгоценным, т.е. тому, что подальше... Вот и у Айтматова — Тополи, заносные, диковинные, не менее важны в символике, чем Конь и Верблюд...

Верблюд и Рыба. Конь и Пес

29.I.77. Повесть наша¹ — о любви центра Евразии к Великому Тихому океану, антиподу своему, о самоотвержении крепи гор и степей ради глади водной, любя “иную жизнь и берег дальний”... И, как средоточия космосов этих, — божественно-совершенные в своем роде существа: Верблюд (Конь) и Рыба. Вникнем в них как в символы, мифы и модели мира: что в них, ими, какое возможное нам сказание о сути бытия содержится?

Верблюд (Конь) — весь в конечностях. И выполз Жизни из океана на сушу был сопряжен с появлением лап-ветвей у земноводных. Рыба же — существо бес-конечное и в прямом, и в переносно-духовном смыслах: излучает из себя идею непреходящего Первобытия-небытия, мира как Целого, бесполого, — и сама она андрогинна, обтекаема, в форме шара-овала-яйца. И потому мир на рыбах представляется покоящимся, т.е. конечное — на бесконечном, как фундаменте и исходе своем.

¹ “Пегий пс, бегущий красм моря” Чингиза Айтматова.

Когда же Единое Целое раскололось на мужское и женское, тогда конечности все — на стороне мужского (вплоть до надувного-наводного отростка-червяка гениталий), а бесконечность первично-нейтральная — на стороне женского: воды, рыбы. И потому все первопонятия для постижения Единого Целого — женского рода (большей частью): материя, субстанция, идея, истина, красота, причина, судьба, действительность и т.п.

Кит Моби Дик обозначается местоимениями всех родов: он и it, и she, и he (оно, она, он), что выдает его как универсум, космос (недаром “на трех китах” поставлена Земля). Две первоидеи совместно выражаются Рыбой: Целое Единое (шар, овал она по форме), бесполость, андрогинность — и женское: она есть округлость женски-волновая, космическое бедро. И у Айтматова — вдруг ярко-режущий выплеск из мистерии и ее стилистики к дневному свету и людским размерам: “как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами”¹ — о Рыбе-женщине так.

Верблюд же есть целое архитектурное сооружение, машина не простой формы (как рыба), но с ухищрениями-инструментами во все стороны: горб, ноги, змеино ныряющая голова — целая он мастерская и фабрика суши, выпестованная эволюцией жизни в предельной дали от первичной воды Океана.

Он весь — членистоног, не земноводное, а земновоздушное он существо: птице-змея (голова орла и змеи на нем — мудрости и гордости, царственности облик: презирает он все и вся и людей — и плевал на них... надменный).

И Рыба, и Верблюд мудры и молчаливы. Но Рыба — мудрость изначальная, безразличная, а Верблюд — мудрость совершенного бытия, все постигшая, старческая и презирающая мир, как Екклесиаст-Соломон...

И тоже обтекаемой формы фюзеляж верблюда, как и рыбы. Но поставлен на рычаги-шатуны-кривошипные суставов: для отталкивания-движения по суше-земле, как веера плавников — для отмахивания от обтекаемой нежности волн. Ноги-палки = орудия труда, как руки потом.

Так что прежде чем обезьяна взяла палку, чтоб превращаться в человека, и тем добавила кость к двукостью составному руки, — эту идею, вектор совершенствования в эту сторону сама природа-эволюция подсказала, когда у вылезшей на берег-сушь

¹ Айтматов Чингиз. Собрание сочинений в трех томах. Т.2. М.: Молодая гвардия, 1982. С. 135.

рыбы плавники стали в костяшки превращаться конечностей: лап, ног, рук многосоставных.

И тут впервые принцип машины и орудия предложен бытием: составность однородных деталей (костей через втулки суставов) создает новый орган; организм — как механизм строится (хотя эта же идея уже в позвоночнике рыбы затеяна и в членистоногих наземных: одно к одному... И все это — напрямую: идея прямолинейности и необратимости, как Время, тем предложена).

Верблюд = гора (пик) на ножках, на подставке, как рыба = волна: оба — “шишки на ровном месте”. Гора есть каменная волна, окаменевшая буря землетрясения — в складчатость волновую геосинклиналей отверждается.

И губы рыбы, и губы верблюда — мягки, шамкаючи, старчески. Верблюд — аксакал, саксаул сухоустойчивый и водонепотребный. И рыба = баба — бабушка, губами сказку бытия медленно перебирающая нудную.

Верблюд = термос: устройство многослойное для хранения капли влаги жизни в убийственной суши снизу и гари сверху, герметически непроницаемый панцирь, — как рыба есть Наутилус, подводная лодка, герметически хранящая “каплю” воз-духа в воздушном пузыре от всезаливающих вод, и твердь суши и кость земли — от их же всерассасывающей способности.

Против жари неба верблюд ощерен горбом = крышей дома своего самоходного, и там, в котле тулова, воду несет против огня неба-верха и ветра дали-шири-горизонтальности-плоскости. От воли-тяги-пропасти низа, от земли-стихии он на сваях ног восстановлен, как на перпендикулярах, и прокладкой воз-духа обережен: сам себе небо над землей.

Сух, сухопар, сухощав — как совершенный мужчина должен быть: выносливый, волевой, нетребовательный воин-монах-самец (сам!). Рыба же, напротив, вся эластичная, скользка, мягка, нежна — как жена: податлива, упруго-гибка, восприимлюща, чутка, танцующая... Этот же не гибок и не упруг, но жестоковыен, металличны трубы ног его.

Рыба = слух. Верблюд = глаз (остро-орлиный, узкий).

Верблюд членистоног.

Верблюд = труд (“что я тебе, верблюд, так работать?”), а “рыба в воде” = образ легкости бытия, непринужденности, безусильного существования, игривого. Недаром и для умученного -ургией германца Шуберта форель — образ лучистой игры, любви, свободы и счастья безмятежного — даже на волоске лесеы

от гибели... Так что тяга киргиза-верблюда превратиться-воплотиться в нивха-рыбу — это мечта о беструдном существовании, о золотом веке бытия.

Что же это у меня получается? Философические вариации на айтматовские темы?

— А почему бы и нет? Почему балет “Асель”, оперу “Джамия”, фильм “Белый пароход” сочинять можно по канве сюжета повести, выражая средствами других искусств словесно явленное писателем бытие, а философствование бесправно своими средствами опевать-овивать сей стержень сюжета? Ведь таким способом и вскрыть можем, что писатель какой “один” пишет, а какие “два” и сколько там еще “в уме” да в подсознании таиться может, какие неподозреваемые и для самого автора смыслы могут излучаться из его образов.

Так что философические фиоритуры и натурфилософские рулады свой смысл имеют и эстетическую ценность.

В мифе этиологическом о происхождении нивхов (народа Рыбы-женщины) недаром Рыба стала женою самого недотепистого внешне из трех братьев — того, кто хромоног, как Гефест (мастеровой-ремесленник), колченог, как верблюд-трудяга. Так что в соитии их совершается совокупление Верблюда и Рыбы, в результате чего и возникает народ-гибрид: гияк-нивх, в котором киргизский писатель и себе родное, и “свое другое”, дополнительность себе чувствует.

Свое в нем — это медитация-воспоминания-сновидения при покачиванье в седле каяка, в кочевье по волнам. И к ладья-каяку с теми же словами старик Орган обращается, с какими Танабай к коню Гульсары: “Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, — говорил он лодке. — Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, соструганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя” (с. 124).

А не свое — невспыльчивость, завидная рыба студенистость крови, терпение, что в старике и в отце мальчика. Хотя в Мылгуне, в его истерике к шаману ветров мы узнаем приливное биение и Дюйшена, и Танабая: свой брат, киргиз он в нивхах.

Ну и теперь **Рыба и Конь** — эту пару продумаем: что тут нового проявится из сопоставления обоих существ, рассматриваемых как космические, как модели мира?

Конь — не верблюд, не ишак-трудяга (хотя и эта есть в нем ипостась, когда он — лошадь, коняга и кляча — все женского, запомним, рода). Но он — благородный жеребец, иноходец, птица во животных земли, конь-огонь, Пегас поэзии вдохновенный, Ветер, скорость, властелин горизонталей, просторов засушливых, — как большая рыба-кит, Моби Дик = властелин Океана, Перво-матери. Кит — чрево (матка): в себе носит Иону, образуя кентавра верхом во внутрь. Конь же = вывороченная наружу полость-изнанка Кита с Ионой, воссевшим с поверхности. Конь — Кит перелицованный. Конь весь — воплощенная наружу, внешность, царство поверхности и плоскости, где — роскошь дали, движения, скорости. Кит (рыба) — воплощенное нутро, недра, полость, объем, глубина (как и бездна моря-Океана, где они плавают). Рыба есть глубина во глубине, как Конь есть поверхность (спина, где верхом сидят) на поверхности (земли).

Потому Конь — тщеславен, красуется, воин, кесарев плоский уровень истории, славы, героизма эффектно-плоскостного. Конь = эстетика кесарева универсума: кесари — на конях, а терпеливцы — во рыбах (Иона) и молчаливцы. “Полцарства за коня!” — восклицает Ричард III у Шекспира, и недаром они в уравнение вступают: Конь и царство. Конь = животное рад-жаса (так элемент-субстанция-“гуна” страсти именуется во индуизме), кшатрия и раджи. Недаром коня в курган с князем хоронили (ср. и “Песнь о вещем Олеге”), и Ашвамедха (жертвоприношение ритуальное коня) в Индии = символ приношения мира сего в жертву атман-Брахману.

И неслучайно именно американская цивилизация, вся нестерпимо-ургийная, трудово-усильная, набросилась на рыбу в воде, ее преследовать и казнить: “Моби Дик”, “Старик и море”... Тут не просто сюжетец, а мифологическое отмщение, возмездие. Капитан Ахав — это мятежный Иона, восставший из чрева кита во Эросе (Любви-Вражде) к своему поглотителю, в смертную охоту за ним пустившийся. Рыба ведь = антиургия (рыба в воде = безмятежность, беззаботность). А американец — воплощенная забота, тревога, бешеная гонка-спешка трудово-усильная. Оттого-то Рыба-Кит его дразнит, искушает, как бог, сатана или женщина (недаром всеми родами Белый Кит у Мелвилла означен — см. выше), своим безуильно-царственным существованием. Потому Ахав на фоне Белого Кита становится как одержимый, проявляется его сущность бесноватого, а этот себе плывет, как ровное в себе бытие-небытие, равнодушное к тревогам бешено трудящихся людей.

И как антиподны друг другу центр Евразии (где Киргизия, архиматериковая земля) и Северная Америка, меж двух океанов себя ощущающая, и никто, туда попавший, не миновал ладьи Харона через Океан-Лету Атлантики, — так и антиодно отношение к Большой Рыбе в повести киргиза Айтматова и американцев Мелвилла и Хэмингуэя. У тех Эрос — убить эту женщину (и для Старика хэмингуэева рыба и море = “она”: “Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде”¹); любить = погубить, изнасиловать, восторжествовать, покорить, навязать свою волю — и нет в этом воительстве чувства неги, а лишь Эрос воли к власти. В повести же Айтматова — именно отказ от себя, от своей твердости, отдача, уступка, расслабление, покорство, истаивание в неге страсти и готовность к Любви-Смерти самому, быть ее жертвой, быть Рыбой (Океаном) пожранным. И в этом тоже чувствуется кочевник, привыкший даровое получать, а не усиленно производить (как земледелец или мастеровой, горожанин) свою пищу.

Корабль Пекод или лодка Старика — это автомобиль для гонки и убиения Рыбы. Недаром так подробно об оснастке Пекода и о рыболовной снасти Старика рассказано в американских повествованиях, историях — и о ловкости рук-трудяг... В нашей же повести умение как активничанье (мореплавания, охоты) отходит на второй план по сравнению с умением слышать волю другого и, значит, терпеть и отдаться... Территория повести на одну шестую занята мифом о Рыбе-женщине, как ей отдавались людские мужи, и наполовину — рассказом о терпении-недеянии, дао-самоотречении, как совершался уход одного за другим в бездну...

Ну а **рыба по-русски** что нам скажет? Пошуруй в памяти, нет ли мифологемы российской про рыбу и человека?

А как же! А “Сказка о рыбаке и рыбке”! А Садко — былина! А русалки!.. Но в общем не тянет на сравнение с мифами о рыбах мореприбрежных народов. Русский космос — континент-материк: Матери-сырой земли протяжение по преимуществу. И тут скорее реки = рыбы русских равнин, во океане земли: они и глотают (Волга — княжну) жратву — утопленников, как кит — Иону.

¹ *Хэмингуэй Эрнест*. Рассказы. Прощай, оружие! Пятая колонна. Старик и морс. М.: ГИХЛ, 1972. С. 609.

Рыбка же в сказке Пушкина не по линии Воли к Власти (Америка, германство) и не по линии чувственной неги Эроса-Любви супружеской, но тут отношение сострадания и услуги ближнему, братства: Старик отпустил Рыбку, сжалился над малой; Рыбка сжалась над Стариком гонимым-мучимым. И тоже тут женское соперничество вокруг Старичка: ревность Старухи к Рыбке, хочет, сухопутная и сухопарая! — занять место Владычицы Морской, вытеснить надувается — и прогораёт: после всех героических напряжений — разбитое корыто. “Ушли! — Врешь! Все там же!” — как говаривал Мусоргский. Проглядывается тут и воля русской Матери-сырой земли как ведьмы, старухи — к власти и над водной стихией, но играет не на умении и силе своей, а на божественном долготерпении и жалости того, кто трудится...

В германо-скандинавских народах — обратный акцент. Ундины, водяная женщина, влюбляется в человека, принца, и ради него идет на страдание и жертву. В сказке Андерсена “Русалочка” дева морская из любви к принцу претерпевает мучительную операцию раздвоения единого: хвоста — в пару ног: “Твой рыбий хвост, — объясняет русалочке бабушка-ведунья, — который у нас считается красивым, люди находят безобразным. Ведь они мало смыслят в красоте: по их мнению, нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок — “ног”, как они их называют”¹.

Вспоминаются еще: Лорелея, что ловит и губит, сирены = рыбы-птицы-девы, да мало ли еще что!..

30.1.77. А что есть Пес?

Это “а серый волк ей верно служит”, т.е. прирученная хищность природы, обращенная на службу-дружбу и любовь человеку. Это его торжество над хищностью: превратить ее из вражды — в предельную преданность, так что “верный, как пес, как собака” уж притчей во языцах стало: “собака — друг человека”. Пес — это привязанность, абсолютное доверие, отсутствие своей воли. А ведь превратная воля — начало сатанинства, и оно тоже образом пса знаменуется...

Пес есть бес и пасть-смерть на службе-дружбе к человеку, жизни. Главное в нем: пасть-клыки (= смерть, казнь и ад) на ногах-скоростях. Заглатыванье — вертикально вниз, в пасть пропасть, падение; а ноги — кони по пространству. Пес (волк) —

¹ Андерсен Г.Х. Сказки и истории. М.: Московский рабочий, 1956. С. 62.

спринтер, короткодыханный скоростник, в отличие от коня = ма-
рафонца горизонтальности.

Конь открыто-пространствен. Волк-пес — лесен. “Собачий
нюх” опять же обоняние = способность невидали, леса произ-
ведение: там, где ни зрение, ни слух (они требуют наличного
присутствия, быстро исчезают, не оставляют следов в простран-
стве) не работают, там само пространство хранит след присут-
ствия того, что исчезло телом и бытием. То есть обоняние =
культура пространственно-временной памяти об исчезнувшем,
о канувшем: уже небытие — как еще бытие¹.

Чуткость — и ноздревое, и сердечное дело. Это значит: там,
где наружный сухой взгляд зрения никаких примет, ни слух
ударно-механический ничего не различают, никакого ничьего
присутствия, — там сердце чует, ретивое ноет, нюх “различа-
ет”. Потому пес — это и нюх, и друг: т.е. и ноздри, и сердце
верное, сострадательное. (2.IV.77. Но и “шестое чувство”, ка-
ким различают сокрытого, замаскировавшегося врага, тоже
мыслится как “нюх”: им безошибочно отслаивают “наших” от
“ваших”, какие бы слова должны, похожие ни произносил
чуженатурный составом своим и складом внутренним, что по-
том-аурой проступают и лишь на нюх улавливаются...)

Пес — гений обоняния. А что это значит **обоняние**? Это
стихия воздуха на грани с землей, уровень низа, испарений
кожи земли, ее пота: кому-то ведь надо этот язык ведать из
существ — головнонагнутые вниз хищники кошачьи и суть ве-
дуны этого уровня бытия.

Вот пространство, любое место возьмем: оно — вакуум для
волн зрения и слуха, но не для нюха; для него оно — занятость:
инфра-и-ультра-излучения абсолютно черного тела заполняют
этот континуум, там полно следов, как на земле: **следо-пыты** и
искатели — вот кто псы = ученые-исследователи, неутомимые,
бескорыстные. Поиск, разведка — в доброохотку идет, на свой
страх и риск: охота = дело охотное, дело хоти и воли. Сосуд
воли — вот кто пес. Воли и злой, и благой. Но или — или, то-
тально, а не смешанно, как это во людях переслоено...

Травы, леса, вещи — все для пса есть знак и язык, полный
смысла, словарь языка нюха... При телесности он и материаль-

¹ 2.IV.77. Перепечатавшая через два месяца после написания тогда, при-
помнил в этом месте мысли еще и стихотворение Тютчева “Cache-cache”:
войдя в комнату, только что оставленную возлюбленной, “Волшебную бли-
зость, как бы благодать, Разлитую в воздухе, чувствую я” — и в запахах, и
ароматах возлюбленная играет с ним в прятки...

ности, пес и нюх, приставлен, но чует душевность плоти и прямую духовность материи и духи вещей, как ум — их идеи (= виды).

И пес есть дом: сторож очага, блюдет его стойко и верно, место заповедное, избранное в бытии, место = “я”. И в повести нашей Пегий пес — сопка-примета места дома, уюта жизни.

Итак, **Рыба = океан, Верблюд = пустыня, Конь = степь, Пес = лес.** Значит, вошь он зарослей-волос земли накожных, трудных для бега, запутанных, но защитных оседлому: тому, кто не на горизонталь, а на вертикаль (как дерево) ставку кладет: любит место и родину. Пес — не кочевник, но оседл, “земледелец”.

Интенсивного он бытия тварь и спутник, друг и слуга. Привязчивость ведь невозможна в рыбе: к чему? — когда все течет-расплывается, никакого нет бытия особенного; нелепа она в верблюде, даже в коне: они к хозяину-всаднику, но не к месту могут быть привязаны. Что место им, долгоногим, от земли возвышенным! Презрительно оно. Пес же не только хозяина любит, но и место, низ земли, родину. Недаром так запечатлеть-отметить каждый кустик-кочку своим вниманием, приподняв заднюю ножку, норовит.

И пес — поводырь человеку = слепому в лесу, в дебрях невидали — есть человеку продолженное его знание и чувствительное, самоходный орган, аппарат и локатор-прибор, сконструированный не техникой, а любовью и лаской и пущенный вперед батька — в пекло... Так что подобно тому, как палка-винтовка в руках есть рычаг-орудие механического, количественно-силового проникновения пространства (критерии тут масса и скорость), так и собака = орудие труда познавательного, качественно-чувствительного.

Немое знание (как и в рыбе), но молчание его сочтется волей-охотой к высказыванию: в нем молчание — не мудрость, а заклятье немоты тому, в ком полнота чувств и мыслей и слов сообщить человеку-другу переливается через край высунутого языка и слезится из глаз.

Пес — добыча бортнически-охотничьего периода и модуса существования человека во лесах, а не во весех и градех, и одним видом своим присутствие при нас и в нас этой стадии бытия и миропонимания отмечает-знаменует. И он — среднеполос и арктичен (собаки = кони там, в тундре: нарты везут), шерстян — волосян. Конь же — гол как сокол, умеренно-климатичен. Верблюд шерстян уже от гари-жари, сам по себе растит

оазис (трава = шерсть) самоходный — с глотком воды=колодцем нутряным.

Итак, пес — тем ближайше любим, роден и драгоценен, что он есть Смерть на цепи (самый лютей враг наш — волк), прирученная; не нам, а врагу-чужаку смерть-пасть: “Фас!” — и нету. “Последний же враг истребится — смерть”. И она первой, во лице=морде-пасти собаки, перешла на нашу сторону из хищного царства природы и звериной борьбы за существование — на рельсы дружбы, братства, веры, любви. Пес и есть обращение природы в новый закон-завет, приведение ее во христианский, как говорят, вид. Пес — первый Христос: тварь бесконечно самопожертвованная. В пушкинской сказке о мертвой царевне он яблоко злое, вражье-сатанинское, причастник некогдашней этого царства: ада — зла (знает его язык, ему предатель, а человеку перебежчик-доносчик-новообращенный и рьяный в вере новой прозелит), — разгадывает-раскусывает и жертвенно сам съедает и умирает...

Так вот в чем метафизический талант-нюх собаки: это есть ее веданье языка иного мира и козней зла, ада и смерти (откуда пес сам некогда исшел), и их, коварных, она следы малейшие повсюду находит и доносит человеку: и в уголовном розыске злоумышленников язык следов ведом псам.

Пес есть двуязычие: старый язык зла (ненависти) хищно-природный, который теперь обитает в его нюхе-чутье среди мамы, в невидали вещества (по-“свящ”-енный он в ее, мамы-материи, мистерии) различие смыслов вещей разных тут, — и язык любви-веры-преданности-жертвы, обращенный в немоте на хозяйина и выражаемый не в словах, а в жестах поведения, в актах бескорыстной службы и безоглядного самопожертвования. То есть “не по словам, а по делам” — абсолютный в нем пример этого принципа и осуществление: без лести словом (нем на это).

И ласковая до чего скотина: трется телом, ушами, лижется, чувственная: “сука”, “кобель”, “собачья свадьба” — яростного Эроса все обозначения. Так что и в этом, в развитой чувственности назоженной, собака есть приближенная к человеку тварь: личность-особность-самость и “я” — и тем сильнее и значительнее ее жертва, ибо самочувствования способность в ней уже проснулась-развилась.

Потому павловские собачки, костью “нас ради человек и нашего ради спасения” легшие на эксперимент и вивисекцию на алтарь науки, — тоже новохристианское дело самоотвержения в них чтить мы и помнить должны.

А разведение сейчас собак в городах вместо детей-людий о чем говорит? Об ответном, навстречу собаке расширении человека: у пса научился он самоотвергаться и не столько любить род свой и племя и щенков своих, но и инопородное существо: к нему, по контрасту, больше тяга и Эрос — не по тождеству, не подобное к подобному влечется, но по полярности и дополнительности действует Эрос.

И это есть еще и учеба научно-рационалистического человека нынешнего языку немоты, сердечности и чуткости, отзывчивости, наитию, интуиции, иррациональности: опыт понимать инопланетян, жителей иных цивилизаций, существ иного склада...

Характерно, что именно в поздней литературе и искусстве, в XIX—XX вв., появляются “Собака Баскервилей”, “Белый Клык”, “Белый пудель”, “Муму”, “Каштанка”, “Дама с собачкой” и т.п. (Правда, и в “Одиссее” верный пес узнает хозяина.) Душевность, интимность, внутренний мир души тогда достаточно разовьются в человеке, когда способен он становится чужь “вдох угнетенной твари” — “братьев наших меньших” по бытию, и особенно ближайших и первоприрученных, первоподобных нам собак преподобных. Гуляет в “Униженных и оскорбленных” старик с Азоркой: англичанин с бульдогом = самоходный дом под охраной сторожевой. И это уже бездомность горожанина и душевную его неприютность знаменует, так что на прогулку “все мое (вы)ношу с собой” — душу живу свою на поводке вывожу-прогуливаю. Ибо что есть Дама, которая с собачкой? Это такая же одинокая душой псина-тварина, жаждающая отзыва и ласки, — и столь же стыдливая и немая: “догадайся сам!” В лесных дебрях города и джунглей бесчеловечности скитники они, бортники опять, охотники за лаской и сочувствием — человек с собакой.

И отчего дети так любят-дружат-ищут-хотят завести щенка именно? Да потому что — ближайший ближний и брат меньший, да еще и иммунитет к зверям, страшному звериному царству природы, жизни и их закону: волк, а — свой! “Верно служит!” И в “Синей птице” Пес безотказно и надежно предан детям, знаменуя чистую и бесхитростную душу. “Будьте, как дети!” — сказано. Можно сказать тождественно: “Будьте, как собаки”... Но тут осекся: двуликий Янус ведь пес: и лют, и любящ — смотря кому. Избирателен, а не всеобщ; точечен, а не пространствен. Одно любит единичное во мире исключительно, а не Единое и все: не равен и не равнодушен ко всему, как мудрец, но антимудрец он, и излучается из него совсем без-

рассудная любовь к единичной этой точке, существу, ни за что. И в этом еще зачем пес человеку — самоутвердиться в единичности-самости своей: пусть весь мир меня презирает, человечество клянет, закон осуждает, даже дети отрекаются, но меня абсолютно и беззаветно любят мать и собака — и тем я уже поддержан в бытии и утвержден, могу миру всему противостоять...

Итак, еще: закон уникальности единичного в универсуме, его незаменимости только любовью удостоверяется моногамной да преданностью пса. Значит, и обратно: при виде и мысли о псе нам должна эта идея навеваться: незаменимости и абсолютности всякого существа, души живы, человека, собаки, травинки...

Вот гносеология собаки, теория познания от пса — если б кантово ее изложить. А тут мы дали к такой теории — Прологомены...

Пес и Рыба. Муж и Жена. Сушь и Влажь. Жизнь и Смерть. Быт и Страсть. Быт и Бытие. Любовь=дружба-служба, самоотдача ближнему — и любовь, себе жертвы требующая (как Клеопатра и Тамара: “ценою жизни — ночь одну”). И познавший раз любовь Рыбы-женщины уж ужален ею и невменяем всю жизнь и алчет ее вновь и вновь, и томится и плачет на берегу — как тот прародитель увечный народа нивхов...

Пес — надежда. Рыба — безнадега безглазого Небытия. Пес — выручка, звериночка-выручалочка; Рыба — обручение “гробовое”, потустороннее. Пес весь домашен, уют Хауса. Рыба — Raum бесконечного пространства...

Так что ой как многомысленно биение духа меж Псом и Рыбою, в которое сам впал и нас погрузил писатель в повести! Меж созвездиями Гончих псов и Рыбы — Лира наша на сегодня...

Пес — шерстист, мохнат, лесян, тепел. Рыба — чешуйчата, осклизла, холодна. Лишь формою ослепительна для души: небывало гладка и обтекаема. Пес же формою коряв, неказист, угловат, растопырен, как пень-колода-коряга.

И такова Жизнь: вся в непонятных заусеницах, вопросах, сложностях. Смерть же — проста абсолютно, ясный ответ и разрешение однозначное всех мучений теплокровных жизни. Нема она и молчалива, как рыба, для которой нет вопросов и все — несомненно. И не дает ответа на все вопрошения наши гамлетовские о том, что потом? — но просто забирает к себе в полон чрез самоубийственный в нас Эрос страсти, им греясь, как рыба в воде, хладнокровная.

И держал однажды ее в руках, в объятиях, и выгацил на мель и мог бы ею возобладать, ее убить, Смерть, охотник Орган, да сжалился по-псиному, по-человечьи, над чужою бедой — и выпустил — не Золотую Рыбку, а уж самое Владычицу Морскую, которая служить уж не будет, а вдругорядь заберет без остатка (что и случилось под конец в повести)...

Но и обратная трактовка возможна: Пес(волк) = пасть, смерть. Рыба же = икра, семя, начало жизни из Бытия... Однако эта трактовка — учено-логическая, научно-биологическая, а не душевно-образная, которая тут в силе, в повести нашей, тогда как та здесь будет натужна...

“Хорошая собака поддыхает в стороне от глаз” (с. 171), — напоминает старик Орган отцу мальчика, объясняя свое решение уйти в небытие немучительно для других. Даже в этом, в модусе смерти, собака самоотверженна, как и в образе жизни, и есть образец человекам, модель модуса вивенди.

(Мирозерцания кочевника, земледельца и гражданина.
Личность и Общество)

СОЗНАНИЕ КОЧЕВОГО ПЛЕМЕНИ

Начало исторического развития в большей степени, чем его последующие ступени, зависит от благоприятствующих и неблагоприятствующих обстоятельств природы: климата, почвы, рельефа, расово-этнического характера людских существ (их “породы”). Это потом они уже станут вторичными, так как способ производства перемешает все страны и языки, и некогда кочевой араб станет по быту жить так же, как некогда земледельческий русский.

Вначале же именно природные обстоятельства определяют способ жизнедеятельности, производства, образование той или иной общественной структуры: в долинах больших рек (Нил, Тигр, Евфрат) естественно возникают большие общества, основывающиеся на земледелии; в плоскогорьях — кочевые народы; у моря — торгово-промышленные. При этом если в больших земледельческих государствах есть тяготение к централизации (ибо сама река объединяет и централизует и не терпит произвола: нельзя обрабатывать землю, когда вздумается), то в прибрежных морских землях складываются условия для большей активности индивида, и там образуются и быстро изменяются маленькие коллективы. Если коллективы кочевых народов подвижны прежде всего количественно: передвижение по пространству, то в морских общинах подвижность внутренняя — непрерывное изменение качества внутренней организации в силу большой активности и самостоятельности индивидов.

Кочевые народы являют первую форму собственно общества. Пастушество, как и на более высокой ступени земледелие, —

переходные формы от потребления готовых продуктов природы к их производству. Если в собирательно-охотничий период люди в смысле пищи еще зависят от произвола природы и скитаются, как хищники, то у кочевых народов создается постоянный запас пищи — стадо. Они его производят, воспитывают, оберегают, и в этом отношении они создатели и свободны, в отличие, например, от хищных зверей, которые не производят сами своей пищи и не заботятся о своей жертве. Это уже предполагает дальновидность, осознание более высокой, чем рефлекс и инстинктивная, автоматическая реакция — сразу сожрать, — цели. Это уже есть свобода от непосредственного момента, от единичного движения — и мысль о чем-то более общем, постоянном и длительном — больше, чем я и мое желание.

Но, с другой стороны, кочевники целиком зависят от стада и рабски плетутся за ним. Отличие от потребительски-собирательского периода заключается лишь в том, что теперь падут уже люди не сами, а через посредника — стадо. Люди как бы переложили на животных осуществление предшествующей формы своей жизнедеятельности и тем самым освободились и на одну ступень поднялись выше. И здесь сразу выступил принцип, типичный для всего последующего развития: то, что было *содержанием*, смыслом бытия, становится его *формой* и осуществляется уже не органически, а автоматически; потом труд стада перелagается на землю; затем то, что делалось руками, делается машиной, и руки высвобождаются для более высокой деятельности. Этот же закон и в искусстве: то, что было содержанием, художественностью, целью, становится формой, мастерством, условием творчества и достижения более высокой цели и содержания.

Еще один всемирно-исторический принцип выступает здесь сразу же: *другое* — есть подобие своего, *предмет* есть тот же субъект, но в форме объективного бытия. В самом деле, пища (а в этом тогдашнее производство: оно есть потребление) организована как стадо, как бы подвижный коллектив. Но ведь и сам кочующий народ есть подвижный коллектив, тем отличающийся от стаи перелетных птиц или своры зверей, что он уже не сам скитается за пищей, а наблюдает и контролирует, как скитается другая животная порода — их “не я”. И движутся они теперь и буквально не сами, а через посредника: верхом.

Но именно эта полная зависимость и дает ощущение внутреннего родства с животными. Отсюда в фольклоре — обо-

жествление животных, особенно коня. Конь здесь столь же дорог, как и человек, даже больше. С ним он образует единое существо — кентавра. И кентавр действительно мудрее тех пеших людей, которые сами скитались за ягодами и нападали на зверей. Мудрость кентавра есть не что иное, как чувственный образ мудрости общественного человека, который поставил между собой и природой *посредника* (орудие труда или потребления, здесь — коня).

Теперь вдумаемся в тип общественной структуры кочевого племени. Общность здесь не может иметь иной скрепы, чем кровь, происхождение. Когда предметом труда становится земля, здесь уже образуется новая, производственная общность, перемешивающая крови, племена и языцы: не случайно именно в земледельческом государстве Вавилоне произошло смешение языков в связи с общим производством — постройкой столпа. Когда скрепой людей становится лишь способ и предмет производства, тогда действительно все природные различия нивелируются. Сегодня мы не видим в этом ничего одиозного, но столь чудовищным это представлялось сознанию древних, что они увековечили это явление как исключительное, дивное и страшное в легенде о вавилонском творении столпа.

Итак, кочующий коллектив не есть по происхождению функция стада, напротив — стадо есть первоначально его функция. Но коль скоро оно возникло, сам коллектив уже прикован к стаду и мыслит его потребностями: где ему удобно, выбирает место, приспособливается к нему. И в сознании немедленно возникает обратная связь: животное выступает как прародитель человека, его учитель. Животное, а не человек выступает носителем человеческих свойств: мудрости и т.д. Мудрый кентавр Хирон воспитывал Ахилла. И здесь уже видна механика *отчуждения*. Самосознание, сознание своей совокупной общественной силы и могущества выступает под формой иного: через отделение этой силы от себя и перенос и приписывание ее другому. Это другое есть не что иное, как сам труд людей, их собственная специфическая способность. Ведь стадо есть труд людей, их производство, а *священное* животное есть *одно* животное со свойствами и могуществом *всего* стада (т.е. того объективного мира, с которым общественный коллектив как субъект сознания имеет дело). Подобным же образом потом будут обожествляться фаллос (скотоводческий культ), умирающий и воскресающий бог (т.е. зерно), бог-деми-

ург (Прометей, Ягве) — как ремесленник, сколотивший небесный свод, земную твердь, укрепивший на небе солнце, месяц и звезды. И наконец — производство в наиболее абстрактном виде: капитал, деньги, вещь (товарный фетишизм).

Необходимость всех этих ходов сознания заключалась в том, что *сознание* есть отличие и предполагает не диффузность, а отталкивание, отражение от другого. То есть мысль о себе возникает лишь тогда и одновременно, когда возникает мысль о другом, и потому представляется продуктом этого другого. **Другое**, следовательно, как не просто само по себе, но, обладая дивным свойством пробуждать мою мысль обо мне самом, выступает, естественно, как священное. *Самосознание* выступает как сознание другого, “я” — как функция “не я”. Однако само “не я”, как мы видели, в равной степени порождено общественным “я”, т.е. производственной деятельностью коллектива.

Пока само общество внутри себя не расчленено, или расчленено, как в капиталистической формации, но не свободно, — оно живет бессознательно, не зная своей природы и силы и влачась на поводу у чуждой его интересам стихии, в форме которой лишь живет и действует его собственный интерес и сила — как извне давящая необходимость; и общество и люди непрерывно стремятся освободиться от нее, совершить “прыжок в царство свободы”. Само это стремление к *свободе* — как миру иному, земле обетованной — есть лишь другое выражение этого отчуждения. И марксизм, осознав эту тайну, нацеливал людей на то, чтобы взять в свои руки свою судьбу и, создав объединение людей внутри общества по коммунистическому принципу гармонии природы, общества и развитого индивида, подняться к истинному господству над условиями своей общественной жизни, а значит, над природой и производством и не **добывать** свободу, а **осуществлять** ее сейчас, в настоящем, в каждом действии.

Итак, если, начиная с земледелия, основа объединения в обществе будет двоиться между общностью происхождения и общностью местожительства и труда, то у кочевых народов лишь одна скрепа — кровь, и потому это общество монолитной сплоченности и прочности. Это родовое общество в чистом виде. Это даже не народ еще, а **племя**, т.е. объединение родственников. Центром является прародитель и хан как его **семя**. Потому общественное сознание племени живет в форме преданий о происхождении хана, сменяющих членов его рода — по прямой линии. Выпрямленная линия рода и слу-

жит осью племени (ведь все родственники и все равны, следовательно, выделяется цепь ближайших), это — наследственная власть. Это уже устойчивость, но коренящаяся на фетишистском представлении о том, что священное общественное свойство единства коллектива есть свойство семени, природы. И потомков, детей хана, утверждает не его воля (у него самого еще нет “я”, и в детях он не видит продолжения себя: их у него масса — это нечто вроде экскрементов, случайных выделений организма, он их даже не знает), а именно общественное сознание — традиция коллектива. Это фетишистское представление живет далее в ламаизме: умирает лама, и кто рождается в тот момент — и есть лама. (Первобытные люди съедали умного человека, чтобы самим стать умными.) Бессмертие души (общества) предстает как непрерывная заменяемость плоти (индивидов). Как змея, линяя, меняет кожу, так и линяет общество — как тело: умер один — другой есть его тождество, и так — безостановочно.

В этом отношении земледельческий культ умирающего и воскресающего бога есть более высокая ступень общественного самосознания: здесь смерть, конец действительно наступает, и процесс есть не непрерывная текучесть, а идет поступательно, с перерывами постепенности. И не сразу, а через некоторое время, и не автоматически, а благодаря усилиям людей: жертве, молитвам или любви (молитвы Изиды, Орфея и Венеры — Озирис, Эвридика, Адонис воскресают).

Итак, как весь кочующий коллектив есть одно тело, монолит, подобно этому и его — **не представляет**, нет (*представительство* уже есть более высокая ступень, где один индивид выступает вместо группы индивидов, но уже обособленных и передоверяющих свою волю), а прямо **воплощает** один — хан, который божественен. Ни один тип общественного объединения людей потом не будет обладать столь монолитным единством, как коллектив кочующего племени, ибо индивид здесь еще совершенно не выделен и ничтожен. Здесь еще нет понятия *родины* как земли: родина есть движущееся тело коллектива, и прежде всего хана, — к нему и жмутся, как к вожаку. Сам в себе индивид не несет никакого содержания, кроме инстинкта вечного движения и воли.

В этом и сила и слабость кочующего коллектива перед последующими типами существования — и прежде всего оседлыми. Кочующий коллектив отличается от земледельческого, как **животное**, которое обладает самодвижением и свободно от ок-

ружающей среды, отличается от **растения**, которое навеки при-
вязано к своему месту. Кочевой народ — это “перекати-поле”:
действительно, “все свое носит с собой” и ни от чего в этом
смысле не зависит. И это роднит этот коллектив с высшим, еще
не достигнутым пока типом человеческого общества, когда оно
целиком будет иметь свои предпосылки в самом себе и не за-
висеть от окружающей природы — когда человечество, напри-
мер, сможет сняться с Земли и смело ринуться во Вселенную.
Вот почему кочевые племена представлялись последующему
сознанию оседлых народов как *символ свободы* — как птицы
(недаром **цыгане** являли один из обликов эстетического идеа-
ла в мировой и особенно русской литературе). Они еще не
“оскоромились”, не согрешили, связав себя с какой-либо огра-
ниченной целью вне себя, как этот великий “первородный грех”
совершает человечество, перейдя к земледельческому существо-
ванию и ставя себя в зависимость от *этой* земли (для кочую-
щего племени земля — не родина-мать, а ничья, божья, нечто
бесконечное, абстрактное).

Все последующее развитие человечества и заключается в том,
что оно непрерывно увязает в создаваемом им — более конк-
ретном и содержательном (земледелие — более сложное и
умное дело, чем пастушество), но и превращающемся в *само-
цель*, отнимая цель от самих людей, их собственного существо-
вания, и делая нормой развития жертву человеком во имя вне
его находящейся цели: земли, машины, закона и т.д. И, опу-
таный всенарастающей паутиной зависимостей (вспомним
слова Горького: “Созданное людьми поработило и обезличи-
ло их” — “Челкаш”), цивилизованный человек с тоской и за-
вистью обращает взор на свободных от привязанностей цыган
(Алеко или Лойко Зобар) или птиц (Сокол и Буревестник),
видя в них то безвозвратно ушедшее прошлое (“смирися, гор-
дый человек!” — рождение человеческой гордыни предстает в
“Цыганах” как необратимый ущерб), то будущее (самолет —
ведь уже общественная птица, созданная именно человеческой
“гордыней”). И не случайны обороты: “на крыльях мечты (или
песни)” — искусство пребывает в этой же стихии первичной
и будущей свободы; или “окрыленность” — связь возвышен-
ной свободы с образом птицы. Она “невинна” и потому сво-
бодна.

Но эта свобода кочевого народа от окружающих обстоя-
тельств есть в то же время величайшая несвобода и рабство.
Он движется именно потому, что у него ничего нет, и — пусть

через стадо — пасется и зависит от плодов природы. Он не производитель, а уничтожитель. Повторяю, это еще *не развитие* (т.е. движение во времени), а движение в пространстве. Это ясно видно в отношении к земледельческим народам. Кочевые народы, как обладающие монолитным единством и натиском тарана, как правило, на поле боя (т.е. в пространстве) побеждают земледельческие народы. Оседлый Китай с гигантским населением неоднократно терпел поражения от монголов и манчжуров, количественно в десятки раз меньших народов, но слитых в один кулак. (*Слитность* — вот точное слово для характеристики связи индивидов внутри этого целого). То же — Рим, Европа во время переселения народов, Русь во время татаро-монгольского нашествия; победы турок-сельджуков, арабов и т.д. Но после победы, оставаясь на завоеванной территории, они неизбежно терпят поражение, в ходе времени ассимилируются и тают среди завоеванных, оставляя лишь след в этническом составе и названии (как дружина болгар хана Аспаруха — среди исконного славянского населения Придунайской низменности). Кочевой индивид, оторванный от целого, вянет и сохнет, тогда как земледелец, попав в чужую среду, несет с собой навыки обработки земли, ремесла и т.д., то есть не пропадет в своем качестве.

Поэтому у кочевых народов непрерывное движение сменяется потом столь же длительным застоём (как монголы до последнего времени). Некогда вихрем пронесившиеся по миру народы словно ветром сдувает — и следов от них не найдешь: ибо они не опредметили себя, не связали свою свободу с ограниченными, но твердыми целями, не “увязли” в бытии.

Когда кочевье исчезает как определяющий способ жизни, организация кочевого коллектива, однако, не исчезает: она живет в армии, войске оседлых народов. **Войско** и есть своего рода кочующая община, табор с обозом (вспомним армии Тридцатилетней войны — ср. “Матушка Кураж и ее дети” Брехта): здесь тоже принцип — “все мое ношу с собой”. Быть воином — как чисто общественное и свободное от забот и привязанностей существование — тоже есть всегдашний эстетический идеал, особенно детей и юношей. Этот идеал тем более привлекателен, что он внешне освобождает индивида от необходимости искать самому содержание и смысл жизни и дает вроде уже содержательную и осмысленную форму для жизни. Смысл жизни предполагается само

собой разумеющимся и заданным от века — в сохранении данной общины, родины, — и это ввергает индивида в то же бездумное, беззаботное и безответственное существование, какое было у члена кочевого племени, который автоматически и инстинктивно шел туда, куда вел вожак, не имея своего, особого разума и воли. Это правда: она (воля) потом тяготит человека, так как заставляет его делать свой выбор в бесконечно запутанной жизни. И какое блаженство страхнуть бремя своей воли!

“Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходявши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя *лишенным свободы* (здесь и далее выделено мною. — Г.Г.) и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же *успокоение*, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома, на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался *в выборах*; не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда; не было этих 24 часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить; не было бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом; не было напоминания об ужасном проигрыше Долохову! Тут в полку все было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела: один — на Павлоградский полк, и другой — все остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку все было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший, кто дурной человек, и главный, товарищ. Маркитант верит в долг, жалованье получается в треть; выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо определено и приказано: и все будет хорошо.

Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых” (*Толстой Л.Н. Война и мир. Т. II. Ч. 2. Гл. XV*).

И как ни странно, в высшей пока точке цивилизации — в XX веке, это чувство радостной безответственности бытия в

перасчлененной массе¹, где я “как все” становится особенно популярным, ибо оно чрезвычайно выгодно государствам отчуждения. Например, фашисты именно на этом спекулировали. Они приманивали немецкий народ к деянию величайших зверств как раз соблазном безответственности, ибо если я делаю *как все*, то пусть и отвечают все, а всех не накажут — и потому *никто* не виновен, — и если потом падает кара, то она совершенно случайно падает на то, а не на иное лицо. Ведь смысл и источник дела вроде всем известен — и никому, т.е. живет как бы мистически, неуловимо. Это тающее положение индивида среди массы станет источником особой “мифологии” XX века.

Для сознания кочевых народов типично безостановочное брожение: как ребенок ни на чем не может сосредоточиться, и одна вещь то разрастается до грандиозных размеров, то исчезает. Здесь вроде сознание, как и общество, полностью свободно, произвольно в отношении к природе — и в то же время находится в рабской зависимости от нее, плетется вслед за ней. Они еще не связаны друг с другом конкретно, через третье — через созидание остающейся (а не потребляющей) вещи. Эта конкретная связь появляется в земледелии, у земледельческих народов.

СОЗНАНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НАРОДА

Здесь появляется целый ряд новых моментов. Жизнь теперь, с одной стороны, выглядит как возвращение к растительному, малоподвижному существованию, которое человечество вело на

¹ Прекрасно это ощущение передал Роже Мартен дю Гар в своем эпосе “Семья Тибо”. Участвуя в вечерней пацифистской демонстрации в Брюсселе 29 июля 1914 г., Жап Тибо, все время пытающийся сам доискаться до смысла происходящих событий, в блажестве отдается потоку, толпам, упоющим его вперед; “Исчезло всякое ощущение пространства и времени: **личное сознание стерлось**. Это было подобно темному, латаргическому возвращению в некую первозданную среду. Погруженный в эту движущуюся братскую толпу, растворившийся в ней, он чувствовал, что **освободился от самого себя**. Конечно, в глубине своего существа он хранил, словно горячий источник, который не доходит до поверхности, смутное сознание, что составляет часть какого-то целого — целого, бывшего множеством, истиной, силой. Но он об этом не думал. И продолжал идти вперед с пустой головой, во власти легкого опьянения, умиротворяющего как сон”. *Гар Роже Мартен дю. Семья Тибо. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1957. С. 367.*

охотничье-собираательской стадии. Если в кочевье и пастушестве высвобождение от природы заключалось в том, что предшествующий труд (пожирание готовых продуктов природы: растений, ягод) лишь возлагался на животных, но корень бытия в общем не менялся в своем качестве и люди лишь ели природу через посредство другого рта, то теперь человек вновь встал в прямое отношение к растительной природе, но уже не как потребитель и раб — бессознательно-пассивное существо, а как воспитатель и контролер: т.е. перенес обретенный в пастушестве принцип *опосредствования* глубже и на сами растения. Стадо вросло в огород. Лишь теперь начинаются собственно производство и *труд* как основной клапан человеческой энергии. Начинается систематическое использование **орудий** производства. До сих пор их, строго говоря, еще не было. Палка, которую берет дикарь, чтобы сшибить яблоко, или охотничья стрела суть орудия потребления: они не создают новую вещь. Теперь же основная ставка человечества стала заключаться в том, чтобы “не ждать милостей от природы”, а “взять их”, и не только взять, но и заставить природу систематически служить человечеству. К производительной силе природы, которая до сих пор действовала своим чередом, темпом и количеством, теперь начал прибавляться некий плюс (труд рыхления и обработки земли). Этот труд по содержанию и качеству выступал лишь как то же самое: т.е. как та же живородящая сила природы, но лишь увеличенная — вот зримое единство общества и природы и исконно материальный характер трудовой деятельности. Производительная сила природы лишь **вытягивалась**, и работа общества заключалась в ее стимулировании. Необходимость в такого рода операции могла возникнуть, с одной стороны, не в тропиках — там, где природа пышна и роскошна и дает все и где усилия не надобны, где природа, по выражению Маркса, водит человека на помочах, — и, с другой стороны, не там, где природа сурова, так как там нужна особая предварительная развитость, чтобы животворящая сила земли могла быть продолжена. Вот почему начало человеческого общества связано со средней, теплой половиной земли.

Само стимулирование и *вытягивание* силы природы происходило с помощью затраты той же природной силы, но в другой форме: нервов, мускулов, пота, крови людей. Разница силы земли и силы труда заключалась лишь в том, что в последней природа как бы встречалась, смыкалась сама с собой (как змея

кусают свой хвост), получала в самой себе встречное движение, “свое другое” (термин Гегеля), предел, *свое отражение*, зеркало, самосознание.

Новое, следовательно, заключалось в той энергии, которая *переламывала* направленность силы природы из себя — на саму себя. Необходимость в такого рода обратной силе и повлекла за собой возникновение собственно **общества**. Функция *общества* именно в этом и заключается: быть трансформатором силы природы. Перемена направления, следовательно, осуществляется в самом организме общества и составляет его движущую силу: непрерывный ток от природы идет через рождение живых людей, естественные потребности и стремления индивидов. Для произведения толчка в обратном направлении необходимо образование силы, которая, возникая как бы из естественных стремлений и интересов людей, чтобы дать им простор, за счет их энергии и в интересах их удовлетворения — т.е. как прямое продолжение направления от природы, — вдруг начала бы действовать в прямо противоположную сторону: через обуздание, подавление, насилие над индивидами, их целями и стремлениями. Эта обратно действующая сила образуется от ограничения суммы индивидов, от окружения ее каким-то невидимым панцирем, создающим сомкнутое единство, границы. Для этого ограничения недостаточно единого импульса изнутри — происхождения (как это было у кочевых народов), — необходим *предел* в питающей среде. Уже стадо, которое ограничено и могло прокормить лишь определенное число индивидов, клало предел кочевому коллективу. Но этот предел непрерывно и, главное, легко преодолевается через постоянное передвижение, войны с соседями и т.д., так что **предела**, можно считать, практически не было, и существовала разомкнутость: ток шел лишь в одном направлении: от происхождения — в бесконечность. То есть здесь общественное единство действовало в одном с природой направлении¹. Потому, строго говоря, не было обращенности индивидов друг на друга, ощущения плеча соседа, *самосознания*, а ощущалось (но не осознавалось) лишь единое тело: кровь, порода соседа и единое движение; не было столкновения интересов внутри

¹ И от этой ступени осталось представление об общественном счастье как о лучшей земле, “праведной”, к которой надо **идти** — к земле обета. И герой “Страны Муравии” Твардовского ищет идеальное общественное устройство как идеальную землю.

коллектива, так как не было предела и господствовала направленность на природу (т.е. вовне, а не внутрь общества), которая все разрешала.

Другое дело, когда племя останавливается, а останавливается-то оно именно оттого, что предел природы стал сильнее внутреннего размножения (как клетки умножались ранее путем членения без конца — теперь они получают ограничение, притираются друг к другу, начинается взаимодействие между ними — словом, образуется организм) — и люди либо должны были найти иной качественно принцип бытия и питания, либо погибнуть. Этот принцип и был найден в бытии не в пространстве (как при кочевье), а во *времени*, т.е. собственно в развитии, изменении *качества*. Кочевье, передвижение есть то же стадо и тот же коллектив при непрерывном плюсовании: плюс это место пастбища, плюс это стадо, плюс это столкновение с соседним племенем. Это дурная бесконечность количества. Здесь и для сознания нет выхода в проблему качества, и это определяющим образом сказывается на памятниках фольклора кочевых народов.

Другое дело — вырастание зерна. Опора здесь на время: надо ждать и ускорять, т.е. опираться на изменение вещи (а не на готовую). Здесь прибавление того же (единиц времени) есть цепь превращений, смена качества: зерно — оно умирает в ростке; стебель умирает в колосе и цветке; цветок умирает в плоде. Плод — вновь есть зерно, семя, т.е. то же, но через цепь качеств возникло новое количество: сам-тридцать, сам-сто и т.д. Значит, количество и здесь цель, но оно достигается не прямым движением по нему и к нему (как в кочевье), а **через другое**: в итоге смены качеств одного вдруг получается много.

Этот факт нового способа добывания пищи связан с величайшими преобразованиями и в структуре коллектива, и в сознании. Собственно, только теперь и образуются и общество, и производство, и сознание, и индивид. И тьма тайн заложена именно в этой точке.

Во-первых, здесь кончается полуживотная свобода, невинность неведения, птичье бытие: люди перестают, как угорелые, носиться по миру, а впрягаются в ярмо. (Этот момент отражает библейская легенда о потребительском бытии в раю и невинности Адама и Евы, о грехопадении в силу вкушения от дерева познания добра и зла и о проклятье Адаму трудиться в поте лица своего.)

Природа положила предел и заставила людей принять — т.е. признать — этот предел “иже не преjdeши” и свою зависимость. Но именно наталкивание на этот предел и зависимость от природы явились источником возникновения общества, производства, сознания — той силы, которая вознесет людей над природой в свободу. В самом деле, предел пользования готовыми плодами природы (в стадах, пастбищах, территории, в соседнем племени) вызвал необходимость ограничения количества членов коллектива. Он замкнулся извне. Тем не менее в нем продолжала действовать порождающая сила природы: число его членов росло — и в то же время эта творческая родовая сила стала наталкиваться на предел и противодействие в природных обстоятельствах. Внутри аморфного коллектива племени стали прокатываться импульсы и из центра, и извне, которые и стали образовывать организацию ранее аморфной массы нерасчлененного коллектива в общество. Эта зажатость с двух сторон — из центра, из непрерывно действующей силы порождения, и извне: ограниченность земли, территории — и была движущей силой производства и истории докапиталистических обществ. Принадлежность по крови и роду, сословию, касте, с одной стороны (родовая знать, потомственная аристократия, наследство), и принадлежность к территории (земледелие и землевладение) — с другой, стали сталкиваться и выразились в непрерывной *борьбе* внутри общества, которая явилась и источником производства (т.е. силой, переламавающей направление производительной силы природы), и источником исторического движения (борьба родовой знати с земледельцами: реформы Солона и Клисфена, заменивших родовое деление афинян по крови на территориальное деление по филлам, и т.д.). Однако на протяжении всей докапиталистической истории действовали обе эти организующие общество силы (род и земля). Лишь в капиталистической формации внутренняя организация общества станет определяться главным образом участием в системе общественного производства, разделением труда — т.е. уже не на полуприродных (кровь, земля), а на чисто общественных основаниях.

Итак, то “переламирование” производительной силы природы, которое является сущностью производства, имело своей предпосылкой “переламирование” сил внутри человеческого коллектива и образование общества, общественной силы как чего-то качественно иного, чем плюсование побуждений, инстинктов и рефлексов человекоподобных существ, которые теперь стано-

ваются желаниями, стремлениями, целями — словом, *волей* человеческих индивидов (ибо воля есть общественная форма естественных побуждений и предполагает и общество, и индивид, и сознание). Точнее, ни одно не есть причина или предпосылка другого — это возникающие одновременно и взаимно предпосылающие себя другому явления: как общество невозможно без труда, так и труд возможен лишь как общественный труд.

Рассмотрим теперь попристальнее эту “механику переламывания” внутри общества, т.е. действие возникших общественных сил и к чему они привели.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ЦЕЛОГО. ОБЩЕСТВО И ИНДИВИД

Как только обнаружилось ограничение нерасчлененного коллектива извне, так началось его расчленение внутри¹ и превращение живых существ в человеческую определенность, т.е. индивидов, т.е. в меня как нечто отличное от соседа, и наоборот. Раньше, когда импульс был направлен только в одну сторону, на природу, в собратях по коллективу не видели нечто другое и особенное, не было ревнующей силы, порождающей заинтересованный взгляд внутрь коллектива, на соседа, — силы, рождающей столкновение интересов. Раньше была вражда с другими племенами, но в них не видели такие же человеческие коллективы, а просто элементы природы, окружающей мое племя. Как тонко показывает в своих работах Е.М. Мелетинский, в сознании первобытных коллективов человечество совпадает с их коллективом, а все, что вне его (в том числе и враждебные племена), — это часть природы. Остаток этого самоощущения, например, видим в мысли об избранности народа Израиля Богом или в брезгливом отношении древних китайцев к соседним народам как варварам.

Теперь, когда внутри коллектива начинается различение индивидов как общих и в то же время *особенных* (эта категория только теперь рождается, раньше были лишь абстрактное *общее* и не менее бессодержательное *единичное*), начинается и осознание общего с другими народами и особенного и в них,

¹ Вот почему пока не закончена колонизация всей земли, т.е. пока есть выход в пространство, внутренняя жизнь общества еще не определяется до конца в своем особом качестве (как это было в России вплоть до XX века или в Северной Америке до второй половины XIX века).

и в себе. В итоге рождается то благородное уважение к соседним, даже враждебным народам, которое мы видим, например, в “Илиаде”, где Троя и троянцы, Приам и Гектор обрисованы чуть ли не как более идеальные, чем вечно ссорящиеся между собой ахейцы; или в характеристике Геродотом персов во время греко-персидских войн. То есть возникает *объективный* взгляд на вещи, бескорыстное о них суждение, по их собственной мерке, независимо от моего импульса и непосредственного интереса. Это вызвано именно и только рождением предела: столкновение с другим немедленно рождает *самоопределение*, а осознание и отличие другого от себя порождает осознание *себя*. Действительно, до этого, когда нерасчлененный коллектив видел вне себя и в других племенах лишь аморфную и беспредельную природу, он не понимал и себя. Само осознание своего *рода*, общности происхождения возникает только когда появляется своя *земля*. Лишь когда иудеи ощутили себя стиснутыми на определенной и ограниченной территории, они стали выдвигать критерий избранной крови, колена, прямого или ближайшего происхождения от Адама и патриархов — как в соперничестве с другими племенами (хамитами и яфетидами), так и внутри самих семитов — и стали называть свою землю “обетованной” (заповедной). Распределение земли предстало как основанное на происхождении, и не было потом вплоть до Нового времени более естественной и понятной сознанию людей мотивировки владения и наделения племени той или иной землей, чем родовое древо. Именно с него начинается и русский летописец Начальную русскую летопись, выводя славян и русский народ от той же печки: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова и т.д. Название земли объясняется именем человека-прародителя. Подобный ход мысли мы непрерывно встречаем в мифах и сказках о возникновении (т.е. причине, связи) вещей. Эта связь и причина дается просто: опять в форме членения половой клетки — как *происхождение*. И самые общие философские понятия, первоначала бытия также представляли как мужское и женское начала (ср. китайское Ян и Инь). Недалеко от этого уходит и спекулятивный метод мышления, логизирующий ходом: тезис — антитезис — синтез (ср.: отец — мать — дитя).

Но расчленение внутри коллектива и возникновение индивидов есть лишь одна сторона образования общества. Само это обособление молекул-индивидов стало происходить потому, что в силу ограничения аморфного коллектива, стеснения его чле-

нов, превращения его в отдельное “тело”, организм, в нем начали действовать какие-то силы, которые вроде и полностью исходят из индивидов, из их интересов, однако в силу взаимной “притертости” людей и столкновений их интересов возникают результаты, несколько не выводимые и не объяснимые из логики ни моей воли и поступков, ни воли и поступков того лица или силы, с которыми я сталкиваюсь. Как только индивид начинает выделять из себя и осознавать свою цель и интерес, т.е. как только в нем рождается *логика*, рассудок, тотчас же он видит образование на другом полюсе силы *неисповедимой*, действующей по своим особым основаниям, не сводимым к основаниям моей, т.е. равно общей всем индивидам логики, строящейся на отвлечении общих признаков из единичных вещей. Отныне начинается тот непрерывный в мировой истории труд урегулирования, поисков соответствия интересов (логики) индивидов, групп и общества в целом, который (этот труд) живет в трех формах: в форме чувственно-предметной практики (производства), борьбы и развития внутри общества (политическая история) и сознания.

Основная трудность заключается в том, чтобы средствами ограниченного мышления индивида совершить прыжок на точку зрения общества в целом и начать мыслить его логикой, его потребностями и закономерностями. Еще бóльшая трудность заключается в том, что у самого этого сокровенного общественного интереса, у целого нет особого органа мышления и возведения истины, нежели мозг и язык индивида. Заранее оговорюсь, что непроницаемой стены здесь нет, ибо мышление и язык индивида есть сугубо общественное явление, и — осознает это индивид или нет — в формах, приемах мышления, его всеобщих категориях уже вложена логика целого. Она одновременно предопределяет его индивидуальный опыт и невыводима из него. Потому философы, строившие систему с точки зрения абстрактного индивида, для обозначения этой логики целого употребляли понятия “врожденные идеи” (Лейбниц), “априоризм”, “трансцендентальное” (Кант). Непроходимой стены нет, но противоречие есть. Оно тем более возрастает, чем далее расходятся интересы индивида и целого, и в капиталистическом обществе оно выглядит уже непреодолимым, а логика целого предстает совершенно иррациональной.

Но для члена добуржуазных обществ эта проблема хотя и возникла (и потому это уже общество), но не приобретала столь болезненного вида.

Дело в том, что интерес и закономерность целого опредмечиваются не для того, чтобы быть понятыми, не для мышления и сознания индивида. Напротив, логика, система доказательств, потребность понять возникают именно из индивида, который, чтобы действовать, должен усвоить личный мир как для себя необходимость. В этом смысле общество не мучится, как рефлексирующий герой нового времени, потребностью понять, прежде чем делать, а именно делает, созидает мир предметов: усилиями индивидов рыхлит землю, строит ирригационные системы, пирамиды, корабли, Парфеноны и Фидиевы статуи, обычаи, законы, быт, формы мышления. И тот “трансцензус”, переход с точки зрения индивида на интерес целого, который в формах логики, отвлеченного мышления оказывается почти непроходимым, — этот переход в сферу “вещей в себе” легко, естественно, непринужденно совершается людьми в чувственно-предметном формировании вещей и чувственном к ним приобщении. Если древний египтянин не мог отчетливо в логических категориях выразить, в чем сущность его общества, то он *видел* пирамиды, участвовал в создании ирригационной системы, вместе с жрецами-астрологами глядел на положение Сириуса, которое связывалось с разливами Нила, слышал рассказы о фараоне, хотя видел лишь его наместников, пел священные песнопения, т.е. всем существом был непрерывно приобщен к пульсации целого, и этот роковой “трансцензус” непрерывно совершался, но не в сфере отвлеченного мышления, а в сфере чувственности.

И далее все уже зависело от соотношения индивида и целого. Когда общественный предмет (Акрополь, Парфенон, форум, *ager publicus*) в полной мере использовался каждым гражданином — а это было возможно в маленьких общественных организмах вроде античного полиса — **самим**, прямо, а не через опосредствования (представительство уже вносит сферу опосредствования, отвлечения, отчуждения — словом, несвободы, ибо делает чем-то несущественным индивидуальную чувственность и интерес человека, а допускает ее повторяемость, подмену и нивелировку качества), — тогда интерес целого полностью был доступен индивиду и в собственном интересе свободного гражданина полностью выражался. В обширном же земледельческом государстве, вроде Египта или Китая, где члены были менее подвижны и прирастали, как грибы, к своим местам, они не были в состоянии прямо приобщаться

ко всему целому: оно выступало не как целое (т.е. определенное и ограниченное), а как нечто бесконечно неопределенное. Они видели, например, сатрапа, но он сам действовал по импульсам, исходящим и уходящим куда-то в невидимое средоточие воли целого. Отсюда — *аллегория, символ* как основной ход приобщения к целому: видимое, осязаемое, чувственно воспринимаемое осознается не как себе довлеющая целостность, а как разомкнутая в бесконечность и намекающая на нечто высшее.

Но и в том, и в другом случае приобщение к целому шло через саму чувственность: руки, глаза, ухо человека, язык, — ибо сама эта чувственность (т.е. природа) человека уже не животна, а одухотворена, осмыслена и развита в ходе труда, жизни в обществе. Вот почему Маркс писал о человеческих чувствах не как лишь о чем-то подсобном для мышления (а отвлеченное мышление видит в чувственности — в ощущении, восприятии, эмоции и т.д. — нечто низшее), но самоценном, могущем в известных условиях полно выражать общественную природу индивида и во всяком случае обладающем рядом преимуществ перед логикой, мышлением. “Чувства-теоретики” (выражение Маркса) не умирают, как Буриданов осел, перед проблемой выбора в дурной бесконечности равно безразличных различий, но осуществляют выбор, деяние, восприятие смысла сразу как творческий акт, вытекающий из живого стремления. “Чувства-теоретики” (а от них — и эстетическое, искусство) не есть нечто изысканное, доступное лишь избранным, философам, которые непрерывно сами друг друга упрекают в непоследовательности, а народная, демократическая способность, сразу, непосредственно объединяющая людей, а не расчленяющая и разъединяющая их, как рефлексия, размышление. Размышлять я не могу на людях — нужно самоуглубление, а чувственное приобщение к человечеству, смыслу жизни — симфония, театр, религиозный обряд — требуют присутствия ближних и радостного единения с ними (совершаются в концертном зале, храме и т.д.).

Однако, предваряя дальнейшее, следует сказать, что сама возможность объединения и взаимоперехода интереса и сущности общественного целого и интереса, самосознания индивида через одухотворенную чувственность, через “чувства-теоретики” существует лишь на тех ступенях общества, где оно не связано с природой и индивидом через вражду, где сущность це-

лого не выступает полностью отделившейся от чувственности и интереса индивида и подавляющей их. Когда возникает *отчуждение*, тогда связь индивида с наличным обществом (например, капиталистическим) может быть усвоена лишь в бесчувственных формах отвлеченного мышления. Напротив, чувственно, но не логично, иррационально будет выступать его связь с человечеством, т.е. не *наличным*, данным, а бесконечно развивающимся обществом, его прошлым и будущим. Тогда и возникает потребность в резком различении **наличной** общественной структуры — и общества вообще; между существующим — и сущностью, действительностью. В начале же обществ они не различались: возникшая наличная структура общества — моя община — мыслилась извечной и бесконечной, а интерес и логика общественного целого, его сущность (бог) выступали как сущность природы вообще. Не было тогда (включая древнегреческую философию) столь важного для новейшего мышления различения логики (отвлеченной системы закономерностей общества) и онтологии (закономерностей бытия вообще).

Эта общественная (= природная, бытийная) сущность легко и просто усваивалась в чувственном облике (т.е. происходило то, что с точки зрения позднейших форм сознания будет выглядеть как иррациональное, мистическое) — представляла как *герой* (= персонифицированный коллектив, понятый как данный, конечный), как *бог* (= тот же коллектив и его сущностная сила, но понятый как бесконечный).

В том, что *сущность целого* при становлении общества стала представлять как индивидуальное, все более *человекоподобное* существо (хотя поскольку сущности общества и природы совпадали, то бог неизбежно наделялся мощью природных атрибутов, стихий: перуны, гром, молния, гигантская плоть, Океан и т.д., то есть полностью подобным человеку не мог стать: это был индивид, но продолженный как прямо сущностный), нет ничего мистического. Мы же видели, что *одновременно* начинают вычленяться из аморфного коллектива и индивид, и совокупная общественная сила: одно немыслимо без другого. Естественно поэтому наложение в сознании людей этих процессов друг на друга. Ибо это поистине **один** процесс: лишь начиная все более четко представлять себе силу своего общества — полурабы ли ей поклоняться, свободно ли радоваться и наслаждаться или ужасаться ей, — человек осознает *свое* место, цель, смысл своего

существования, т.е. становится содержательным, *определенным* индивидом. И напротив, когда возникали первые общества, человек наглядно чувствовал, что сила целого (или его давления на него) увеличивается, чем более интенсивно и активно он сам преследует свои интересы. Следовательно, антропоморфный облик представления этой высшей силы есть необходимость.

Но так как уже, в отличие от кочевого состояния, рождается *опосредствование*, различие тела и духа, эта сила не выступает прямо как живая плоть — этот хан, фараон, царь, герой: они лишь причастны к ней, являют ее, посажены ею, действуют от ее имени, по ее заветам, но не тождественны ей. Необходимо поэтому *идеальное* о ней представление. И это отвлеченное от непосредственной чувственности (как и логическое представление), но в то же время чувственно воспринимаемое антропоморфное представление и есть БОГ. Историю структуры первых обществ, соотношения в нем индивида и общества, чувственности и духовности можно прекрасно проследить по развитию представлений о богах: от фетишизма, анимизма через политеизм к монотеизму.

Здесь как в фотографии при процессе проявления: смутно начинают брезжить какие-то линии, очертания, вырисовывается затем какое-то непонятное расплывчатое тело, затем черты крепнут и — о чудо! — человек узнает сам себя. Так это и в ходе развития религий, пока наконец в лице классических божеств греческого Олимпа или богочеловека Христа человек не узнал себя, не увидел зеркало своей красоты и всемогущества.

В этом антропоморфном представлении и чувственном, интимном ощущении высшей общественной силы как существа, как бога выражена, конечно, ограниченность древнего сознания — и в этом смысле разъедающая работа рассудка, освобождавшая человека от бога, была великим шагом вперед. Но высокомерный рассудок проглядел, что процесс высвобождения сущности от человеческого обличья был не чем иным, как отражением “разбожествления” (тогда это равно разобществлению) человека, т.е. изъятию из индивида его прямо общественных качеств. В самом деле, вольно рассудку иронизировать над простодушным и “недалеким” Гомером, которому мало сказать о борьбе рассудка с гневом в сознании Ахилла, но нужно еще привлечь богиню — Афину, чтобы она материнским увещанием остановила героя! Но вдумаясь, разве

не выразилось в этом такое состояние жизни, когда торможение индивидом своих инстинктивных побуждений вызывалось не трезвым, корыстным расчетом или страхом перед безличной и бездушной силой закона, холодным долгом, а живым представлением этой силы — как Человека, и не покорностью, а обретенным внутренним согласием с ним? Ведь когда всеобщая сущность выступает в форме закона, как самоцель, человек и общество начинают забывать, что душой, целью и одухотворяющей силой прогресса является именно становление Человека с большой буквы на путях, с одной стороны, гуманизации общества, а с другой — развития общественного человека. Именно так смотрел марксизм на призвание коммунизма как истинно человеческого общества, где общественные отношения людей будут регулироваться не безличными нормами, законами — не *помимо* людей, само собой, автоматически, — а глубоко вкоренившимся в людей обычаем (не привычкой, ибо она возбуждает представления об автоматизме) общественным образом продолжать энергию своей натуры. Это дело каждый раз осуществляется конкретно. Так, древним людям бог представлялся в виде не всеобщего регулятора лишь для сверки с ним и самоконтроля (как право и закон), но каждый раз слетал для разрешения конкретной ситуации — как здесь Афина (ср. также призывание бога молитвами для конкретной помощи). Ленин писал, что с отмиранием государства при коммунизме люди сами будут улаживать недоразумения, подобно тому как уже теперь толпа цивилизованных людей осаживает хулигана, оскорбляющего женщину.

В древнем представлении смысла и сущности бытия в человеческом облике была не только незрелость, но в мистической форме выразилась действительно необходимая потребность человека и общества видеть себя слитными, свою цель, свой живой (а не корыстный) интерес в другом, стремиться к слиянию с ним. Известно, как страшно были потрясены, оскорблены и глубоко переживали афиняне, когда услышали из уст Анаксагора учение о том, что боги не вмешиваются в человеческие дела, равнодушны к ним. В основе здесь была великая мысль о том, что в решении человек должен опираться на свой разум, волю, мысль, что высвобождало общество и индивида от взаимной опеки, делало их самостоятельнее и крепче. Но в этом таились и великая угроза, и великая печаль. Предчувствие заброшенности, покинутости богами охватило тогда афинян,

и они, по древнему ходу сознания, отождествлявшему мысль, закон — и плоть (как убивали вестника дурной вести или послов вражеской стороны), воскликнули “чур!” и думали, что они освободятся от этой внутри зреющей объективной необходимости, изгнав ее возвестителя — подвергнув остракизму Анаксагора.

Рассудок, расчет как безличный регулятор отношений индивида и общества возникает лишь в эпоху отчуждения, когда индивид и общество настороженно относятся друг к другу, ожидают друг от друга всяких пакостей, видят друг в друге потенциальных врагов.

Вот почему в эпоху революции вновь воскресают такие понятия, как доверие, преданность, верность (т.е. любовь сразу, а не после того как холодный расчет взвесит и выверит баланс пользы для себя), любовь к Родине, — как чувственные формы не соединения, а именно слияния индивида с целым, ощущения его в себе “телом и душой”. Отсюда и явится то давно забытое растворение долга и переливание его в чувство, которое мы видим, например, в песнях первых лет советской власти, с такими с точки зрения рассудка невероятными и алогичными сочетаниями, как:

И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой.

Ведь “неудержимо” можно хотеть, стремиться, лететь (вспомним: свобода, цыгане, птицы, крылатость, — о чем говорили в связи с кочевьем). Здесь выражается начало чувства, что исходит из “я”. “Должны”, напротив, исходит от общества: долженствовать можно “обязательно”, “непреречно”, но “**должны неудержимо**” — это ведь совершенно “нескладно”, “немыслимо”, “невозможно”, “нелепо” — скажет рассудок. Но именно эта нескладица, несогласованность, “иррациональность” и есть лучшее и объективнейшее доказательство того неразличения понятий долга и чувства, общего и личного, которое так характерно для первых лет революции, когда воодушевленно пели:

И все должны мы
Неудержимо...

и никому в голову не приходило, что это “нелогично”. Да, это нелогично, ибо теоретиком в такой ситуации личности и об-

щества, когда они относятся друг к другу как родные, интимно, — выступает не отвлеченный рассудок, а чувство. Или вспомним, как Маяковский писал:

Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!

Класс, т.е. общественная категория, определяется не как идея, а как чувство.

(Январь 1960)

Общее для Европы представление об Индии — “страна чудес”. *Чудо* — то, что сверх меры и рассудка, способности судить своим людским умом. Следовательно, там — как бы сверхчеловеческий ум, зона божеств (все религии — с Востока недаром). Ну да, Вос-ток ведь это восход Солнца, зона перво-причин. Оттуда — начала народов: индо-арийцев, гуннов, болгар, татаро-монголов, тюрков, — сгущается там Бытие, оседает массаами атомов и пускает их катиться против часовой стрелки (= против ритма Времени) — вращения Земли с запада на восток. Все переселения народов — оттуда, против тока Времени, и их призвание: оборачивать историю вспять (что и делали переселенцы: варвары-готы — с античным миром, половцы-печенеги — с Русью, с ней же — татаро-монголы, арабы — с Египтом и Испанией, тюрки — с Византией...)

История — колесо, ее необратимость — это как на одно направление заведена, запущена вращаться планета Земля, если только цивилизация не произведет такой взрыв, в результате отдачи которого Земля обратит вращение свое (иль провиснет без вращения в пространстве, нейтрализуется), а история прекратит течение свое.

Во всяком случае первый признак Востока в глазах Запада — большая причастность к **свету**, солнцу, огню-теплу и большая отсюда исконная *посвященность* в причины и тайны всего сущего, одаренность этим веданием, тогда как человеку Запада подобного знания приходится добиваться усилием, напряжением, трудом, тянуться кверху, противоборствуя более сильной здесь тяге земной. Ну да, житель Востока более причастен

к выси мира (*Вос-ход*). а *За-пад*-а — падению на землю, к стихии земли, к низу мира; и многие низости в истории творятся с Запада, и оттуда распространялись приземляющие оковы повсюду (колонизация и империализм).

Отсюда следует ожидать, что из стихий надземные большую роль здесь играют *воздух, огонь, вода*, тогда как на Западе *земля* — ось и середина, и столько же бытия видится под нею, сколь и над нею. Здесь — разработанные представления о хтонической сфере подземья: Аид, Персефона, Изида-Озирис, зерно — умирающий и воскресающий бог; у Платона в “Федоне” анатомировано нутро Земли; ср. также дифференцированные представления об аде в христианстве, о царстве тьмы и геенне огненной, а в германстве — культ **глубины**, *Tiefe* в душе и мысли.

На Востоке если и есть противостояние света и тьмы, то тьма не крепка, не есть земля и недро (“твердый орешек”), но тоже полувоздушна (Ариман при Ормузде). И в индуизме подземье очень слабо намечено: трудно нам локализовать царство мертвых и его бога Яму. И погребение-то — не в землю зарывание, но сжигание, иль труп — в воды Ганга, иль, как в Тибете, где земля камениста, — грифам, т.е. в воздух, в высь мира или в бок (когда в воду), иль зверям=демонам, пожирающим трупы: ракшасам и якшам — и опять на надземном уровне. В Индии не внедряются в землю, ее глубь не смотрят; и хоть есть там глины золотые и серебряные, но богатства свои предпочитают брать из воды (искатели жемчуга — в волнах моря, в раковинах), а не в разработке недр, куда, напротив, направлено воззрение горняка-германца. И в медицине сопоставим: запрет на анатомирование трупов в Индии и развитие терапии травной и внешнее укалывание на Востоке, т.е. не вскрывая нутра тела, — и развитие анатомии и хирургии на Западе. Но и то верно, что стихия земли в Индии не маняща в недра свои, но отталкивающая: каменисты горы — Тибет, Гималаи, Декан. А если есть там почва плодородная, то ведь не земле она этим обязана, но воде: намыты наносы ила поверх земли могучими реками и прибоем моря.

Итак, непривлекательна земля там (немного и войн за захват земли и противоречий вгрызающейся в низ собственности на землю), не самость она, но от себя самоотрицательна: ввысь взор обращает по линиям гор-хребтов и их рамен. Там ведь высочайшие горы мира и наиболее земля ввысь устремлена, грудью выпячена, а не вогнута, засасывающая любить, как в

равнинах Европы, а тем более — в низинах, у моря отвоеванных, — Фландрии и Нидерландов. Оттого на Западе — частная собственность на землю (атомы-тела людей более плотные, плотнее тут воплощение рассеянного бытия в точки-индивидуумы=неделимые). На Западе, где свило бытие крылья, где пало оно и где основной организующий миф — о грехопадении (а мифа этого ведь нет в Индии), — атому-телу требуется при падении место **под** солнцем, в пространстве, “жизненное”. На Востоке же, где воплощение рассеянного бытия более кипуче и кишаше, где массовидны скопища атомов и нет пустот меж одним телом и другим, там не разглядеть под кишением живых растений и существ земли, и возможна не индивидуальная, но лишь общинная собственность на землю (ср. Маркс о восточно-азиатской общине). В России — “мир”. Правда, здесь простору много, а народу мало, но, хоть и полно места на земле каждому, община тоже складывается — по слабости на Руси вертикальных тяготений и по силе оттягивающих — горизонтальных: в сторону, в “родимую сторонку”. В Индии конфликты меж людей не из-за того, что один взял у другого землю, но из оскорбления наземного, например, коров священных и т.д.

Наука геология сообщает нам, что Мировой океан, воды первоначально покрывали землю. А может, Земля вообще была каплей расплавленной жидкости (какой мы себе представляем Солнце = шар раскаленных паров), в которой по мере остывания поляризовались земля и воздух (атмосфера), а связным меж тремя стихиями был огонь (“Джатаведас” = “знающий существования” — таков эпитет Агни в “Ригведе”). То же сообщает книга Бытия: что “Божий дух носился над водами”; и по Тютчеву, в “Последнем катаклизме”: “... покроют воды, и Божий лик изобразится в них”.

Итак, Земля выступает из вод мирового Океана = проявляется во Времени (как в фотографии в ходе “выдержки”=времени проступают очертания) рельефами своими. И по мере превращения капель¹ в атомы-частицы-песчинки, с одной стороны, и в пузыри воздуха — с другой, на Землю оседали, “высаживались” из просторов рассеянного бытия (= иль на Земле возникали в этих условиях, ибо эти “особенные условия” устроило само бытие в ходе своего раскола) истины-сути-существа-идеи-эйдосы-виды-семена-искры Жизни, огни — словом,

¹ 26.VII.86. Ведущий. Ниже предлагается некая поэтическая космогония.

живые существа всех родов и видов как залогов всеединства расколотого бытия и имеющего быть воссоединения всего и возврата воплощенного в рассеянное бытие. Это — огни и люди-огни, по преимуществу (недаром они начинаются с откраденного Прометеем огня). Их суть и призвание — вгрызаться в землю (= труд, цивилизация) и стремиться ввысь, к идеалу, к духу, к свету, что есть возврат в бытие, но уже зачерпнув из Земли запрятавшееся туда “Черное солнце” (термин манихейства) = сопревший во тьме и без воздуха, под коркой-тюрьмой литосферы, в плену земли огонь: нефть, уголь, энергия атома. До людей то же дело делают растения (чья ткань набухает от света, воздуха и воды и которые суть труба между надземьем и недром = ядром Земли) и животные — разносчики живота=Жизни, уплотнители земли *удобрением*.

Так что и древние предания, что духи-ангелы, грехопад, отяжелев, отвердев, породили людей (= что душа посылается на воплощение в тело), и нынешние мифы о том, что некогда на Землю высадились разумные существа с других планет, прилетов на кораблях-эйдосах-архетипах всякого умения, знания и существования, — варианты одного подсказа бытия.

Этот подсказ дан нам и в **карте** земного шара. Две трети поверхности — океан. Притом Запад — землян, Восток — водян: там Великий, или Тихий, океан; и Солнце, по идее, встает не из земли, а из воды. Земля ж расширяется и проступает к Западу: на Востоке — узкий мыс Японии, потом разрозненные острова и мысы: Чукотка, Камчатка, Курилы, тысячи островов Индонезии, Австралия... Потом стихия земли собирается в кулак и узел гор, плато и равнин: Китай, Русь, Индия. И далее распускается в ширь и ровнь: Европа — Африка, а меж ними лишь рудимент Океана — щель Средиземного моря, т.е. вода **среди земель**, а не как было на Востоке: земли среди вездесущей воды. И моря здесь недаром так земельно-каменно именуются: Черное море (от тьмы, а не свето-воздуха), Мраморное, Мертвое, Красное (=крово-ржавое, ибо кровь = огневода, как и окисление = сгорание, металла), тогда как на Востоке воды — это Желтое море, Тихий (=самодостаточный, благой, ибо Великий, уверенный в себе) Океан.

Однако признаюсь, что во всем этом рассуждении я вчувствовался и проникся эллинским воззрением, по которому в начале — вода (Фалес). И Платон многократно исходит из мифов о потопах, о гибелях и циклах цивилизаций, о затонувшем материке Атлантида (в “Тимее”), о началах обществ на

вершинах гор (в “Законах”): “Избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые искры (=люди-огни — Г.Г.) человеческого рода, спасшиеся на вершинах” (“Законы”, 677В). И Страбон развивает это эллинское толкование происхождения стран и народов и государств: “По предположению Платона, после потопа возникли 3 формы цивилизованной жизни: первая — на вершинах гор, примитивная и дикая, так как люди испытывали страх перед водами, которые еще держались как раз на поверхности равнин; вторая развилась по склонам гор, так как люди уже постепенно стали набираться храбрости, потому что равнины стали высыхать (таким образом, *храбрость* и от большей **сухости** человека, который более воспламенен, тогда как *страх* = **сырость**, большая причастность воде — плач, слезы от страха, — нежели огню: страх гнетет, и душа по артериям, как капля, загоняется в пятки, туда втесняется. — Г.Г.); третья образовалась на равнинах. Можно, пожалуй, говорить равным образом и о четвертой, пятой формах и даже больше; последняя же форма цивилизации возникла на морском побережье и на островах, после того как люди совершенно избавились от подобного рода страха. (Ну, здесь Страбон явно как высший образ человеческого бытия трактует свой родной эллинский космос, который и есть острова среди моря = самостоятельные, крепкие индивиды-атомы в пустотах бытия. — Г.Г.). Действительно, большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет, по-видимому, предполагать также некоторые различия ступеней цивилизации и нравов, так же как и доблести и дикости, которые до некоторой степени составляют уже переход к культурной жизни на второй ступени”. (*Страбон*. География. Кн. XIII, 1, 25).

Историк склонен эти различия расположить по времени и назвать словами: “лучше — хуже”, “культура — варварство”. Помещая добро в прогресс, а зло — назад. Однако, с точки зрения бытия и его измерений (истина, святость — грех, совесть), в отличие от ценностей уровня жизни и человечества (правда, добро — зло, стыд), ни один Космо-Логос не оставлен бытием, и “ниже” здесь (по склону гор) не значит “хуже”, а просто так данному народу заповедано: здесь стоять! сей именно необходимый бытию форпост удерживать и стадию воплощения рассеянного бытия (иль уже рассеяния воплощенного) собою осуществлять. С этой поправкой на оценку — а точнее, на бесценность — можно и принять Страбона, по которому цивили-

зация распространяется сверху вниз: “Совершавшиеся тогда такие переселения в нижележащие местности, по моему мнению, указывают также на различные ступени образа жизни и цивилизации” (там же).

Осаждение народов на землю — как осадочных пород (ибо, как вода, оседающая, наносит ил, частицы песка, так и твари оседают на земле из рассеянного бытия в ходе его воплощения: народы = наносы, пласты, слои) — идет слоями вниз = с Востока на Запад. Это сохранено нам в преданиях о смене веков и поколений людей (см., в частности, “Работы и дни” Гесиода). Первыми осели самые вышние, горные народы, приближенные к Солнцу=золоту (недаром и географам бытийственная интуиция подсказала обозначать горы золотым — желто-коричневым — цветом): то **золотой век** и поколение людей. Соответствует ли этому периоду осадок нынешней желтой расы или она вторична — судить не берусь, однако священность желтого цвета (цвета золота) в Китае и Агниогня в Индии на их связь с этим слоем указывает. Местонахождение золота на Земле (= представителя Солнца из семи металлов, в зоне недр = черного солнца) — тоже преимущественно Восток: Колыма, Лена, Аляска и средняя, зенитная полоса, приближенная к Солнцу: экватор, тропики (Атласские горы или Юг Африки); **цветные металлы**, как и народы, — в приэкваторной зоне и в поясе тропиков и субтропиков — до среднего: в полосе средиземноморской и в *Средней Азии*: медь — Балхаш и т.д...

Следующий век, и поколение, и слой — **серебряный**: бледнолицые, цвет Луны и Ночи; цвет света, воз-духа и снега = истины-белизны. Таковы индо-арийцы, расы Европы и России. Переходные — бронзовый и медный век: инки, майя, семиты (творцы архекультур), эллины-римляне, отчасти романские народы — смуглолицые. Белые ж = выцветшие: свет их — от тьмы и ночи кругом: бледность. И их упование — низ мира (и тепло им оттуда: огонь черного солнца, добываемый огнем: трение железа о камень — искра!), а там — **железо** (“железный век” им осуществлять?). Недаром страны *Запада* славны железом (и углем): Рур — Эльзас, Англия — им оно больше всего нужно. “Золотым” же народам (в частности — Индии) не нужно железа, и нет там его залежей.

По Платону, у первых народов, осевших после потопа на вершинах, не было надобности в железе: “Железо, медь и все руды слились вместе и стали скрытыми, так что было очень

затруднительно их извлекать... И вот в те времена совершенно исчезли во многих местах междоусобия и войны. (Законы, 678Д-679А.) Миролюбие послепотопных народов Платон объясняет также их малочисленностью и изолированностью: “Ввиду своей малочисленности люди с удовольствием взирали друг на друга в те времена” (679С), что есть типично эллинский взгляд, видящий в мире атомы (и социальные) и пустоту (Демокрит). В Индии ж и миролюбие — при кишмя кишении людском. А между прочим, отсчет циклов цивилизации по *воде*, потопам, что находим у Платона и Страбона, типичен для мировоззрения средиземноморских народов: эллины, иудеи... Германцы же рассуждают по *огню* и усматривают циклы мировых пожаров: гибель богов в “Эдде” и у Вагнера — пожар Валгаллы; “**Закат Европы**” Шпенглера — тоже сгорание огня-света...

И то еще характерно, что для Индии тепло с верха мира, от солнца падает лучом, а для германцев тепло и жизнь — из низа мира: вздымаются огнем, пламенем очага, который питают уголь (=недро, глубина, черное солнце) и дерево = застывший язык пламени снизу вверх. Так что северные народы, когда им жарко, как бы на сковородке поджариваются, в “геенне огненной” снизу кипят, а южные народы испепеляются “гневом Божиим” сверху. Огонь на Севере как бы передоверен Богом чорту.

Свет и тепло даны в Индии — из просторов. В Германии ж — снизу и из точки: из искры-свечи в ширь и стороны; так же и в духе: от “Я” во вне, из Innere: свет от “Я” сознания возжигает мир, субъект тут полагает объект (ср. априоризм и трансцендентальное Канта, Идея Гегеля, Труд, производящий все, Маркса). Свет в Индии обволакивает человека из пространств. В Германии ж от человека, его очага, Haus'a и Burg'a = “жизненного пространства” распространяется в якобы (ими предполагаемое) “мертвое” пространство... И Drang nach Osten¹ предпринимается, чтобы оживить его (Восток) будто и упорядочить.

Вообще, если движение с Востока на Запад — это оседание слоев и **переселение** народов, кочевье, то движение с Запада на Восток — это **поход** (Александра Македонского, крестовые, Ермака в Сибирь, тевтонов в Литву). Поход — сбитый клин, римская фаланга (как у скорпиона), “свинья”-рыло-рало-плуг,

¹ Стремление на Восток (нем.).

французский строй и маневр. Все это — способ с малым занять великое, распространиться (=возжение искры)... Переселение ж народов — это как стекают ручьи в узкую линию реки и оседают: из бассейна мировых **пространств** — на **место**: на ту или иную землю стекаются и густеют там...

При Евразии — два симметричных острова-государства: Япония и Англия. И Япония — как пролог, а Англия — как эпилог сказа Евразии, ее драмы и истории; и накопления идей там собираются и содержатся в терпимости. Англия = консервы Евразии.

(2 ноября 1968 г.)

(На подступах к нему)

КЕНТАВР: КОЧЕВНИК НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕ

27.XI.76. Итак, начинаю “исламское” свое путешествие. И удачно это выходит у меня, что пускаюсь я в него после американского¹: антиподны космоса! Абсолютно! Да и точка зрения на этот ареал у меня необычная получится: на этот мир смотрели обычно из Европы, России, свой с ним сравнивая. А я вдруг, сделав модуляцию-девиацию в “тот свет”, “Новый”, — оттуда начинаю разглядывать мир среднеазиатский и его реалии и идеалии. Ну а европейские путешествия у меня уж в загашнике, впечатления от них: раньше уже “съездил”-описал. Так что набор точек зрения и возможных ракурсов на исламский мир у меня богат. Скуден лишь запас сведений-знаний об реальности этой, мне новой. Но так, впрочем, всегда с тобой бывало и в предыдущих путешествиях: сведения налипали по ходу движения. Да и не в том дело-задача твоя, чтоб их много было, но чтоб промедитировать каждое...

Да и в жизненно-человеческом моем плане, по ритму жизни моей очень к месту будет сейчас это путешествие-медитация над исламским регионом: слишком я задействовал деловито в последние месяцы, -ургийно² жил, на потребу социума работал, а не неге умозрения предавался: все утверждаться-пробиваться по-американски норовил, чтоб всяко лыко обяза-

¹ В 1975 и 1976 гг. я писал “Американский образ мира”. — **23.II.87.**

² В моей системе категорий “-ургия” (от греч. суффикса действия *ourgos*) — делание, сотворение, то, что возникает через труд; “-гопия” (от греч. *gonc*, откуда “ген” и “генезис”) — рожание, то, что возникает природным путем. — *Г.Г.*

тельно в строку — в печать и на пользу, а теперь позволю себе умозрительный кейф и транс, и расслабление (от презумпции социального самоутверждения), и приятнейший труд мой любимый — умозрения, которое есть, конечно, чувственная нега в мышлении — изо всех его видов-то; не сравнить же его по жесткой трудности с чистой логикой иль наукой-научением (хотя в последнем занятии есть кейф любопытства: путешествия в диковинные предметы).

Да и недаром — понял сейчас! — к этой теме прильнул я: “турок” ведь я, “не казак”: корни-то болгарские с турецкими там, небось, за века ига-то попере мешались! — так что дам я в этом путешествии ход и самопознанию — тоже приятное и полезное дело: себя любить-расковыривать, что там во мне заложено. Еще Петър Гачев, мой дядя покойный, говорил: “Мюсюлмане, сме, нали?”¹ — когда с двоеженством моим столкнулся, да и свое припомнил.

С другой стороны, и иудейские мои корни (моя мать — еврейка — **23.П.87**) неподалеку от арабов: семиты и те и те, и арабы себя от Измаила — сына Авраама от Агари — производят. Значит, в этом труде моем Исаак будет опознавать своего брата — Измаила; по отцу (небу, верху) одинаковы, разны лишь по утробам матерей (низ, земля разная): Исаак — от старухи Сарры (ведьмы, за древностию лет), зато столь многоумный еврейский народ, а Измаил — от молоденькой служанки Агари, с кем в неге страсти возлежал Авраам, так что склонение в сторону чувственных наслаждений в этом ареале и народе понятно: сам Бог так тут велел. Да и то, что от рабыни произошел этнос этот, предопределило отношение к труду и человеку: труд здесь не больно любим, а наказание — его бы на кого взвалить, обратив уже другого в раба; рабский статус бытия здесь хорошо знают — господство и подчинение. Потому к завоеваниям склонны: чтоб не самим рабами быть, а других во ярем вогнать; это и арабы, и турки, и монголы так поочередно на -ургийные народы Египта, Персии, Европы, России (земледельческие и ремесленные) нападали-покоряли. Но внутри воинства победителей психика вполне рабья: абсолютное подчинение и — безнравственность: вдруг предательство, свержение прежнего владыки, отсутствие братски-вассальной верности (что у европейских рыцарей-баронов, которые исходно равны и свободны, а не рабы). У персов, правда, “Шахнаме”,

¹ “Мусульмане мы, не правда ли?” (болг).

Рустам — есть рыцарственно-возвышенные отношения, но тут особь статья: индоарийство, влияние-близость Индии, да и сами духовную религию света — зороастрийцы! — исповедуют. Нет там у Бога эпитета: “Господь”, — а он исходный для ислама, — который значит опять же “покорность”.

Бог ислама носит имя: “Господь в день судный”¹. Значит, власть и суд, власть сейчас и суд потом — за то, что сейчас не доведаль господин, — вот с чем живет мусульманин в душе. Недаром халиф (“заместитель Божьего посланника” — *Vinper*. С. 89) и кадия=судья — важнейшие фигуры социально-“гражданственной” (ибо какая уж тут гражданская жизнь, в мире рабства, возможна!) жизни ислама.

Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу он сам не возьмется охотой;
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.

(Гомер. *Одиссея*. Песнь XVII)

Таково эллинское и затем западноевропейское и американское воззрение на рабство, оттого его и крепостничество здесь быстро отменили и перешли к вольнонаемной ургии: труд здесь любят, и безработица — главное несчастье: не знают иначе, на что время употребить, а лишь бы все им трудиться. Это в них заквас земледельческого состояния, в котором труд сладок на поле, в лесу и окупаются сторицей, где можно каждой личности себя продолжить-зарыть при жизни в землю, через собственность на нее, так что земля выступает продолжением “я”, моим alter ego².

И недаром, когда люди этого типа переселились на новые земли в Новый Свет, они не поработили индейцев, чтоб те на них работали, но истребили, чтоб работать самим: дорвались до ургии безграничной и никому ее не отдадут.

Иное в странах ислама: его субъекты — народы-кочевники, а не земледельцы. Трудиться на земле не любят, не привыкли сами: за них трудится-пасется скот, и труд его — в еде, а не в производстве чего. Опора тут и модель-образец — не растение, а животное, так что не земля, а надземие, не вертикаль, но горизонталь-плоскость, по которой снуют, по нагорьям-поскогорьям срединного пояса Азии, здесь многозначительна.

¹ *Vinper* Р.Ю. История средних веков. М.: Изд. МГУ, 1947. С. 87.

² Другое я (*лат.*).

Как привыкли они верхом на животных существовать, так и оседлывают народы-земледельцы, завоевывая их, мирных-травоядных, — и потом существуют, точнее, сосуществуют с ними в качестве второго их этажа, составляя сословие господ-начальников, восседающее верхом на земледельцах-ремесленниках, как ранее на своих конях и овцах. Так что здесь воинские доблести чтутся (они же презираются в американском космосе -ургии, однородном, а не двухэтажном, каков космос среднеазиатский). Ну да, кочевники (бедуины, турки, монголы-татаро... и пр.) потом, завоевав земледельческий тот или иной народ, трудягу-конягу, образуют над ним воинское сословие, армию, чтоб и им повелевать, и во вне оборонять: чтобы никто иной не мог этот народ под ним грабить, опричь их, его “защитников” = господ-воинов.

Итак, земледельчество, при котором все люди распластаны по плоскости земли, в нее врубаясь, одноуровнево все бытуя, приучает к идее-принципу *равенства* и однородности всех и самостоятельности личности, как древо и растение. Кочевник же не самостоит, а лежит на коне, зависим, раб коня — того, кем он повелевает; так что психика господина — исходно рабская: покорность и зависимость = “ислам”. А психика равнины земледельческой — равенство вертикально на ней расположившихся и трудящихся: никто никому не господин и не раб. Так это в лесу и на поле: хоть ты сосна, а я травка, но мы все одну матку сосем: мать сыру-землю, прямое отношение к ее любви и подаянию имеем; и чувство собственного достоинства оттого у каждого здесь есть: оно снизу питается.

Не то у кочевника: в нем исходно чувство зависимости — от скотины своей хотя бы, и нужно обязательно “быть на коне” = господином, верховым: отделенным от земли, но... — приближенным, значит, к небу! Оттого тут науки астрономические развились: к небосводу, а не к земле чувствует тут большую близость человек.

Но и сходство есть у Космоса Ислама с американским: переселенчество, кочевье. Ведь и американцы = пришельцы на земле “своей”, завоеванной. Но они себе ее завоевали для труда самим, а эти — для вечного себе кейфа, блаженства ничегонеделанья, для чувственной неги телесной или духовной, ибо поэзия и науки там созерцательные-небесные — это нега духа, а не мученичество искания Абсолюта, как это в науке Запада, где “для звуков” иль для стяжания истины “высокая страсть” побуждает “жизни не щадить”.

Здесь разработана **культура блаженства**, которой не знает Запад, трудящийся вечно, где даже богач не блаженствует, но озабочен, тревожен еще более себе натрудить потенциал на предпринимательство обширнейшее. “Жадность фрайера губит” — как точно эта блатная поговорка западный принцип уличает: ведь тут недаром “фрайер”, т.е. “фрай” = “свободный” + “херр” = “господин” — принцип западного человека: быть сам себе господин, “фон барон” (Freiherg = барон, по-немецки). В исламе человек — господин не себе, но обязательно другому, хоть одному, хотя бы жене и домочадцам; для того здесь женщина принципиально унижена, чтобы самому последнему мужчине=“человеку” еще было бы над кем восседать-величаться. В земледельческих же космосах женщина-мать, как представительница Великой Матери(и)-Земли, = богиня, повелительница, Богородица. Недаром нет этой религиозной идеи в исламе: “**Богорождения**” и Богоматери(и), как это в христианстве = крестьянстве — земледельческой религии умирающего и воскресающего Бога = зерна.

Так что и вот еще сходство с американизмом: неуважение к -гонии = рождению, женщине-матери. Но если в американстве -гония принесена в жертву -ургии, то здесь что же? — Как “что”? А как раз принцип повелевания: *-кратия*=властвование, по-гречески, (все)держание (откуда тут: самодержцы-цари-султаны-салтаны). Не труд, но *власть* — источник богатства, которое выпадает как бы с неба по уделу Аллаха. Тут жми — и выжметя, как сок из граната = фрукта богатой плодородящей природы земледельцев окрестных; и из граната будет драгоценный камень — рубин или еще что... Да, они тут сочетаются: *плоды и камни драгоценные*, как и кочевые жители бесплодных плоскогорий — с роскошнейшими долинами рек и оазисов, где все растет избыточно. Преизобильна дарами природа тут — Индия: долины Ганга и Инда, Китай (для монголов): долины Янцзы и Хуанхэ; Месопотамия: долины меж Тигром и Евфратом, где Эдем помещали; долины Дуная, куда болгары и гунны-венгры — тоже кочевники первоначально, из Средней Азии нахлынувшие; долина Нила, Египет — первая добыча арабов-бедуинов и т.д.

Так что добыли мы в этом рассуждении-пробеге важный принцип космообразования здесь: Космос Ислама не есть космос только плоскогорий и бесплодных пустынь-степей Сред-

ней Азии, откуда периодическими извержениями скатывались лавы народов кочевых (арабы-бедуины, турки, монголы-татары), но в равной степени и преизобильнейшим плодородием, естественным и земледельческим долин-равнин по великим рекам, скатывавшимся с этих гор-платогорий еще до кочевых народов — как бы их предвестниками-“предтечами” — буквально: ведь реки текут... Так что будущие народы-кочевники-повелители как бы забросили поперек себя с гор своих реки великие — как бразды-вожжи для повелевания покорно осевшими там, стекшимися народами.

У земледельческих народов по этим великим рекам еще до ислама сложились великие цивилизации: Египет, Вавилон, Индия, Китай. Основообразовалищем их космосов были реки. И у кочевых племен, по горам-платогориям блуждавшим, были свои космоса и верования (они у тюрков и степняков: казахов, половцев — “культура Поля”, как ее Олжас Сулейменов называет, прослежена быть может): они идолов своих свозили в Каабу в Мекку, например, и их потом, числом в 300, Магомет всех выселил. Но специфика Космоса Ислама в том, что только совместная встреча-симбиоз и биоценоз кочевников с плоскогорий и земледельцев с плодороднейших долин великих рек и образует природную платформу для Космоса Ислама; только при этой взаимной друг на друга ориентированности кочевников и земледельцев мир Ислама образуем, субстанцию свою имеет. Ибо по отдельности у каждого народа-страны свой космос есть и описан быть может. Шутка ли: персы, зороастрийцы иль Египет — с такой культурной традицией — великие цивилизации прежние и самости культурные вошли в ислам! Ясно, что каждая будет преобразовывать Космос Ислама и гнуть в свою сторону, в своем поле изгибать; но все равно, пока есть взаимное друг друга удержание-объятие нагорий и долин (выразившееся в общей государственности из кочевников бывших и земледельцев) вокруг пояса плоскогорий, до тех пор есть и описуем Космос Ислама: это есть природно-культурное образование над народами-странами — тоже некая верховность и кентавризм кочевников верхом на земледельцах. “Имя арабов сделалось названием не племени, а веры и культуры”¹, т.е. “надстроечно” на космосах народов-стран, влившихся в ислам.

¹ Вунпер Р.Ю. История средних веков. М.: Изд. МГУ, 1947. С. 103.

О, это фундаментальное соображение: обретена субстанция Космоса Ислама! Она не горна, она не долинно-земледельческа, но совместна, так что не могу я, например, утверждать, что тут нет модели Мирового древа и Растения (которые типичны для народов-земледельцев), но модель Животного преобладает, — как я ранее собирался полагать, — но придется все время эту совместность иметь в виду. И в Коране недаром рай видится как сады, **внизу** которых реки струятся: это образ плоскогорий, окаймленных долинами рек.

ГЕНИЙ НАСЛАЖДЕНИЯ

29.XI.76. Итак, ислам — кентавр всячески: человек — на коне, кочевник — на земледельце, мужчина — на женщине, господин — на рабе. Нет прямого отношения к земле. Приближен к небу мусульманин. Небо же — чистая книга с письменами звезд ясными: там скрижали, Коран предвечный, несотворенный. Оттуда и Судьба спускается как удел. Астрология, гороскопы, звездочеты, фатализм — это все от ясного неба: в мутных небесах Европы Предопределения на небе не прочтешь. А где ж его тогда искать? В сердце, в “я”, в личности, характере и воле: чего хочешь — то и есть твоя судьба.

Вообще *фатализм* — идея тропиков и субтропиков, средиземноморства: Испания, где католицизм с мавританством столкнулся; Рим — Италия, Франция с ее дуализмом Предопределения и Свободы воли; Эллада — с роком, Ананке... Это все космоса с ясным небом, где волю высшую читать можно. А севернее, в германо-славянских странах, Предопределения не знают с неба, но лишь снизу, из Матери-Земли, как у древа-растения; и прорастание “я” и природы человека и есть его не “пред”, а *самоопределение*: всяк своего счастья кузнец — ургийно, по-мастеровому, удел изготавливается. И именно Мать-Земля снизу наводит-направляет: как растение — расти, так и человека-сына = свое щупальце на Небо — эдипово свергнуть Отца. Да: воля и характер в человеке — это дар низа, близкодействия Антеева, способность противиться отцовым письмам Неба, которые к тому же и не видны, скрыты, тайны. Другое дело — в Космосе Ислама, где небо вечно ясно и все про себя там прочитать можно — сумей только! Оттого и наука, и мысль здесь не к низу прикованы (к технике-ургии, как в Европе: наощупь-опытно познавать, продвигаться декартово

шаг за шагом в невидали бытия), но умозрены они, возвышенно-небесны, а не прагматичны.

Итак, небо распространено над нами как книга вечного суда, и Аллах = Господь в День Судный. Бог — прежде всего Судия; грозный иль милостивый — это вторично. В христианстве же Он еще и Отец; этого атрибута Аллах не имеет. Его атрибуты — Господь, Судия, Творец: Он все сотворил — и нам ничего не оставил добавлять к бытию. А ведь это призванность к сотворчеству с Богом — важнейшее в самоощущении западного человека, чем и оправдывается его бурно-ургийная деятельность в мире. Бог христианства, будучи еще и Отцом, уменьшен в качестве Творца и оставляет-предоставляет творчество Сыну = человечеству, роду людскому, который свободнее в своих путях; раз сам Бог так унижен и очеловечен: отцом стал, до -гонии опустился материнской, — то в этом и Сын его в принципе превзойти может, ибо тоже отцом в свой черед ему становится и, значит, в этом деле отца эдипово свергать...

Бог ислама более сух и жесток: не родитель Он.

Но продолжим важную рефлексю из ислама на западного человека. В исламе у человека нет “я” и личности, и свободы воли, и тенденции пробиваться сквозь жизнь, самому строить свою судьбу. “Ведь уделы распространены на всех, и каждому достанется то, что назначено ему. Ты не терзайся особенно из-за удела, он от стараний не умножится. Ведь сказано: живи усердием, а не усилиями”¹. А ведь усилие, Сила — важнейшее понятие западной цивилизации: и в механике Ньютона она все к уравнениям сил приводит. Сила, стремление, деятельный индивидуализм, самореализация, зависящая от меня...

Но это все — *воля*, одна составная “я”. Вторая же — *личность*; она, по-русски-то, — светова (“лик”, лицо — верхне-небесны они). Лик = раскрытость и обращенность: к переду и к небу. Воля же — темна, душа — потемки, низова, скрыта, как чрево материнское Земли недр. Личность в исламе на всех одна: Аллах и Мухаммад = пророк-Слово-речь-язык Его. Аллах = небо, Мухаммад = Коран, перевод языка неба на человеческий. Это и нельзя назвать “откровением”, ибо небо тут — открытая вечно книга; то туманным космосам Европы Слово Божье представляется “откровением” (“религия откровения” — термины и Шеллинга, и Гегеля).

¹ “Кабус-намс”. М., 1958. С. 62—63.

Итак, воля — материнска, личность — небесна, отцовска. Но в западноевропейских языках личность — “персона”, от *per se* (лат.) = через себя, посредством себя, т.е. нутряна-недряна она, а не раскрыто-небесна, так что и “личность” здесь тоже материнска, как и “воля”. Все это — от маловидности небес-светил и от многоглагольности всяческой Земли в среднем космосе Европы, где земля рыхла и шумом лесов разговорчива с человеком и реками-озерами, морями-океанами... В Космосе же Ислама земля — твердыня камня, тупа и молчалива: ни лесов, ни вод; даже плодородие долин по великим рекам не Земли рождение, но с гор, с Неба стекает, как и ливни зимние, что плодородят центральные плато и пустыни.

Так это видится кочевниками. Но не так — жителями речных цивилизаций (Египет, Вавилон, Хорезм): тут культ Великой Матери(и) — Кибелы, Астарты, Изиды и т.п. Арабские же завоевания молниеносно пронесли над ними всеми и соединили их = покрыли шатром одним: дали им всего одно небо (развернули его, как штандарт), усилили его значимость — за счет умаления Матери-Земли. И тут кентавр: Небо верхом на Земле. Естественно (именно!), что человек здесь себя более верховным, небесным чувствует, нежели сыном земли, праха, и очевиднее ему его последующая загробная жизнь в горнем мире, тем более что тут и зарывать-хоронить некуда — в каменную-то землю: отвергает она от себя существа — тоже вверх. Недаром тут трупы на расклевывание птицам оставляют (в Иране, в Тибете): в небо его опять же прибирают тем. Или пеплом над рекой (Гангом) развеивают.

И в этом — в неземности, надземности — сходство цивилизации ислама с американской: та тоже надвинулась-опустилась на новые себе земли и растет как бы сверху, не чуя с землей сопричастия, не понимая ее Матерью-Природиной. Горизонтально подвижны люди и там, и сям: арабы — на лошадях, американцы — на автомашинах. Вертикально не врастают и понятию “корней” чужды. Но американцы чувствуют себя сотворцами Бога-неба на земле, исполняются сверху электрической энергией на -ургию-индустрию. Небесность же человека ислама в том, что он так же почивает на земле, как и небо — вечно ясное и покойное, чистое, не взволнованное: кейфует, как и Аллах. Вот: если для германца и англосакса его уподобление Богу своему выражается в усилии деятельности, то здесь покой и чувственное наслаждение наличным бытием и есть форма богоповедения. Потому именно здесь обитают гении

наслаждения, в котором они столь же изобретательны, как американцы — в труде и технике. Устремления — противоположны; и американцы — совершенные варвары, бездарные, с точки зрения человека ислама, ибо не знают божественного ничегонеделанья, но торопятся заполнить, занять время (“бизнес”=“занятие”) кишением усилий ураганно-земных, затемняющих истину-негу покоя неба, чему должен уподобляться человек.

Индустрия, промышленность, Промысел, что изнутри ведет человека чрез предприимчивость его, опекает его рядом с ним, как нянька или родитель, — чуждо это исламу: Аллах — не нянька, и нет у него промысла о каждом, но ясный ему *удел*, что есть внешняя, а не внутренняя участь, и пишется письменами пространства на небе, а не письменами времени в душе-характере индивида. Да и небо для европейца читается как Время и соотносится со стуком сердца; тут же Время неважно, оно застыло в Пространстве — как Вечность. Время — пространственно тут, есть (пред)вечность.

Потому не торопятся тут и не считают, что деньги = это время: не произведут тут такого уравнения. Время совершенно не ценится: всякая скорость изготовления — разве что в сказках, когда джинн за ночь выстраивает дворец, или про ковер-самолет... А в труде тут или лень, или искусство филигранное, со временем не считающееся: дамасская сталь и резное оружие, персидские ковры и т.п.

Ну да, американцы опускаются на землю, которая для них *tabula rasa*¹, пуста, есть платформа и ожидание их цивилизующей деятельности. Эти же, арабы, нашествуют-опускаются на все готовое, на цветущие до и без них цивилизации, с тем чтобы их всесвязывать сверху и по горизонтали: торговля, как и война, — основное занятие араба: тоже ведь виды кочевья. Их призвание — не усиливать производительность, и так тут избыточную, природы-земли, но умерять-расхищать-опустошать-очищать, чтоб возможность новых рождений и плодородий тут осуществляться могла все время и затем. Потому и права им, кочевникам, от бытия были даны на истребительную жестокость и разорение цветущих культур-стран.

...Так что чувственное наслаждение тут есть не неизменное, а именно горнее дело, небесное; и недаром мусульманский рай исполнен чувственной неги и сладострастия: кейф, игры, раз-

¹ Чистый лист (*лат.*).

влечения, сказки-загадки — изобретательность в наслаждении бытием, вкушении бытия, в разнообразии блаженств, а не потреблений и услуг, что сопряжено с трудом-производством. Блаженство же — с ленью и негой неба на земле.

...А пока и мы закейфуем! Что изнурять себя по-американски, осмысляя космос неги? Вот весть неприятная настигла меня по телефону (= взломщику в доме), но ее отвергнем и запьем омар-хайямовым вином. А потом расслабляться будем: сказки восточные читать станем...

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ

30.XI.76. Ну, продолжим нашу дедукцию Космоса Ислама. Правда, сам метод выведения и последовательного развития мысли из единого **зерна**-принципа — растителен и ургийен, присущ германству, и в этом космосе должен быть противопозитивен. Или образ **реки** тут подходит, что из родника, как Волга, начинается, а потом набухает, развертывается, распространяется? Но река ведь есть **древо** плашмя, распростертое: та же структура. Но ни река, ни древо не есть модель природная для бытия и мышления в Космосе Ислама: они боковинны тут, обочинны, ибо именно окаймляют его великие реки, но в сердце в нем — **камень**, так что Космос Ислама — это камень в оправе, агат-камея, что так любили коллекционировать французские и английские эстеты. И именно французский жанр “отрывочных мыслей”, когда называются гирлянды афоризмов, *mots*¹ и *максим*, как ожерелье, — сродни тутошнему методу мышления, а не эллински-германская диалектика. Недаром и из античной философии клюнули здесь на сборную солянку Аристотеля, с его набором отрывочно-диковинных сведений и понятий, сию кунсткамеру и “диван” философии, а не на стройно-симфоническое развитие мысли Платона. Да и Аристотель недаром с Александром = Искендером восточных легенд связан: как тот внял-обнял Восток с его множественностью стран и чудес, так и философ Александра завален оказался множественностью идей=вещей.

Однако именно по канве неприсущего здесь способа мышления и развития мысли, и проступит лучше собственный узор-арабески здешнего Космо-Психо-Логоса.

¹ Mot — изречение, словцо (франц.)

Вот Космос Ислама, природное ему задание, лицо земли, какое она приняла здесь: “Во всю ширину, от Великого океана до Атлантического, протянулась, с некоторыми только перерывами, длинная полоса песчаных и каменистых пустынь, где нет дождей, а есть только редкие ливни...”¹ Тоже ведь притча природная: **дождь** и **ливень**. Мы, средневропейские, знаем поэзию дождей, от гроз до морозящего мелкого дождичка, что *думу* наводит, в *тоску-скуку* вгоняет, — все эти смутные-смурные чувствования и мысли, следа которых не заметил я доселе в исламской культуре. Ну да, то явления Психо-Логоса в Космосе, преизобильном посредничающими стихиями: водой и воздухом, что размывают определенности четких мыслей и чувств, как и очертания предметов и силуэты их. А тут-то — космос рельефности: все высечено и гравировано по камню, что тебе лица людей здесь, что мысли их и “бейты” (двустихия) поэзии. Из космоса изгнаны стихии-посредники *вода* и *воздух*, но образуем он четкостью Двоицы: небо, с его четкостью письмен — звезд по сини ночного покрывала, и земля-камень, с сумбуром гор и песков, лишенных логосного смысла. И это тоже важно: если для собственно тюркской, кочевой культуры горы — многосказуемы, божества (для киргизов, казахов, памирцев и т.п.), то для арабов-бедуинов, жителей равнинных плоскогорий, пики гор — не божества, не знают они их; и вообще земля, ее виды и варианты, — малосмысленны. А весь Логос обитает на небе. А сколько себе моделей-образов-парадигм обрел европейский Дух из земли, ее обоготворяя как Мать, холя-лаская ее формы! Еще для индусов, для зороастрийцев-иранцев горы смыслообразующи...

Но вернемся к ливню и дождю. Дождик — свой, родимый, любимый, детский, родненький, о нем прибауточки: “Дождик, дождик, перестань...” Дождик нам подлинно — свой брат. Не то — *ливень*: он есть сверхчеловеческое явление, насыл-наваждение — то ли Божьей силы дар, то ли драконо-демонской. Он — из чуд² природы, а не из ее, по человеку, свойскостей. Да и вообще тут космос чудес=безмерностей: то смертельное бесплодие пустынь выжженных, то сумасшедше-взбесившееся плодородие лессовых почв по великим рекам. И птицы тут диковинные (симург, феникс, попугай), и звери-животные, и деревья (и наш Пушкин на “анчар” здешний поза-

¹ *Bunper*. Указ. соч. С. 80.

² Не “чудес” — неологизм образуем: как у “при-чуд”.

рился диковинный). Вот тебе и предметы для духа и размышлений: *чудеса*, а не *норма* вещей и *мера* человека, чем занят средневропейский дух: познание самого себя и что нужно человеку, мне. Это же не составляет заботы в Космосе Ислама, где самому человеку неча ерепениться: все уделы распределены Аллахом; и не изготовлять вещи и жизни — не на это устремлять дух-ум, а на созерцание готовенького — то ли даром Бога, то ли трудом земледельцев повоенных. Так что исламские мыслители — либо о Едином вечном, либо о чудесах-диковинках промышляют, но не о мере человека, его личности, и не о мере вещей. Протагорова формула, съединяющая обе эти идеи в один узел: “человек есть мера всех вещей”, — там невозможна. Все тут без человеческой меры. И техника здесь направлена не на изучение устройства вещей для их изготовления, но на небо: тут техника астрономии развилась, счисление судеб=предначертаний человеку, т.е. то, что извне его определяет его жизнь, но не характер его и психика тут в предмете интереса. И в литературе — *случаи* разные сказываются, а даже не *происшествия* с человеком: случай с неба сваливается, как ливень, а *происшествие* все-таки *исходит*, из некоторой нутри *вытекает*, т.е. предполагает внутренний смысл, изнутри присущий, в событиях, а не извне распределенный, выгравированный судьбами по камням людей и вещей.

Но продолжим вникать в скрижали Земли в здешнем Космосе. Значит, каменистые и песчаные пустыни, где нет дождей, но ливни редкие. “На одном конце этой полосы Гоби, на другом Сахара, между ними пустыни Средней Азии, Ирана и Аравии, прерываемые узкими морскими заливами, речными долинами и оазисами. Среди пустынь и вдоль них **каймай** расположены травянистые степи¹.”

Этот космос, выходит, так же препоясывает Евразию, как космос США препоясывает Новый Свет, Северную Америку: тоже от океана до океана. И в этом они тоже созвучны и взаимопонятливы должны быть. Но и рознь огромная. Исламцы не нюхали предельных океанов, они для них именно *запредельны*, трансцендентны, их Психея — резко-континентальна, тогда как американцы, пересекшие Атлантику на ладье Харона, отныне носят Небогеан² англо-американский в Психее своей:

¹ *Vunper*. Указ. соч. С. 80.

² “Небогеан” — мой термин-психологизм для космоса Англии: тут и Небо, и Оксап, и Бог, и Не-бог. **23.II.87**.

они на континенте с психикой мореходов (“Моби Дик”!) обитают, тогда как арабский Синдбад-мореход на море — с психикой драгоценного камня: дрожит за сокровища, ужасается...

Итак, ислам — это **космос драгоценного камня**, он тут в Психее, им мыслят, к нему приводят все реалии: поэты — всяческую красоту, любовь; ученые — все сути: “Минералогия” Бируни не есть просто описание камней, но и стихи тут, и философии — книга эта о Целом бытия. И “не счесть алмазов в каменных пещерах” — это не космос Индии: там не пещеры, а горы (Меру) и долины, леса-джунгли значимы, — но именно про Космос Ислама. В сказках арабских и турецких все время пещеры с драгоценными камнями, да и сами пещеры — “каменные” — точный это в опере эпитет. “Али-Баба и сорок разбойников”, “Волшебная лампа Аладина” — везде тут камнем, подчиняющимся волшебному слову: “Сезам” или “Чанга-чунга” в турецкой сказке (и, значит, камень тут логосен: понимает речь человечью, как в иных космосах деревья, кони и птицы), — завалены пещеры с сокровищами-смыслами...

Если Платонова **пещера** (в “Государстве” ее миф) имеет свет вне себя и сама по себе есть тьма, *матьма*¹, утроба женски-материнская, бессветная, то здесь свет свой: от каменьева драгоценных-солнечных, ибо в них мириадами лет спрессовывания свет открытого пространства похищен и сокровен и обращен волшебю в камень — как и люди тут в волшебных сказках. Вот в турецкой сказке “Дильрукеш” старшая женщина-дэв так растолковывает сыну падишаха: “На этот раз, сынок, когда ты войдешь в пещеру — перед тобой пойдет ровная дорога. Ты, не глядя по сторонам, во мраке пойдешь по той дороге. Будешь идти долго-долго и выйдешь на свет к кипарисовой роще (свет в пещере свой, подземельный. — Г.Г.). За этой рощей — кладбище, там — те, что приходили туда, чтобы добыть Дильрукеш: все они от макушки до ногтя превратились в камень. Не глядя на них, иди вперед...”²

И на захоронениях тут камень ставят, а не древесный крест: не по дереву-растению, но по камню моделирует себя тут человек и вечное бытие. И в языческой религии бедуинов Аравии: “Основной чертой религии в Хиджасе и Неджде представляется культ бетилов (семитское “бейт-эл” — “жилище бога”). Ср. Бытие **28**, 18-19; Левит **26**, 1; Числа **33**, 52) — **стоймя по-**

¹ Тоже мой термин-психологизм: МА+ТЬ = ТЬ+МА.

² Турецкие пародийные сказки. М.: ГИХЛ, 1959. С. 112.

ставленных камней (по-арабски “нусуб”), подобных менгирам (=продолговатые неотесанные камни, поставленные вертикально = т.е. моделирующие человека. — Г.Г.). Последователи этого культа бетилов периодически устраивали процессии, — вероятно, весной и осенью, — обходили вокруг бетила, прикасаясь к нему, чтобы получить часть той силы, которая была заключена в нем. Два таких камня сохранились до сих пор в священной ограде мекканского храма: “черный камень” и “макам Ибрагим”... Были бетилы, стоявшие постоянно на определенных местах, и передвижные (= тоже камни-кочевники. — Г.Г.). В последнем случае они сопутствовали племени и в сражении играли роль палладия; над ними воздвигали балдахин и перевозили их на верблюде, считавшемся... священным; вокруг этого балдахина прорицатели и в особенности пифии, сестры еврейских предсказательниц, били в барабаны и выкрикивали заклятья в форме “садж” — рифмованные фразы с размеренными ритмами, с резкими, стремительными ассонансами; поток сплетающихся в запутанный узор заклинаний”¹.

Тут соединились основные священства по-арабски: камень, верблюд, “садж” — стих-заклинание, каким и Коран написан, и поэзия тутошняя. Но это позднее разберем. А пока и на то обратим внимание, что в Мекке Кааба — святилище — вокруг и на основе черного камня кубической формы. И если сначала Мухаммед выступил против камней-бетиллов как идолов и выкинул их 300 из Каабы, — то затем принял камень в культ; и если сначала он ориентировал молитву на север, в сторону Иерусалимского храма, то затем все мечети стали ориентировать по “кыбле”: в сторону черного камня Мекки. Таким образом, не по странам **света**, не открыто-пространственно, где стихия воз-духа царит, но по камню = сердцу Исламского Космоса ориентируют здесь свой дух люди. И значительно, что именно **черный** камень выступает на правах “священного” тела Бога. Это опять нощность Аллаха проявляет. “Надписи, встречающиеся в Южной Аравии, показывают, что поклонение **луне, мужскому божеству**, одержало верх над поклонением солнцу, женскому божеству”².

Сие — дивно: луна обычно, как и ночь, и серебро — цвет луны, ассоциируется с женским началом (хотя немецкое: *der Mond* и *die Sonne*... — промедитировать это надо в отноше-

¹ Массэ А. Ислам. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. С. 19—20.

² Там же. С. 18.

нии Германского Космоса...). А тут не круглая луна-лик, но серп-кинжал-ятаган-сабля — вот что, наверное, принимается за собственную форму ночного светила. Недаром на мечетях не круг луны, но серп месяца обозначается; и русские свою победу над татарами и турками обозначили поприем крестом не круга луны, но серпа-ладьи; и в песнях болгарского национально-освободительного движения против турецкого ига идут на “полумесяц оттоманский”... О, на слово “оттоманка” тут же напоролся: это же поприще неги и сладострастия — и обозначено оно в Европе ориентальским заимствованием, из быта ислама; даже французы, эти верховные чувственники Запада, склоняются в деле божественной культуры наслаждения перед мусульманством: оттоманка послаще еще “кушетки” (от *coucher* — “лежать”) будет.

Итак, Бог здесь — не (воз)дух, но черный камень драгоценный. Поразил меня образ, каким в “Кабуснаме” поясняется непознаваемость всевышнего Творца и познаваемость остальных предметов мира: “Познаваемое словно выгравированное, а познающий, как гравер, и если на данном материале нельзя себе представить гравировки, никакой гравер не станет на нем гравировать. Разве ты не видишь, что, так как воск легче принимает рисунок, чем камень, из воска делают печати, а из камня не делают. Следовательно, все познанное доступно познанию, а творец недоступен”¹. Здесь прямое отождествление Бога с камнем, по которому резьба-гравировка познания невозможна. Кстати, и в отношении дела познания характерное это сравнение: оно уподоблено ювелирно-гравировальному ремеслу, филигранному, с драгоценными материалами-камнями дело имеющему, а не там *дыханию* иль *зрению*, *освещению* и т.п., с чем познание сравнивается в эллинско-европейской и индийской традиции.

Теперь мне понятнее становится, почему в недалеком отсюда иудействе небо обозначено как “твердь”, что всегда удивляло меня. Но в “Книге о верных и неверных женах” Инаятуллаха Канбу постоянен такой образ о ночи: красавица черными косами своими оплетает “башню неба”...

1. XII. 76. Декабрь: снег, сырь, оттепель — а тебе сладко прозной аравийский медитировать. Летом же, напротив, в какую-нибудь Скандинавию совершив духовное путешествие...

¹ “Кабуснаме”. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1958. С. 49.

Итак, “не счесть жемчужин в море полуденном...” Исламский поэт действительно ныряет в себя и извлекает, как ловец жемчуга раковины, рубины сравнений и нанизывает их в гирлянды и ожерелья вокруг предметов своих. Вот свидание Лейлы с Меджнуном из поэмы Низами:

Не Лейла — зари блеснули лучи.
Меджнун? Не Меджнун, а пламя свечи.
Не Лейла, а роза Голестана.
Нет, не Меджнун — раскрытая рана.
Поднявшись, Лейла стала звездой.
Поднявшись, Меджнун стал тростью прямой.
С губ Лейлы — цветы, дождь ароматный.
Как град, с губ Меджнуна жемчуг скатный...¹

(Пер. А.Глобы)

И в турецкой сказке “Дильрукеш”, аналогичной пушкинской “Сказке о царе Салтане”, младшая сестра обещает: “А вот если бы падишах взял меня за себя, я бы родила ему двух детей: мальчика и девочку. (Тут Двоица — число основное. И священные камни “бетилы часто встречаются парами” — Массэ, с. 19. — Г.Г.). Когда девочка смеялась, распускались розы, когда плакала — сыпался жемчуг. (Турецкие народные сказки, с. 103.)

Если для европейской поэзии характерны, еще с Гомера, *развернутые* сравнения, где одно уподобление разрастается в целую картину, то для поэзии арабо-персидской типичны “свернутые сравнения”, где потенциальная картина сворачивается до номинала своего, до зерна образа, как в вышеприведенном отрывке из поэмы Низами. Гомеровское сравнение — как дерево из зерна, восточное — как дерево, сжимающееся в камень, в уголь, из растения — в минерал, чем и славен космос горнопустынный: не надземием своим, где пустошь, но подземием, куда окаменилась некогдашняя жизнь цветущая. И восточный поэт, как четки, перебирает жемчужины сравнений, сыпля их горошинами. Не на **развитие** образа направлена его поэтическая мысль, но на нахождение нового образа — звена в цепь.

Такая поэзия — счисление сравнений, математика образов. И недаром нет в исламе разделения на поэтически-художественные и математически-рассудочные натуры (что так важно для Европы), но одни и те же существа — поэты и ученые:

¹ Низами Гянджеви. Лейла и Меджнун. М.: ГИХЛ, 1935. С. 40.

Ибн-Сина, Бируни, Омар Хайям и т.д. Арифметика, алгебра, астрономия мощно двинуты именно арабской цивилизацией. И у поэтов тут мышление переборно-счислительное: все множества тут “счетные”.

Нежелание развертывать сравнение в древо картины, распространяться, но эстетика сжатости (тоже понятие из оперы камня — пресс) есть отворот от пространства надземного, исполненного посреднических стихий воздуха и воды, где деревья распускаются и всякая неплотная жижга существ и явлений: леса, дали, любви смурные, тепло-прохладные — как меж персонажами европейских романов, с размытостью их воли и дел неопределенных. Здесь же страсть к пределу, к каменно-гравированной форме и в слове, и в чувстве, и в стихе: нанизы двустий-бейтов, жесткие формы рубаи, кассыд, газелей и т.п. жанров. Хотя при этом громады поэм восточных (“Шахнаме” Фирдоуси, “Пятерица” Низами и т.д.) не уступают по протяженности европейским романам, и уж повторения там сравнений, их перебор и вариации одних и тех же... начинают утомлять-наскучивать европейскому читателю: экстенсивность тут... А ведь состоит эта экстенсивность из интенсивных элементов: каменно-сжатых сравнений!

Литература Запада и России любит изображать разноликую множественность жизни, исследовать-описывать частные-уникальные состояния и характеры людей, чувствуя и ценя неповторимость существ и явлений. И когда европейские путешественники на Восток забирались — какие описания оставили: Марко Поло и др.! Любопытство, любознательность к конкретике бытия отличают западноевропейские дух и ум. Когда татаро-монголы докатились до сношений с Римом, “обнаружилось великое отличие европейцев от азиатов: в то время как ни один китаец или монгол не поинтересовался прибыть в Европу, чтобы познакомиться с ее культурой, европейцы, напротив, со своим любопытством ко всему новому и неизвестному, жадно устремились в таинственные края Восходящего солнца к чужеземному им искусству и быту” (*Bunper*. С. 263).

Но в этом нелюбопытстве есть и великое: монументальность, уверенность в своем присутствии при абсолютной истине бытия, чего никогда не было у взволнованных, водо-воздуховных людей Запада, страдающих “комплексом неполноценности”, который в этой открытости новому и жадности поучиться и научиться вполне проявляется. На Западе — *наука*, на Востоке — *веды*=ведание-знание истины, тогда как *наука* есть

искание истины, дурная бесконечность поисков и неприсутствий, значит, при сути главной. И Христос говорит про себя странные, на слух-ум восточный, слова: “Аз есмь путь и истина”, сдвигая *путь* и *суть*, которые по понятию противоположны: если ты при сути — нечего идти, а если ты в пути — значит, не при сути, не в истине=естине. Таких слов-речений не должен говорить Мухаммед... **Суть** есть камень-ядро, сжатость, а **путь** есть ветер, стихия воды (река, течение) и воз-духа беспокойного. Космос же ислама, хотя и на кочевые народы опирается, — но им лишь бы припасть с гор-плоскогорий своих к какой земляной цивилизации и там застыть-остановиться в неге: *impeto*¹ камня в них, что “с горы скатился” (см. стихотворение Тютчева про это: “Probleme”²). Кейф — не дрейф вечных исканий фаустовских, водовоздуховных, путей-дорог — агасферово пребывание!... Неостанавливаемость — вот рок европейца, жителя водо-воздуха, и для Фауста предел стремлений — вскричать: “Остановись, мгновение! Прекрасно ты, продлись, постой!” — т.е. превратить вечное гераклитово течение реки бытия в камень, точку, стихию земли-тверди. (Кстати, недаром к образу реки=воды прибег Гераклит, чтобы продемонстрировать фундаментальную для Запада идею вечного изменения. Для Востока — столь же фундаментальна идея предвечной статики, всерешенности бытия и судеб мира и человека каждого).

На Западе — принцип *Необходимости* перекликается с исламской *Судьбой*. Но вслушаемся, вникнем — и разность великую в этих “синонимах” почувствуем. Необходимость недаром с *движением* в корне своем сопряжена: это то, чего не обойти, но все ж хождение предполагается. И в латинском слове *necessitas* = “непереступаемость”, и в немецком *Notwendigkeit* = “неотвратимость” силово-двигательные жесты имеются в подспуде в виду. Кстати, и тут прослушивается национальная разность: у русских “обход” по плоскости-шири в даль, модуляция в “родимую сторонку”, в бок; у латинян вертикаль перешагиванием обозначена, а у германцев — противоположение, противоречие, превратная воля, действие-противодействие...

Необходимость — парна Свободе в европейском осмыслении, образуют они философски-диалектическую пару катего-

¹ Импульс (*итал.*).

² Проблема (*франц.*).

рий: “свобода — как осознанная необходимость” (гегелева формула) означает самонаправление пути своего и желаний, из себя развитие — по силовым линиям эпохи. Судьба же означает предначертанный удел извне, и никакой свободы моей при его осуществлении не предполагается. Тут все соответствует друг другу: атрибуты Бога как Господа и Судии, и Творца (иудаизм, ислам) и Его же атрибуты как Отца и Любви (“Бог есть Любовь” — такое определение дано в Послании Иоанна). Под Отцом и Любовью радостно именно самостоятельно-свободное шевеление дитяти: как резвится человек в мире — доставляет родителям радость созерцать. И потому-то Аллах все время с эпитетами “милостивый и милосердный”, постоянными при нем, вводится в душу и мысль, ибо ориентированы они на понятие Суда и Судии грозного и страшного.

Судьба = камень. Необходимость = река по руслу, течение. И недаром ересь в космосе драгоценного камня облекается в стихию драгоценной же влаги — вина (суфизм) — как растительной крови жизни... Но прежде чем мы пустимся в эту моремысль, уплатим долги предыдущей. Я прозреваю аналогию меж типом исламского повествования и философствования как раз в этом отсутствии интереса к *особенностям* жизней, идей, людей, что так любит описывать европейская литература и исследовать здесь наука. И когда эллинская философия проникла в страны ислама, у Авиценны и Аль-Фараби интерес ко всеобщим категориям, к Единому, к общим принципам бытия и познания, а не к их развертыванию в многообразные частные случаи в диалектике Платона, Сократа и софистов — эти детали им безынтересны. Тут скорее по Пармениду идет мышление: есть только Единое, а многого — нет: это наша иллюзия, будто оно есть и интересно. Бог ислама — это Единое как камень-твердь Неба, а не как дух. И по Пармениду, бытие плотно и нераздельно. И космосами они схожи: элейская-то школа — на юге Италии; через море — и потенциальная зона ислама: будущий Магриб, мавританство. Среди элеатов и Зенон, доказывавший невозможность движения-изменения, разнообразия изнутри, а не извне насеченного, как когда Аллах распределяет уделы — судьбы рассуживает.

Но и в повествовательной литературе арабо-персидской не рассказывание (= “история”, по-гречески) жизни и индивидуально-интересного случая, происшествия, “новеллы” = новинки, а приведение случая к общему знаменателю притчи — на это нацелен рассказчик, т.е. в рамку каменную формулы вогнать;

опять же “пышное древо жизни” (Гете) сжать в камень притчи драгоценный. И потому и большие книги Востока — это сборники притч: “Калила и Димна”, “Тулистан”, “Тысяча и одна ночь” и т.п.

Хотя и приняли на Востоке **четыре стихии** эллинских натурфилософов, но очень их “каменно” трактуют: как элементы состава всякой вещи, а не любя их метаморфозы, — а именно к этому вкус у Эмпедокла и Гераклита. Если последний, наряду с образом реки-воды прибегает и к огню (“этот космос единый из всего ... есть вечно живой огонь, мерами загорающийся и мерами потухающий...”), то и огонь здесь — клубление атмосферическое, наподобие водо-воздуха, а не статика света, небосвода. А вот как видит небо Меджнун, глядя на ворона на фоне неба: он, “как агат в зеленой эмали” (“Лейла и Меджнун”, с. 57), т.е. небо = эмаль. Или в “Шахнаме”, когда Рустем, не узнав в Сухрабе сына, убивает его, идут медитации про небо:

Свод гневный сошмы жребиев вращает,
Глупца от мудреца не отличает.
...Все в мире — от Альбурзовых вершин
До слабенькой тростинки — сгнет в безднах,
Размолото вращеньем сфер небесных¹.

Небо = гильотина, молот и жернов, серп месяца секущий. Потому головы легко отсекают в истории и литературе ислама, и крови там много течет из чаш сих, сверху нахлобученных. И опять же противодействие такому мироустроению берет символом чашу снизу — с вином = кровью жизни: рубай Омара Хайяма — это “свое другое” (по выражению Гегеля) Корану. И в этом веро-миро-исповедании через дионисийскую стихию вина мне видится бунт земледельческой половины в кентавре ислама против своей кочевой, небосводно-верблюдной насадки.

Вино питает мощь равно души и плоти,
К сокрытым тайнам ключ вы только в нем найдете.

Какие такие “сокрытые тайны”? Все ведь открыто написано на небосводе. Идея **мистерии** бытия, чья тайна сокрыта в глубине (Земли или человека), присуща культу Великой Матери(и) у земледельческих народов.

¹ Поэты Таджикистана. Л.: Сов. писатель, 1972. С. 132.

Земной и горный мир, до вас мне дела нет!
Вы оба пред вином ничто в конечном счете. (с. 77)

Двойственность пространственно-каменная заменяется единством — но не неба-Аллаха, а силой Жизни, воли, изнутри “я” человеческих и всех существ бьющей. Это совсем иное помещение Первоначала...

Вино ведь — мира кровь, а мир — паш кровопийца,
Так как же паш не пить кровь кровного врага? (с. 78)

А какие математически точные приведения сравнений — к уравнениям! И бедуински-кочевническая идея мести кровной как родно тут играет! К небосводу как камню-тверди и скрижали судьбы тут прямая ненависть:

Небесный круг, ты — паш извечный супостат!
Нас обездоливать, нас истязать ты рад.
Где б ни копнуть, земля, в твоих глубинах — всюду
Лежит захваченный у нас бесценный клад. (с. 173)

Это тот же жернов небес, что и у Фирдоуси, размалывал жизни. И прибежищем служить начинает стихия Земли-Матери = рыхлая, родная, а не каменно-бесчувственная. Однако и тут из космоса драгоценного камня позаимствована идея “бесценного клада” под землей.

Ответственность за то, что краток жизни сон,
Что ты отрадою земною обделен,
На бирюзовый свод не возлагай угрюмо:
Поистине, тебя беспомощнее он. (с. 174)

И сразу уже принцип личности и свободы самоопределения пути своего из “я” вместе с приниканием к земледельческой идеологии Матери(и) Земли появляется: доказывается этим, что спарены они, друг друга взаимно предполагаючи. Богоборчество опять же сразу эдипово: поход на Небо — при антеевой опоре на Мать-Землю лишь возможен (материализм науки и атеизм Эдипову комплексу Запада соответствуют).

Свод неба, это — горб людского бытия. (с. 175)

Да это же — верблюд! Одногорбая животина пустыни аравийской. О, это — важнейшее отождествление для ислама и Корана! Продумаем его...

2.XII.76. Итак, верблюд — как модель мира.

Как Мировое Древо, Яйцо, Конь для народов иных космо-сов прообразует Вселенную, ее устройство и смысл, — так для арабов-бедуинов Верблюд = космическое, вселенское существо, все для них. “Большую часть кочевого скотоводческого населения (Саудовской Аравии. — Г.Г.) составляют верблюдоводы, которые, в отличие от полуоседлых овцеводческих племен, называются в Аравии “бедуинами”, т.е. жителями пустыни”¹. И вот уже нам подсказ и притча: овца = полуоседлость, верблюд = совершенный кочевник. Овца нуждается в воде, при ней быть, несвободна, привязана, труслива расстаться... Верблюд же — совершенная самость и максимально возможная животному существу свобода от воды, т.е. от женски-материнской силы жизни и женски-смягчающего начала. Верблюд — абсолютный мужик, старик: нетороплив и мудр, как старцы-аксакалы (= белобородые) ислама. Как на Севере Кащей — Дед Мороз закален там обитать, так и верблюд = Кащей пустынь. Как тот — гений стыни, так и этот — мастер пустыни. И от свободы в нем — надменность и гордыня: презрительно выражение его лица, надменно на все поплевывает свысока (именно!) и не любопытен знать нечто другое, чем он сам, — в отличие от полуоседлых овец и коз (= подобных им полуоседлых народов), что уставятся своими широко раскрытыми бараньими глазами, “как в афишу коза”, — и любопытствуют к научению, даже назойливы в этом. Верблюд же уверен, что он сам все истинное точно знает-постиг, предвечное, и ему лишь блюсти, высоко нести это знание в скинии-ковчеге завета тела своего закутанным, — как и Кащеева смерть Севера в своих закутках хранится.

Высоко взнесен корпус на тонких сравнительно ногах над землю — и в этом к ней тоже презрение отделенности: не ползучая тварь дрожащая-шипящая змеєю, но в нем силуэт птицы (как и у страуса), облик орла: такая голова на тулово это посажена. Приближен к небу, как и кочевник верховой, и сам корпус его горбатый выпукл, как небосвод: Аллах в нем обитает. Как купол неба на столбах, возвышается верблюд на презренной ровности земли пустынной — как ее украшение, значимость и содержание, единственно достойное...

¹ Народы Передней Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 386.

“Одногорбый аравийский верблюд используется бедуинами самым универсальным образом (= универмаг это и податель благ всей вселенной. — Г.Г.). Молоко и мясо идут в пищу (= нутрь араба — верблюжья, с ним братска и адекватна. — Г.Г.), из шерсти изготавливают ткани для верхней одежды и мешков (= и наружа верблюжья: “покров” — эпитет Богородицы — от всех бед и зол в мире сем; и вместилища для всего: мешки=хранилища; верблюд = амбар и сусек земледельцев — Г.Г.), из шкуры выделывают кожу и ремни (= броня и сталь кочевника: как шерсть мягка, женска, так кожа и ремни-плету-руки — мужески. — Г.Г.), навоз идет на топливо (= сырье огня, собственный каменный уголь портативный и в сжатые сроки изготавливается: Земля-то трудится над этим целые геологические эпохи, чтобы растения-леса-древеса в чернь угля окаменить, а тут за сутки вся геология, цикл ее проходится. И еще тут слово важное мы употребили: “портативный” — и навело оно на поговорку латинскую: *omnia mea mecum porto* = “все мое ношу с собой”, чем мудрость неприхотливости философская знаменовалась. И таков верблюд: зеркало потребности в малом и философской самоудовлетворенности. Так что “кейф” турецко-арабо-персидский — это приход-прибыток-вклад в ислам от земледельческой половины его кентавра. Кочевник же прост, неприхотлив и аскетичен — как верблюд. — Г.Г.); используется даже верблюжья моча: ею моются и употребляют в качестве “лекарственного” средства (= и вода омовения, и влага исцеления — все из этого же “рога изобилия”, то бишь “горба изобилия”. Ремонт организма кочевника, “души болящей исцеленье” — и это из того же источника. — Г.Г.). Ежегодная продажа верблюжьего молодняка дает возможность бедуинам покупать финики, зерно — изделия городского ремесла (= и зацепка он ремесленно-городских им благ, крючок вперекрест и перехлест обмена-торговли: из земледельчески-городского, оседлого моря рыбку выуживать большую и маленькую, но не быть ими, привязанными-оседлыми, а точнее, оседланными землей и трудом, рабами земли и труда своего недвижимыми. — Г.Г.), но многие бедняки питаются почти исключительно верблюжьим молоком в пресном и кислом виде (= т.е. как грудные сосунки у верблюда-мамки своей: верблюд для них — вечный Млечный путь... — Г.Г.).

Вместе с тем верблюд был единственным транспортным средством не только для самих бедуинов, но и для многочисленных торговых караванов и караванов **хадджей** (паломни-

ков в Мекку. — Г.Г.)¹. Вот еще понятие-явление для осмысления: **караван**. Это торгово-кочевая армия-армада “кораблей пустыни”, как называют верблюдов. И он действительно есть ладья-ковчег по суку, мерно покачиваясь, переносящий по волнам = барханам песков тепленькие сосуды, теплящиеся свечечки людей. Корабль — и храм в христианстве: его строят, как корабль по волнам моря житейского. Так что и с этой стороны верблюд видится как священство: горб небосвода и корабль храма. И скиния завета, носящая запеленутой в себе силу жизни, ее родник — не скажешь здесь “очаг”, как в северных космосах, где воды избыток, тепло же дорого. Здесь же вода = жизнь, а не стихия огня тождественна ей: огонь здесь скорее = смерть. Так что верблюд, нося в себе родничок-источник, при всей надменной мужественности и старческой своего облика есть в то же время и женщина-мать народу пустыни. Значит, андрогинное это существо, муже-женское, совмещающее их сути, и потому может служить моделью Целого бытия, Единого, не расколотого еще на двойственность полов-половинок. А лишь Единое — истинное, по гносеологии ислама; множественное и двойственное = ложь.

“О том, какое место занимает верблюд в жизни бедуина, говорит уже то обстоятельство, что классификация этих животных по возрасту, полу и качеству включает свыше ста терминов, а слова “верблюд” и “красота” происходят от одного корня” (Народы... с. 386). У нас же выражение “докажи теперь, что ты не верблюд”, т.е. “не виноват”, “не плохой”, совсем иную ценность этого понятия выдает.

И похоронный обряд верблюж: “Приносили в жертву верблюда: подрезали ему сухожилия и оставляли погибать на могиле” (Массэ. С. 20), — так что не только жизнь, но и смерть кочевника верблюдом охвачена.

И **суфизм** — основная ересь ислама — от слова “суф”= шерсть, шерстяной плащ, т.е. тоже от верблюда исходит, им отмечена. Горбом верблюд — Бог, небосвод; шерстью — народен, животен-растителен, человекен-материнск. Ну да, шерсть = трава, растение на горе корпуса и воплощает принцип растения и земледелия и связанные с этим идеи; их и развивает в исламе суфизм: личность, “я” (= вертикаль-самость прорастания из лона матери), сыновство-материнство, любовь, душевный материализм и т.д. Так что Верблюд весь Космос Ислама объем-

¹ Народы Передней Азии... С. 386.

лет: сочетание горства и земледельства: корпусом — гора, шар земной, кожей — почва, шерстью — трава. Голова ж его длинношея тоже амбивалентна: змея и птица одновременно, пресмыкание земли и парение небес, обитатель земли и неба: “мудры, как змеи, и невинны, как голуби” — верблюды наши. И, в подобание божеству своему, арабу и орлино гордым быть, и пресмыкаться допустимо.

Навстречу Верблюду как универсуму и модели мира поднимается в Космосе Ислама модель Мирового Древа, выдвинутая в кандидаты в первосути от присоединенных земледельчески-растительных космосов. Дерево в пустыне (=оазис), под ним источник, в тени отдыхают и предаются неге, наслаждаются любовью, литургию бытия как божественного наслаждения осуществляют. Постоянно такой пейзаж и в сказках 1001 ночи, и в поэзии арабо-персидской встречаем, и на живописных миниатюрах иранских.

Вот лубочная модель Космоса Ислама в преамбуле к сказкам 1001 ночи: двоица братьев-шахов Шахрияр и Шахзема (опять двойка парит в поднебесье ислама. Да и само число 1001 привилегировано стало не оттого ли, что в нем симметрия двоек единиц и двойки нулей, расположенных друг другу в обращении? И в этом избранничестве **Двоицы** сходятся исламский и французский космоса, где тоже дуализм, симметрия и баланс избранны, — как и во многом другом, мы их близость и взаимопонятие отмечали) “вышли через потайную дверь и странствовали дни и ночи (= кочевали. — Г.Г.), пока не подошли к дереву, росшему посреди лужайки, где протекал ручей возле соленого моря (Куча мала! Вали сюда зараз уж все! — что и присуще лубочному мышлению... — Г.Г.). Они напились из этого ручья и сели отдыхать. И когда прошел час дневного времени, море вдруг заволновалось, и из него поднялся черный столб, возвысившийся до неба, и направился к их лужайке. Увидев это, оба брата испугались и взобрались на верхушку дерева (а оно было высокое) и стали ждать, что будет дальше. И вдруг видят: перед ними джинн высокого роста..., а на голове сундук”. В сундуке ларец, в ларце — женщина. Джинн уснул, а она, увидев в воде ручья отражение двух мужчин на дереве, подняла голову, велела им спуститься и обладать ею. Извлеки ожерелье из 570 перстней, она сказала: “Владельцы всех этих перстней имели со мной дело на рогах этого ифрита. Дайте же мне и вы тоже по перстню”. И братья дали женщине два перстня со своих рук, а

она сказала: “Этот ифрит меня похитил в ночь моей свадьбы и положил меня в ларец, а ларец — в сундук. Он навесил на сундук семь блестящих замков и опустил меня на дно ревущего моря, где бьются волны, но не знал он, что если женщина чего-нибудь захочет, то ее не одолеет никто, как сказал один из поэтов:

Не будь доверчив к женщинам...
Не верь обетам и клятвам их¹.

Совсем антиверблужий нам предстал тут космос в картине этой: вместо аскетизма кочевого и мужского верховенства тут женщина на поприще наслаждения царствует. Соответственно и пейзаж иной, и атрибутика: вместо пустыни — изобилие воды какой хошь: и пресной, и соленой — море тут же, берег, зовущий к странствиям Синдбадовым, и волны. Но космос сокровищ и кладов, драгоценных камней и здесь дает о себе знать: ларец, сундук, замки, сокрывание на дне моря, и в ларце этом подлинно Кашеева смерть сидит — женщина, ибо ее негой погублен будет бедуинско-верблужий космос первоарабья с его аскетически-воинскими добродетелями. Кочевники поработят земледельческие народы огнем и мечом (=камнем) молниеносно-небесно, в темпе вращения небосвода, а эти зальют их негой влаги, растлят женским началом, умозрением воз-духовным под деревом Бодхи — и все это в замедленном темпе роста растения, по его ритму и принципу. И вот уже пустыня заселяется неистовыми любовниками, и тот же пейзаж мы встречаем в поэме Низами “Лейла и Меджнун”:

Когда на рассвете лазурный свод,
Раскрывшись, просыпал розы с высот, —
Сперва те розы пурпурно рдели,
Потом позолотились, побелели.

Сколько драгоценной каменности уж рассыпано: и лазурь, и пурпур, и золото, и алхимическое даже превращение живой розы — в золото! Но роза уже низом пахнет, водою и любовью — и вот она тут как тут:

Меджнун, как в позднюю осень цветок,
Под горьким дождем очей своих мок.

¹ Книга тысячи и одной ночи. Т. I. М.: ГИХЛ, 1958. С. 15—16.

Человек открылся, как родник в пустыне: и в жару, в сушь в нем осень и слякоть может быть; перестал зависеть от верблюда и неба.

Корабль без руля, он одиноко
Блуждал в пустыне по воле рока,
Усталое тело сле влача,
От зноя тая, как снег от луча.

Верблюд же был корабль, а караван — рулем. Здесь же **один**, особь и особь статья и судьба, им самим себе избранная: быть бхактом любви.

Как тень, сам нищий и бестелесный,
Пустышник искал тени древесной.
Тут куст он увидел и под кустом
Журчащий ключ, льющийся в водоем,
С водою прозрачной и прохладной,
Мапящей глаза лазурью отрадной.

Тут понятие **тени** очень важное явилось. Тень = двойничество, душа при теле “иль верная жена” моногамии и единственно-личностной любви средневропейского космоса. В пустыне тени нет, человек тут — как Петер Шлемиль шамиссовый: без тени, обрезанию она подверглась вертикально-зенитным лучом солнца, а вместе с этим — и всякая личностная возможность сокрыться, и сокровенность, и душа=потемки, что так просторно все это иметь в лесах и во градах: тени деревьев, двойники-тени существ в Петербурге Достоевского и т.п. Так что недопущение “я” и свободы воли в Космосе Ислама еще и отсутствию тени в пустыне под тропиком параллельно.

Лазурь воды отрадна — в отличие от безотрадной здесь лазури небосвода, огнекаменной.

Меджнун склонился лицом в водоем,
Язык потушил, пылавший огнем,
И освещенный и упоенный
Лег в тень, дыша листвою благовонной,
Чтоб отдых погам дать и языку.

Эстетика дыхания-воз-духания тут же с водою явилась, и ароматы, благовония: очень чутки ноздри арабо-персидской культуры к ним, и множество нюансов тут подметили поэты.

Но вдруг он видит птицу на суку.
То ворон был статный и красивый,
Надменный, черный, гордый, спесивый.
В лазурный бассейн он взор погружал
И там самого себя созерцал.

Вот Нарцисс новоявленный, гордыни преисполненный, чер-
ный Агасфер бессмертный = Кашей, долгожитель, падаль и
падла...

Кстати, к вопросу о бессмертии! На юге, в космосе тропи-
ков, изыскивают не бессмертия, но возрождения, нового рожде-
ния, воскресения, а не бесконечного дления этой, и так уже уто-
мительной, жизни. Принцип однократного вечного бытия
присущ замороженному Северу: Однава живем, братцы!

3.XII.76. Итак, пустыня, странник (караван), одиночное де-
рево, источник (родник, ручей, колодец) и малый водоем под
древом — ровно настолько, чтоб состояться могло отражение
человека иль птицы на нем, — вот набор джентльменский ис-
ламской модели мира. Ба, да ведь это же пейзаж “Трех пальм”
Лермонтова, с детства знакомый. Но сейчас прозреваю тут и
русификацию. Во-первых, число *три* — не ихнее, но русское:
Троица — основной здесь религиозный образ и праздник на-
родный. Арабское число — единица или двоица, так что одно
или два дерева должно было для притчи в восточном стиле
стоять. И в другом стихотворении: “Спор”, описывая ленивый,
сладолюбивый Восток, вернее сказано — в отношении числа
дерев:

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Открыл только за этим, но восхитился, какой точный набор
космических реалий Востока Лермонтов дает далее:

И склоняясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегерап.
...Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И пост, считая звезды,
Про дела отцов.

Так покорён кочевник сластью повоеванных земледельческих космосов и их реалиями: тень дерева, фонтан, вино, жемчуг, пестрый ковер, табак-кальян, поэзия, астрономия-счисление. Еще упомянута “Мертвая страна” Ерусалима, что “Богом сожжена”, и “вечно чуждый тени... желтый Нил”. Да, тут космос богоопаления, лишь ночь и тень жизненны: звезды человечнее солнца. И дерево тут есть без тени...

В “Трех пальмах” не восточна еще рубка леса, что есть вполне русская реалья (“Плакала Саша, как лес вырубали” — Некрасов): не дровами, а кизяком-углем тут топят. Ну и наконец мотив бесплодно пропадающей красоты — вполне русский и чеховский, и богоборческое роптание на жребий свой...

Вообще русское **касание** и **восприятие Востока** многое прояснить может и в русском, и в восточном космосах. Слово “восточный” можно здесь употреблять вполне однозначно, ибо русские не знали Востока, как Индии и Китая, но лишь как арабо-персидский, тюрко-кавказский, среднеазиатский (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Есенин...). И вот уже в лермонтовском “Дубовом листке” весь сюжет намечен русского прислонения к Востоку: **он**, одинокий и неприкаянный, жметя к знающей и уверенно живущей чинаре = одиночное Мировое Древо на берегу моря (вспомним пейзаж из “1001 ночи”) с пышной листвой, где поют райские птицы, и **она** не проявляет к нему никакого любопытства: он ей не интересен, ничему научить не может. Так ведь и Хаджи Мурат толстовский, находясь в русском плену, ничем не интересуется, но совершенно самодостаточен. Ведь что такое “интерес”? Это есть выход из себя за истиной, которую подозреваешь вне себя, в другом чем-то, и выдает собственную неистинность и непребывание при Боге-сути. Кто же при сути, те ровны и покойны, безвыходны из себя в интересе каком-либо. И то, что писал Пушкин о русских: “мы ленивы и нелюбопытны...”, есть в них восточная черта; полуАзия ведь мы тоже... Русские — всепонимающи (и Жуковский, и Пушкин, и Блок об этом, и Достоевский — о способности всепонимания и перевоплощения; да и Ломоносов: что русским языком “со всеми оными говорить прилично...”), но не любопытны: нет той рьяности в любознании, что отличает эллинов иль латинян и англосаксов, которая у последних сопряжена и с практическим интересом: как употребить свои знание и понимание...

Кавказ для России — бастион и форпост Востока, и русский человек испытывал там особо острую лишность свою:

Печорин в Тамани, отринываемый “честными контрабандистами” и Ундиной местной, да и в “Бэле”. Пейзаж Кавказа и присутствующий рядом фон восточного твердого быта, уверенно знающего, зачем человеку жить на свете, особо щемяще усиливает тоскливую ноту русской неприкаянности, голости, открытости всем вопрошениям о последних вопросах и смыслах жизни... И именно на этом фоне русский человек — воистину **герой**: таков и Печорин, и Жилин из “Кавказского пленника” Толстого, — ибо у тех мужество хоровое, родовое, а у этих — экзистенциально-одинокое. По пословице верной: “Один в поле не воин” — и лишний человек на фоне равнинного российского пейзажа не героичен: Евгений Онегин, Рудин — ирои-комичны они. Левин опять же (в период раздумий...). Но перед определенностью Кавказа, где “Казбек, как грань алмаза...” (пошли и у русских драгоценно-каменные образы в восточном стиле), и русский дух призван к самоопределенности — и находит себя и самопознается. Потому обязательен жанр тут именно “*Дневника Печорина*”, расковыривающий суть, внешне не определимую.

Вообще в контакте с Востоком тюркско-кочевым, а затем и исламским, совершалось самоопределение русского духа: Логоса и Психеи; как оселок он и грань-кресало нужен, где б напоролась иначе аморфная русская суть и начала б извлекать искры смысла и уразумения (как с другой стороны — о Западную Европу трется и самоотличается русский гений). “Слово о полку Игореве” — первое Слово-Логос — о степняков-половцев = обитателей Поля тюркско-кочевого высеклось из уст Бояна русского. А потом “Задонщина”, народные песни о Ермаке (с Кучумом), о Степане Разине (с персидской княжной: антитезис тут лермонтовской чинаре, что отинула любовь дубового листка, тут же самое чинару роскошно-персидскую — за борт ее бросают отмстительно и свободно от неполноценности...), да и о Бродяге — на бурят-монгольском Байкале... Южные поэмы Пушкина, да и “Руслан” весь преисполнен восточных мотивов: Черномор-маг-звездочет (и сказки Пушкина — восточны: Салтан! султан, Шемаханская царица в паре со звездочетом...); райские сады Черномора, где Людмила — что гурия в исламском раю=гареме; Ратмир-хан и т.п. В конфликте с кочевниками-цыганами определился характер главного героя (“хищный тип”) русской литературы — Алеко, мрачный и скучный, рефлектирующий и действующий невпопад и неуместно, а лишь из себя, не сверяясь с обстоятельства-

ми и окружающими душами. Даже “Песнь о вещем Олеге” идею восточно-исламской Судьбы и предопределения изъясняет: волхв-звездочет (“с волей небесною дружен”), и хоть щит Олега — “на вратах Цареграда”, но это ничего не значит, а обернут Олег на Восток: “отмстить неразумным хазарам”; они-то, может, и неразумны, но разум их неба-космоса умнее “вещего” (якобы!) Олега и отмщает ему.

В “Бахчисарайском фонтане” — уже успокоенный, сладострастный ислам и быт неги, страсти определенной, знающей; красота тут, эстетика телесно-бездуховной жизни — и замирает она перед явлением Психеи Севера — Марии, бледно-духовно-немошной красоты, что, небесная, побеждает земно-страстную любовь чувственную. Опять же Достоевской героини изъяснение совершается через биение о восточное кресало...

Лермонтов весь — что дубовый листок иль волна, что бьется об утес Кавказа: прими! — и откатывается на мучительно родной и свой Север (“Спеша на Север издалека...”) — в этих ситуациях самоопределяется в нем русское поэтическое слово про Демона, про Мцыри...

Даже Толстой Лев, и тот, до обтесывания о Запад (в “Войне и мире”), ограничился об Восток: Кавказ и Крым (“Севастопольские рассказы”, “Набег”, “Рубка леса”, “Казачи” и т.п.), и под конец душа туда же потянулась: “Хаджи Мурат”.

Но оставим эти слишком родные и заманчивые сюжеты, но вернемся постигать собственно Восток, а не русский миф о нем. Хотя само писание это мое тоже выйдет как очередной элемент и вклад в русский миф о Востоке...

РЕФЛЕКСИИ НЕТ

5.XII.76. Совсем не исламское во мне сейчас кипение: непокорство, и зуд, и ропот. Разберемся.

...Так что просто — смирайся! — и все тут:

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

(Пушкин)

Как точно тут начато: со **смирения!** Оно должно быть первою реакцией на все, что ни случись: не ропщи, но прими; будь не с собой, но с *миром* — и мир в душе твоей установится. Смирение есть первая нам броня на удары судьбы и на соблазны

лукавого: не сдвигайся с места, где стоишь-поставлен Богом, а там видно будет...

Потом за работу братья надо **терпению**: это есть способность выносить долгую тяготу, не мучась и не страдая и не рыпаясь особенно. Терпение = выравнивание: гор мук — в равнину будней-трудней. Потому эта добродетель присуща обитателям равнин: ровность и характера, и реакций, тогда как горец или южанин — вспыльчив и нетерпелив-тороплив-попешен, языком пламени воспламеняется — подобно как и горы вокруг: такими же всполохами природы стоят, страстно-нетерпеливыми, торопливыми... Конечно, складчатость гор и вливает нам страстно-эросные судороги Земли, вулканичное кипение ее недр при зачатии ее покрова. А равнина — уже плод долгого остывания, терпения — и от дождей, и от ветров: уж кто только ее не укатывал, пока не укатали вконец Сивку крутые горки и не уложили вечным покоем...

Да, промыслить надо **равнину** и **пустыню**. Обе ровно-гладки. Но пустыня есть смерть, кладбище полноты, которая где-то рядом с пустыней обязательно предполагается, в парность ей. И таковы действительно космоса Хорезма, Месопотамии, Египта, Индии — рядом с пустынями Аравии, Сахары, Гоби, Иранского нагорья, Средней Азии: Кара-кум, Кызыл-кум = черные и красные пески: цвета смерти это. Да, даже красный цвет в космосе тропическом есть не цвет жизни, каков он на белом Севере иль в умеренно-европейских космосах, но цвет бешенства раджасического и смерти. Цвета жизни тут — зеленый (таким небо рая видится) и голубой-синий.

Равнина же, степь не есть безжизненность, но жизнь, однако не вызывающая своей цветущестью и роскошью, но умеренная, слабосильная, серенькая, на которую особенно не позаришься, ее себе не пожелаешь, потому и в покое оставляют жителей равнин и степей, тогда как на оазисы цветущие близ пустынь непрерывны набеги и грабежи: не оставляют эти земли в покое, но все время новые мужики себе их в жены забирают, в полон повоевывают.

Равнина — рельеф бытия-небытия, как и **серый** цвет = цвет того же. Ни жизнь, ни смерть, без раздвоения Единого на полярности: полн-ыни и пуст-ыни. А тебе-то, по кипящей мешанине крови в тебе, такой космос есть остуда, холодная смиренная рубашка, благодаря которой ты не прогореть враз, но долго выжить и совершить нечто сможешь. Так что благодаряри и “ликуй, Исая!”

О, как хорошо вовремя самосознаться!..

7. XII. 76. 6 утра. Пока мир спит, опускаюсь в колодец своего пространства-времени. Но и тут я на распутье: чему предаться? Медитации или психологии? Несовместны они, и одно дело гонит другое. Если боли своей жизни записывать — то значит вторично, перед взором ума, в храмину духа вводить грязные, раздражающие впечатления и скрежет свой прижизненный зубовой: мало того, что тебя в день вчерашний и в вечер сии скрежеты исполосовали, так еще благо(ухань) мысли ими засорять!..

Ведь и сейчас вот: так славно разгоняться было начал на Исламский Космос, его промышлять-медитировать — и уже застопорился, загасил разгон. А все оттого, что жизнь впустил опять свою грязную на чистые-то листы отвлеченных воспарений. И тыр-пыр — никак завестись снова на мысль дальнюю не могу.

Да, психология при медитации — это балласт: взлететь не дает, гирит. Это уныние — при восторге (пиитическом). Это писк твари — при Боге во мне, при образе Божиим — сынишка человеческий, пискля-плакса.

О, на важное уразумение общее напал (да еще и с умозрением красивым) в ходе этих самоанализов-то: две эти работы во мне = две природы в Богочеловеке, в человеке вообще. И вся трудность-то и задача нам, людям, на жизнь в том, чтоб спарить их и пронизать друг другом, иначе-то и создавать нас незачем Богу было бы: чисто божественно все пронизать и парить Он, Дух, и без нас может. Но вот в кишочках-то вещества и смертного несчастья повозиться и понять — без нас, человеков, тут, пожалуй, и Богу не обойтись. Так что балласт балластом, а его в небалласт превратить нам должно-заповедано: высветлить и одухотворить вещество природы — через одухотворение и подъятие в дух / =по-н-ятие/ животно-жизненной в нас ипостаси. Да и при полете и в плавании балласт полезным бывает: осадку судну держит в водах, а в воз-духе материал для жертвы собой предлагает-представляет: есть что скинуть, чтоб взлететь повыше...

Но совсем чуждое это арабо-персидскому миру занятие — вот это, в котором я пребываю и упражняюсь с утра сегодняшнего: ковыряние в душе своей и рефлексия.

Ну что ж, и это уразумение — добыча: в копилку мыслей об исламе сгодится-пойдет, как некая минусовость и отталкивание — то, чего там *нет*, как канва, по которой и исламский узор проступать-вышиваться может.

Почему ж **нет рефлексии** в исламском регионе — и что она такое? Мышление там = выделывание (шкур), гранение (каменной), дубление (кожи) — все работа по твердому, а не по рыхлому веществу, да к тому же изменчивому-растущему, как растение, какое являет из себя “я” наше. “Я” = дерево, растение. А там таких материалов мало. Рефлексия = раскопки, шахтно-горняцкая работа, недаром германским народам гномов-нибелунгов туманных присущи и занятия рефлексией, и шахтно-землевозделывательные ремесла. Тут же плод готов, дарован преизобильной природой, Богом-Аллахом, и неча всматриваться в кухню творения мира и вещи всякой, в том числе и в человека устройство — и не вообще, а именно **меня**, особы-особы=персоны уникальной. Если европейская мысль руководствуется разнообразием, парадигму которого черпает из речения: “нет существ одинаковых, как нет двух одинаковых листков” — т.е. от растения опять же танцуя, то исламская мысль уставлена на Единое во всем и на общее правило поведения, в любви к мысли назидательной.

Все же вышел я незаметно из гавани “я” и извилин и протоков рефлексии в открытое море умозрения объективного. Завелся-таки двигатель... (Хорошая опечатка машиночки кстати вышла, игро-словная: *гавнаи* вместо *гавани* “я”; да, “я” — оно, точно, и гавань, и говно...) Говно же — удобрение на растение, перегной. Но об этом нет заботы в Исламском Космосе, ибо плодородие земле реки с гор лёссом наносят — опять же благодар Божий оно выходит, а не дело — забота-работа-ургия промышленности человечьего, который “на Бога надейся, а сам не плошай” и “сам своего счастья кузнец” (каковы руководящие пословицы для западного человека). И самопознание, и рефлексия оказываются творчески-трудовыми операциями человека = сотворца Творцу своему. И как земледелец дерьмо свое и скотины в дело удобрения почвы пускает, так и из рефлексии и отходов жизни и производства — блестящие изделия и науки-научения, и ширпотреба индустрия=промышление Запа-да изделывать умеет.

На Востоке земля передвижна-отталкиваема копытами передвигающейся скотины-стада кочевого. На Западе же скотина оземлена: “домашняя”, “ручная-прирученная”, — чего нельзя сказать про животных стада кочевого: не при руках, но **при ногах** тут скорее, “стреноженная”, а не “ручная” тут скотина, более она представляет неотрывный от человека-хозяина член тела-туловища его: обитатель тут — кентавр, человеко-конь иль

человеко-верблюду. **Овцы** же являют собой выпасные кишки, самоходные желудки, и почки, и печень, и легкие, и сердца людей, и т.п., ибо туда с гор сойдут: образовывать органы тела нашего. Потому, когда едят часть тела какую, про свою аналогичную медитируют, и мне, близорукому, на джайляу в Киргизии протянули за пиршеством глаз бараний: чтоб лучше видел человек.

Тождество тут большее меж человеком и животным чувствуют и не предаются столь популярным на Западе рассуждениям о том, чем человек отличен от животного (Аристотель, Декарт, Маркс). И при этом француз Декарт как раз малое видел меж ними отличие, что опять говорит о близости французского космоса исламскому. И сравнения в поэзии с животными здесь, и животно-дидактический эпос (“Панчатантра”, “Калила и Димна”, “Рассказы попугая” и др.). Да и Эзоп — фригиец, малоазиец. На Западе же басни — несколько искусственный жанр: ну где тут Мартышка или Лев?.. И опять же француз Лафонтен тут на этот счет мастер оказался.

Земледелец на Востоке заботится не об удобрении почвы навозом скотины (а об этом — на Западе: животное на службе у земли, а не земля на службе у животного, как это при кочевье; на Западе движение жизни-живота остановлено, оседлано-осело-одомашнено: и животное-то тут по образу и подобию растения функционирует — вверх-вниз: съедает траву = вверх ее подымает, мочой-калом ее вниз как удобрение=добро-благо земле засекает), но об орошении водой (чего в средней полосе Европы или России не занимать). Вода же сама извлечет кормящую мощь из драгоценно-каменной земельности здесь, стоит ее только разрыхлить-размыть-расслабить в консистенции, землю-то каменную.

Тут-то и к **ал-химии** выход отзывается: плодородие почв средне- и переднеазиатских — не органически-животное, но минеральное, как и философия тут = минералогия (Бируни), и поэзия, ее метафорика — минеральна. Камень драгоценный всепроникающ и всепронимающ тут: и дух он питает (уравнение: Бог = камень), и плоть: плодородие почве (как жиге и расслаблению камня) приносит снисходительно — точнее, *свосходительно*, ибо драгоценный камень — под землей, под слоем почвы, “в пещерах каменных” обитает, и лишь чрез роющую работу выветривания и разводнения, в растворах, добывается и восходит пребывать в почве.

Значит, почва-земля в Европе более животна, органическа, и к земле у крестьянина тут вожделение животное, Эрос страстный — “власть земли”! — из нее животное-женские-материнские соки источаются, она — **мать-земля**. Отсюда и такая страсть в земельной собственности: земля моя чувствуется как органическое (именно!) продолжение моего существа, “я” моего, тогда как на Востоке нет такой лютой проблематики земельной собственности.

Итак, на Западе почва оживотнена, организмирована — оттого, что животное тут вращено в землю, а в Исламском Космосе камень выволочен из пещер на поверхность и уравнен с человеком, животным и с Богом самим. Земля ж уплотнена и сверху и снизу и осушена огнем солнца и прессом камня. И живые существа много от каменности в своей субстанции носят: жестокосерды (жестоковийны иудеи, да и арабы — самогордые семиты тоже, всех презирающие, как верблюд или арабский скакун), не разрыхлены в своей ткани рефлексией наподобие более пористой структуры материи западного человека. И недаром по-гречески материя — “хюлэ”=лес, древесина — вот что есть праобраз понятия-идеи материи тут: мало того, что она = мать, женщина, но еще и растительный из себя принцип излучает. Эх, знать бы, от какого корня (кстати, само слово в европейской традиции мыслится растительно: его суть смысловая есть “корень” — как у дерева) в арабском и персидском эти термины!

Материя же и состав англо-американского антропоса еще невещественнее, небогеанны, энергийны: недаром так техника там развита и изобретательство; это значит, наиболее остранено могут там на вещество смотреть, не самоуподобляясь с ним, и потому свободно его преобразовывать и формировать. Вон Психея американца: в романе Томаса Вулфа так передано мироощущение младенца: “Окружающий мир прокатывался через его сознание, как волны прилива, то на мгновение запечатляясь там резкой подробной картиной, то откатываясь в сонную смутную даль” (начинается развернутое, “гомеровское” сравнение, типичное для Запада, в отличие от свернутого восточного). “...В глубинах моря звонил колокол... И когда корова Свейна снова запела, он почувствовал, как в нем распахнулись створки переполненного шлюза”¹. А вот мальчик читает книги про историю: “Упоенный воем ветра, терпящего пора-

¹Вулф Томас. Взгляни на дом свой, англ. М., 1971. С. 64 — 65.

жение у стен дома, и громом могучих сосен, он предавался темной буре, выпуская на волю таящегося во всех людях ненасытного сумасшедшего дьявола, который жаждет мрака, ветра и неизмеримой скорости” (с. 87).

Тут все в лад, соответствует друг другу каждая деталь из набора космообразующих образов. Главная субстанция — энергичная: ветер, буря, море, оттуда приливы, бешеная скорость (=автогонки, время=деньги) — время, текучее и ускользающее, есть субстанция богатства, да и жизни всей: “Мы — сумма всех мгновений нашей жизни” (с. 26). Интегральный подход в крови у англосакса, органична тут математика анализа, а на Востоке — другая... Так вот, субстанция богатства на Востоке = драгоценный камень, золото, а не труд-время-деньги, и потому не ускользает, а вечно хранимо сокровище=богатство.

На Западе в музыке леса, сосен (растения, деревья тут как тут — как наполнения бытия из бури, из влаговоздуха) Небогеан свой Логос сказует. И в человеке — дьявол воли свободной, демон. Нельзя сказать, что в противовес этому в человеке Востока — Бог, скорее, там никакой нутри в человеке не предполагается и самочинности и самодвижности; человек — просто изделие Аллаха, или вдвоем: благого и злого начала (зороастризм, манихейство), сам же он сбит и плотен, как камень, не пористый, где бы воз-душа дышала и мнила свое; не полостной он, но полосатый — извне письмена на нем значащие наносятся, а не из кишок (кишечно-полостные...).

Вот он, динамический демон англосаксонской Психеи: “ребенок любил пожары”. Кстати, тоже лесно-древесное стихийное бедствие: пожаров не знает Космос Ислама, где дома из камня иль глинобитны, тогда как европеец и американец исходно живет в дереве: в “деревне”, в “избе”=сбитой-сколоченной... Но там — землетрясения и наводнения от ливней с неба иль от выхода рек из берегов: камень-минерал Земли живет, содрогается страстно-эростно-яростно в чувственных судорогах в гареме Бытия, иль женская стихия воды мировой в неудержимости похотствует. В сравнении с ними оргия огня, Локи, более воз-духовна: демоны ведь, по Порфирию (порицаемому Августином), в пространстве меж небом и землей обитают, значит, к небу-Богу приближены и тем людей смущают, как воз-духи. Локи = Логос: огнен Geist германский.

“А когда набат прорывался ночью сквозь **затопляющие волны** ветра (вот, и воздух океанно мыслит-чувствует — воистину Небогеан = материя-вещество, из которой состав англо-американца. — Г.Г.), демон Юджина врывается в его сердце, рвал все узы, связующие его с землей, и обещал ему одиночество и власть над морем и сушей, обиталищем мрака (мрак — как полость, сокрытость, как и “я” в теле, *Innere, Haus, home* = внутреннее=родное; дом, уют — роднее и интимнее света. — Г.Г.); он глядел вниз, на кружащийся диск **темных** полей и леса, слетал над поющими соснами к съезжившемуся городку (вот сколь ничтожен камень града среди разгула надземной стихийности волн, ветров и лесов! Не то — города роскошные Востока, где тысячи мечетей, бань, караван-сараев, дворцов! Камень тут раскрывает свою сокровищницу бытия. — Г.Г.), зажигал кровли над упрятанным, зарешеченным огнем их же собственных очагов (сердце дома в Космосе Ислама — не очаг-огонь, но источник-фонтан-родник — вода живая. — Г.Г.), а сам носился на обузданной буре (не на коне, не на ковресамолете. — Г.Г.) над обреченными пылающими стенами, смеясь пронзительным смехом высоко над поникшими в ужасе голосами и дьявольским голосом призывая сокрушительный ветер” (с. 117).

Тут обреченность, пессимизм-трагизм, одиночество. Необходимость, смерть, смех и грех — вот какой набор идей тянется вслед за пористостью вещества, за стихиями воды и воздуха в купе, за принципами растения и “я”. Нет этого набора в исламе. Его фатализм, предопределенность судеб и жребиев не мыслится трагически, ибо нет “я”, принципа личности и свободы воли, человек не предполагается сам быть кузнецом-творцом бытия вообще и своего, в частности. Печаль, конечно, есть — умирать, но нет пессимизма: сладка жизнь и здесь (даже у атеистов и суфиев — вино, Омар Хайям...), да и потом в неге возможна райской. Но главное: спору нет о непреложности, который как раз и поднимается личностью средневропейской, что отдать готова свой билетик и на вход в рай, коли мир не по ее уложен Богом: сама обо всем судит, а не Судьбу и Судью чит в качестве первопричины бытия. И Бога тоже надаряют Личностью, и Отцовством, и Материнством, смягчая тем жесткость граней работы Бога (в ипостаси Творцовой) и уделов существам как тварям.

Смеха не заметил я в исламском духе и культуре. Есть веселость, шутки, юмор ситуаций плутовских в анекдотах о Ход-

же Насреддине, о бекташи, о верных и неверных женах, одурченных мужьях и богачах и т.п., но это все не смех как дионисийски-оргиастическая, духовно-огненная субстанция, гомерически-карнавальная хохот, стихия свободы и орудие высвобождения от всех твердокаменностей в устройении мира, общества и человека. Так что как нет трагедий, так и для комедии нет почвы в культуре ислама.

И нет тут иронии, сардонически-романтической интонации, которая есть духовное самоедство среднеевропейца в самоочинии рефлексии. Вот у Томаса Вулфа эта интонация: “Или же, властвуя над бурей и тьмой и над всеми черными силами колдовства, заглянуть **вампиром** (вкус к человеку-призраку-привидению — все от стихии света-зрения. — Г.Г.) в истлеванное бурей окно, на мгновение посеяв невыразимый ужас в укромном семейном уюте; или же всего лишь человеком, но храня в своем не просто смертном сердце демонический экстаз, припасть к стене одинокого стонущего под бурей дома, глядеть сбоку сквозь залитое дождем стекло на женщину или на твоего врага и в разгар ликующего восторга твоего победоносного, темного всевидящего одиночества почувствовать на плече прикосновение и увидеть (настигнутый преследователь, затравленный гонитель) (это скобки Томаса Вулфа, и в них самоирония какая: демон-сверхчеловек зрит свою жалкость. — Г.Г.) зеленый разлагающийся адский лик злобой смерти” (с. 117).

Зеленый в исламе — цвет неба и Аллаха: “по мусульманским представлениям, обитатели рая облачены в зеленые одеяния; зеленый цвет считается у мусульман цветом радости и даже священным — зеленым было знамя пророка Мухаммада”¹.

И чтобы уж закончить экскурс в антиподную исламу Северную Америку, еще цитатка: мальчик “всегда чувствовал, что в нем вдруг распахнутся врата и прилив вырвется на свободу, и вот это случилось — однажды и сразу. Он все еще был мал и близок к **живой шкуре земли...**” (с. 113) — вот тот органически-животный характер почвы, земли в чувстве западного человека, о чем выше толковалось. И тут же опять: океан, прилив, свобода — море ведь “свободная стихия” и для Пушкина, когда на брег этой чужеродной в космосе Руси стихии выходит...

¹ Примечание к кн.: *Инаятуллах Канбу*. Книга о верных и неверных жснах. М.: Наука, 1964. С. 371.

18.XII.76. Ликуй, Исая! Ты угадал: оказывается, “материя” по-арабски обозначается словом, значение которого — “драгоценный камень”: “джхр” (согласные)-“джавахер” (мн. число). Так мне вчера в Институте М.М. Рожанская, специалист по арабской математике, сказала, и я пришел в самовосторг: не подвел меня Эрос угадывания, интуиция точно навела меня взвидеть Космос Ислама как космос драгоценного камня. В яблочко попал, в десятку. Теперь можно увереннее двигаться вперед.

(Путешествие в Казахский Космос)

10.V.86. Вернулись только из Алма-Аты и в люд и дух местный погружались. Соберусь-ка пока с уразумениями.

Переплетень и Монолог

Гостеприимство = мешок, в который заманивается гость. Его окружают, как живой юртой: круг людей, не оставляющий ему своего пространства и времени, чтобы очухаться и одиноничать и придти в себя, в своем “я” побыть.

Это и понятно: в просторе степи коли гость-пришелец явился, надо не спускать с него глаз, дабы не извернулся как и зла не причинил... Его заласкивают, закармливают = своим делают изнутри, из кишок, тем самым нутро его берут себе в союзники, чтобы, вспоминая, как сладко тут ел и пил и словами улещивался лестными, хорошо бы думал-относился к хозяевам.

В этом смысле Запад — не гостеприимнее, но и честнее: гость попадает в холод, сам себе предоставлен, на “я” свое, и мнение свое пусть обо всем составляет без усиленно самохвальных чичерон местных, как наши друзья казахи, себя и свое объяснявшие.

Но и то верно: в степи если ты не принят в юрту эту — некуда тебе деться, чтоб выжить. Тут жестко: или — или, монологично сознание. “Монгол” — “монолог” — недаром созвучны. Тонкости и оттенки диалектических нюансов тут срезаются. Хотя и ищут проявиться, и возникают, но жестким противостоянием и выбором каждый раз: друг или враг? — снимаются, лишаются смысла... Но тем загоняются в глубь, и

вынуждены затаиваться, там накапливаться — и вдруг проявляться: переходом на другую сторону — **предательством!**

То же — феномен Востока и его Психо-Логоса. И он связан как раз с жесткими условиями выбора: или да — или нет, со мной — или против меня?... Но не дают человеку-гостю быть собой, каков он есть, и таковым его не видят, и не ценят, а лишь прагматически: со мной или нет? И если не со мной, то интерес теряется, и человек — потенциальный враг, таким уже полагается.

Вот мы присутствовали со Светланой в узком кругу в доме художника при одном вдруг возникшем разбирательстве отношений. Вообще-то такое не принято тут: свой сор среди чужих, гостей, выносить. Но это был нам знак особого доверия. Мурат обвинял Рустема, что он — “отступник”. Дело в том, что перед съездом писателей Мурат тому доверился, что собирается выступить с критикой Олжаса — председателя, а ранее они дружили и были единомышленники. Рустем же рассказал про то их общему другу Бронтою, алтайскому поэту, тоже человеку достойному. И вот по пьянке с Олжасом Бронтой выболтал. Олжас спросил Рустема: так ли это? Тот — в позу чести: “Не могу предавать своего друга!” — но тем подтвердил и, припертый, рассказал. Теперь Мурат горюет: был ему Рустем ближайший друг и ученик — и так предал! Тот вздыбливается: или на дуэль, или пулю себе в лоб!.. Мы со Светланой угашаем, примиряем. Я говорю, что и мы, я, каждый, если порыться, столько неловкостей навершили, что оказываются гадостями кому-то... Ну, они обнялись в итоге и помирились. Хотя инцидент ушел в глубь: в унижение и обиду для Рустема — и может еще сказаться...

В этом прозревается характерная для Космо-Психо-Логоса казаха ситуация: тесная орнаментальная переплетенность и не-самость каждого по себе, а лишь в отношении к общему центру: хану, бею, каким здесь выступает Олжас — Тимур или Чингис...

Если на Западе принято: сколько людей — столько мнений возможных, голосов, слов и позиций, и не ждут монолита и единодушия и согласия всех, то тут не допускается Множественность, а лишь Единица и Двоица признаются. При этом Единица — меж нас, а Двоица — в организации бытия, мира вообще.

Но так как реально этого не бывает (люди и животные — разные по натуре), то это, спущенное сверху, с Неба, Единство,

единодушие усиленно поддерживается, энтузиастично, а не спокойно (панегирики и оды поэзии при дворах султанов и ханов) и вдавливается в насилюемых так людей, в них чернь нагнетает, подавленность в своей самости, что когда-то вырвется — но тоже не в своем уникальном качестве, а через присоединение к другому центру Единства, то есть снова искаженно, перекошено, в “не-я-форме”.

Итак, промежуточное не читится, не имеет места и голоса и формы бытия — явного и достойного. А в поддон изгнано, где субстанцию возможного всегда “предательства” образует — в каждом человеке.

Поясняю: когда среди 12 человек мнение 8-го столь же особенно и правомерно, как и мнение 1- и 2-го, и не обязан он ни к кому присоединяться, там нет и предательства, нет для него почвы и понятия. Нет и обид и претензий, если я сегодня по какому-то вопросу с тобой, а завтра с другим.

А там, где Мон-Гол — там и Моно и Голость (Целое) в пустоте пустыни. Там и Монолог: не только третьего, а и второго не дано! Тотал. Монгол Тотал...

И вот и спорят друг с другом: других обсуживают, предательства кругом замечают — и они тут реальны из-за насильственного единодушия.

И почему, например, выступление А с особым мнением должно расцениваться тем же В — как “против” него, а не рядом или вбок?.. Да потому, что жесткий Космос степи и юрты не допускает размещения: уйдя из юрты, я не могу себе рядом шалашик в лесу построить и самостно спокойно жить; сразу попадают тут в выжженную пустыню без воды и еды и где — смерть. Полуживого состояния тут и нет: или крепыш-батыр, или мертвый. Также и в мысли: или — или...

Но так как различия и тут неустранимы — и полезны: для брачного выбора, например, и пород скота, то и во человеках — разные ханы и беки и матки группировок и делений — множественны, и нет монолита земледельческого государства, где элементы сидячи и каждого можно взять на месте его: никуда не денется — прописан! закреплен!.. А тут снимется — и убежит.

Как вон рассказывали: в 1919 году Джангильдин, казах-социалист, написал записку в защиту племени “адай” (кажется). К ним приехал из волости большевик и установил палатку свою с красным флагом, а утром оказался в степи один: народ откочевал вслед за стадом: естественно, на другое мес-

то передвигались овцы, съев тут корм, — и народ за ними.... Так что “народ — не предатель и не антисоветский”, пришлось писать Джангильдину (в его архиве обнаружили такую записку).

Итак, множественность очагов единств, родов, племен и ханов, но внутри — монолит и жесткость и нет разномыслия. Но тот же принцип и в партии Ленина — монголоидный, восточный. Ради монолита силы жертвуют личностью и богатством понятий. Это — от слабости каждого одного перед лицом степи. Робинзону в степи быть невозможно — погибель от Космоса: жар и песок, ни еды, ни воды.

Отсюда: мера и распланированность и заблаговременность организации жития тут. Если не предусмотреть всего наперед: не заготовишь войлока на юрту и корма и не имеешь стада, где каждая овца = самоходная грядка, — пропадешь, тогда как Робинзон рядом имеет и лес, и воду, и растения в пищу, и животных в охоту, сразу может это схватить — иль ягоды в лесу.... А тут — грызи песок! — если заранее не оснабдился — не обеспечился.

Итак: **предусмотрительность** в отличие от **беспечности** (сравнительной) обитателя леса иль берега моря. Тот может: нехай, авось кривая вывезет! — таково русского Ивана-дурака мироотношение: “Бог не выдаст — свинья не съест”. Тут же **ХИТРОСТЬ** — блага в человеке: Ходжа Насреддин, Алар Косе и прочие хитрецы народные.

Прямостояние вертикали и прямая линия (что в чести и плюсе в земледельце и горожанине) здесь мертвечинны. Так же и **искренность=искоренность**, нагота, как на духу... Попробуй-ка сопрягись со степью-пустыней прямо и голо сам! Припади! — нечего есть: иль отравы змеи, иль колючка травы. А вот проложив подкладку — войлок стада, как седла между собою и Космосом, человек тут может жить — всегда в шкуре, и летом, и зимой, не только на животном он и им ест-преформирует Природу на первом этаже (как в лист хлорофилл прямо из Солнца и света ткань слагает), но и весь обволокнут животным, в его утробе обитает, как в платоновой **пещере**. Тут люди — даже не пещерные, а шкурные: как Иона в Ките, так тут человек — в утробе Живота-Жизни-Животного обитает. Юрта и есть громадный живот, сумка кенгуру, пузо.

Да и бывают ли общения наедине? Где им быть, коли в юрте за дастарханом все вместе, и общий стол, и тем слова сглажены и возможные мысли отполированы в обтекаемых тостах риту-

альных: одни и те же формулы говорятся, с некоторыми артистическими нюансами — и в этом зона творчества и разнообразия?

Так что нет тут пространства и времени для обитания и образования-складывания Личности и “я”.

Но все же Логос-то образуется и работает: в акынах, песнях, айтысах — спорах ритуальных, состязаниях певцов — как борцов-джигитов. Заранее известны правила игры — и не ждет-ся открытий из “я” нового, а чтобы виртуозно развил привычную канву.

Вот айтыс Джамбула с Кулмамбетом. Последний все кичится знатностью и богатством родов, которых он акын (родо-семенной принцип). Джамбул же — из более беднооседлых родов, зато славит стихии неба и ливни и элементы природы:

Песни мои — ливень, пенный речной вал.
Пыль, солще, круча — это наши все, ползны...

Этот айтыс Кулмамбета с Джамбулом характерен для Логоса тут. Вот Джамбул начинает заплетать цепочки орнаментальных взаимопереплетений, когда одно входит в другое во всевязь:

Сгишь, Кулмамбет, трескучий, сгишь,
Вместе с водой текучей сгишь!
Впрочем, не с пей, ведь воду пьют...
Лучше с попутной тучей сгишь!
 Впрочем, тучи влагу дают...
 С солщем, чьи ласки жгучи, сгишь!
 Впрочем, к утру и солща ждут...
 Лучше с пылью сыпучей сгишь!
Нет, пылинки, к нам пристаю...
Лучше с мглой ползучей сгишь!
Нет, се объятия степь обовьют...
Лучше с высокой кручей сгишь!
 Впрочем, и там для пас приют...
 Хоть в аду, приставучий, сгишь!
 Как мне быть с тобой, Кулмамбет,
 С лысой твоей башкой, Кулмамбет?
 Что мне твой скот и твой приплод?¹

¹ Литература народов СССР. Хрестоматия. Ч. 2/Сост. Климович. М.: Просвещение, 1971. С. 250.

Тут изящен и артистичен этот ток себя останавливающих проклятий: только объявит нечто абсолютно скверным, образцом зла, как тут же на ум придет ипостась благодати этого же явления, когда оно — добро и радость! И так все — и даже сам Кулмамбет, в такой связи взятый, даже ад, к которому он приводится, — начинают подозреваться в возможной благодати и добре. Это прекрасный и чисто художнический подход к миру и явлению всякому: славословие ему получается, чуть раскрыл уста его проклясть. Мир — прекрасен и священен во всем и благ. Так Валак библейский: открыл уста проклясть Бога — и восславил его.

И тут — диалектика тоже, но именно с вектором ко Благу и в Любовь, тогда как наша скорее критична, чем энтузиастична...

Но — стоп, вот и вариант диалектики в здешнем Логосе: не отрицание, как в германстве и его рефлексии, а с акцентом на утверждение: от Зла — к Добру. Нет уныния и стона и мировой скорби, но энтузиастическое восхищение — даже при ужасах и кровавостях истории тут и браней постоянных...

Но и то верно, что в этой гирлянде умозаключений выступают элементы Природы. А там действительно: “Нет безобразья в природе” — как поэт Некрасов прорек. Коли же брать перечень общественно-человечьих явлений (как вон Гамлет или 66 сонет Шекспира), то вектор склонится к унынию. Разветвленная социальная жизнь дает пищу негативной диалектике, а ее неразвитость на Востоке и прямое обитание в природе дают пищу позитивно-материалистической (от прямейшей причастности к Матери-и Природе) диалектике.

Зло — не от природы, а с человеком вошло в бытие... Хотя Смерть?.. Но в природе смерть — не смерть, а прочистка пространства и времени и его высвобождение для новых жизней = рождений, пород, существований, особей... Смерть — мусорщик, мусоропровод природы.

Вообще в космосе степи пустынной, песчаной — голее человек и прямее к Небытию.

Караван дум

Читал вчера и днесь Абиша Кекильбаева повести и роман “Конец легенды”¹ — все исторические, а и философические: уведшись от злобы нашего дня в даль веков, писатель рельеф-

¹ Кекильбаев Абиш. Степные легенды. М., 1983.

нее дает проступить главно-интересно-ценному в Космо-Психо-Логосе казахском. Потому приглядимся, что тут.

Поражают — кровь (сладострастные описания казней и жертвоприношений и избиений — подробно и детально), Эрос гаремный: тайна женщины. А фактура вся: монолог-переплетень воспоминаний-саморазмышлений главного персонажа, как его страшный самосуд, — такой тут раскрут-караван образов и видений и соображений; караван жизни проходит цепочкой пред очами души и совести. И так пробуждается и сострадается личность — одного; а обочь его — ситуации и характеры людей, как задачи-загадки ему на решение-поступок тот или иной: как принять однозначное решение?

Ибо в центре — хан, человек воли, силы и принимающий решение, Единое творящий, как Аллах, посередь множественности и сложности жизни, и несущий ответственность. Потому он — сверхчеловек и сверхперсонаж, тогда как другие — лишь фон и подголоски.

Кстати, недаром нет многоголосого пения в Казахстане, но одноголосье, все одно поют. Полифонии нет, как нет и допустимости многих “я” внутри коллектива-целостности, хотя допустимы многие коллективы-целостности (роды).

Романы = думы, по жанру: будто едет человек долгий путь через степи, пустыни, раскачивается в седле — и думу думает, припоминает жизнь; а сейчас ничего совершаться не может — в то время, когда думает...

Городской иль земледельческий роман, или приморский-эллинский, может даваться как действие в настоящем: тут и деяния, тут и думы-анализы по их поводу, психология принятия решений ныне.

Роман казаха строится так, что ведет дума-воспоминание — переоценка и передумывание, а внутри этого, как кочевник-народ внутри животного, в его утробе, — и жизнь-живот проходит вереницею своего каравана. Караван жизни внутри каравана дум...

Монолог — монгол — моно-голосье пустыни — повторю снова это уравнение образное.

Да и кровавость избыточная связана с песком Небытия, ему в контраст усилена, на его кромке — жизнь и кровь, яркость и жар их, свой — в отличие от смертоносного жара-жала Космоса тут. (Не “хаосом” ли лучше это назвать, энтропийно-смертельное?.. Но “хаос” — тоже элемент Космоса, его устройства:

нужно ведь и место для небытия, своя помойка и сток нечистот и нестроений).

И Художник, чей принцип: Бытие и Творение, — состязается и побеждает принцип Хана: Воли и Единодушия, — рождая в хане недоумение, неуверенность, а отсюда Слабость, дао, сумасшествие и погибель. А Любовь дается художнику личная, в отличие от гаремно-множественного Эроса. Гарем — коллектив тоже сплоченный, единомышленников, стадо коллектива, лживое.

Так в “Балладе забытых лет” певец на домбре примиряет туркмен с казахами, душу жестокого хана смущает, Жюнеутамстителю, и тот засомневался в своем уставе: жизни и мести и праве силы и воли.

А Чингисхан, победив и истребив тангутов, был уничтожен ханшей Гурбельжин, которая, зная, что он ее возьмет в гарем и, казнив ее мужа, бросится упиваться ее телом, всунула во влагалище перстенок с обоюдоострым ножичком, что постыдно и смертельно поранил великого монгола. И в поэме русского поэта Павла Васильева, выросшего в Казахстане, “Принц Фома”, — герой смерть в такой же ситуации обретает: на женщине.

Но все вокруг завитка женского сладострастно-смертельно вьется-разжигается наш интерес, на спор: чья возьмет? Тут тоже спор и айтыс и агон: спорщики и состязатели в пустыне, кочевники (вспомним байту, игры и пр.).

Таков и строитель мечети Биби-Ханым, в чьей архитектуре художник воплотил облик видимой им сверху в гареме купающейся ханши, в кого влюбился, и она в него: башня от земли в небо, как видение и не мираж ли? — возникла. Тут тоже своеобразный Логос: видение тела (скульптура) перелилось в храм. Но в нем округло-нежные формы женского тела проступили открыто — те, что скрыты гаремно и под чадрой и что запретно изображать в искусстве, — в отличие от Запада, где скульптура спокойно и откровенно развивается наряду с архитектурой. Нет полярности и исключения. Они усиливаются к Востоку, где в православии уже не скульптура, а плоская иконопись во храме. (Хотя Индия? Там и то, и это: телесные божества во храмах, пещера “тысячи будд” и пр.).

Однако вчитаемся в символику и мысль вступления к роману “Конец легенды”. Повелитель (Тимур-ленг = “хромой” значит) возвращается через Великую Пустыню после похода домой, в Самарканд, и все дается через думу его — этого

Сверх“я” в глазах людей, извне; внутри же — это просто страдающий и путающийся, ищущий человек и сбивающееся сознание среди путаницы всего.

Действующие персонажи тут: Песок, Время, Сила и Слабость... Даются неожиданные, на наш русско-западный взгляд, уравнения и соответствия. Приглядимся к ним.

Ветер, тайна и родник

11.V.86. Продолжаю удерживать душу и ум в казахском бытии. Итак, приводим к Космосу — Психею и Логос казахские, как они проступают в романе А.Кекильбаева “Конец легенды”.

“Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесследные следы... Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лице этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства” (с. 246).

Песчинки = атомы небытия. Из них образуется упругий смерч пыльный, что смешал небо и землю. “Казалось, какая-то чудовищная сила, распалая себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жестком ветру” (с. 247).

Барханы = письма “ветра-каллиграфа” “навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке”, и все будет погребено “сыпучим песком, имя которому Время” (с. 248). Суэта и бессмысленность... И недаром образ Соломона витает тут: и мудрость его, и меланхолия оттого, что все преходит и нет ничего нового под солнцем; и женолюбство его, и умение лишь пригублять чашу с вином, самый аромат снимая тонкий, не упоаясь.

Во Времени — где Вчера? “Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, ВЧЕРА — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается во Вчера... Истинное имя силы — Вечность.

Сила Повелителя в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой”.

Перед нами — особая онтология и психология; выводятся уравнения: Вчера = Слабость. Вечность = Сила. Сегодня = Страх и Надежда. Сегодня = Счастье. Вечность = Слава. Слабость — вина человека, его грех. Сила = Свобода воли.

Символическая рассказывается притча: “Спросил однажды муравей у пророка Соломона: “Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?..” В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же развеет” (с. 250).

На Руси Ветер — образ Свободы, всеведающий. Тут — шайтан и Небытие. Значит, все живое и смысл — противостояние Ветру. Такова Юрта: обтекаемость ветром; таковы груди коней и горб верблюда; таковы и формы тела человека и плода — упруги. Грудь женская и бедра, их упругость — это воля в теле. А в Психее обитель Абсолюта — это чистая Воля.

Ветру противостоит не прямая стена правды и чести, а обтекаемость, чтоб ветер, искривясь, мимо прошел. Лукавость и хитрость тут в почете. Обмануть, надуть врага. “Каждому своему военачальнику он (Повелитель — не случайно по этому качеству — Воли — назван главный персонаж. — Г.Г.) неустанно внушает: “Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет выхода. Заранее позаботься о лазейке для спасения... Слабость — тот же тупик.... Надо в запасе иметь уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах” (с. 250).

Но ведь Ветер вздымает фюзеляж самолета: враг может быть во благо употреблен, если хитро и с умом обтекаемую форму Ветру навстречу предоставить.

Простодушие и искренность = прямолинейности, что могут быть в почете у растительных народов, но тут они = не-ум, не со-образование, а образ надо принимать разный. В этом — обтекаемость хитрости, гибкость и упругость кривой линии.

Во Логосе кочевника Тайна ценна: она — глубина, как вода жизни и кровь — в Верблюде. Тайна — поддон “я” и жизни резервуар. Повелителю нужна и важна прозрачность в окружающих; их он молча выслушивает, располагает к доверительности, даже прикидываясь глупым, а те начинают кичиться и поучать его — и выбалтывают свое тайное и глубину — и силу. Сам же, как источник воды живой жизни, блюди тайну свою, как “я”: “Теперь старайся, чтоб они ни за что не догадывались о твоей слабости...” Он думает = пережевывает, будто несварение некое: “Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давась отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд?..

Он не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено” (с. 252).

Тайна, Память, Колодец, Глубина — вот что против Ветра: сокрытость! — основа и родник Жизни и воли, и силы. Если по-гречески Истина = “а-лет-хейя” = НЕСОКРЫТОСТЬ, открытость, прозрачность на глаз и вид (идея = вид!), то тут суть — суметь спрятаться и так выжить на Ветру.

Недаром Муравей умнее Соломона. А что есть муравей? Это самоходная песчинка — обтекаемой формы и с цепко-упругими конечностями волевыми, чтоб удержаться против прямой Ветра. Да, это Ветер ходит по прямой или вихрями-кругами. А Тайна — как жизнь в юрте: закрытая, без окон глаз наружу. Как живот и колодец.

Потому молчаща фактура повествования тут: думы молча наедине и в одиночестве. Все части романа — монологи воспоминаний разных персонажей: Повелителя, Зодчего, Младшей ханши. Так и у Айтматова: покачиваясь в седле, напоминает и обдумывает жизнь и все смыслы герой; есть время в долгом переходе, когда говорить не с кем, а лишь жвачку своих дум из глубины тайны выволакивать и пережевывать, и рассказывать себе. Так и выживает человек.

Тут мне припомнилась “байка”, что Гадильбек Шалахметов, нас принимавший в Казахстане, рассказывал:

— Когда испытывали космонавтов на долговременность небытия в камере, где постоянно свет и не различишь времени суток, отчего Гагарин лучше всех выдержал? “А я со скуки начал все себе переговаривать, что случается и что вижу”, — объяснил он свой секрет. И так удержался в уме — как в седле.

Но подобно и кочевник, и его акын: что видит, то и фиксирует словом, “натуралистически”: сплавляя со словом и думой однообразную бесконечность — и так ее оживляя, вдувая Слово, как Бог, что вдувал живую душу, творя мир и существа.

Так и себя поддерживают тут в существовании и смысле. То есть забота о том, чтобы не засыпал свой родник: не засыпал и не засыпался. Сон = засыпание, усупение.

Потому и сны так важны в фактуре повествования: в них Небытие говорит — антипод и тайна сама — прямо; тебе ж в этом НАМЕК, разгадывай его в долгой и неспешной думе.

Так и в романе: протяженность каждой части — это разгадывание притчи. Красное яблоко с червем внутри, подsunутое Повелителю Великой ханшей, ведет думу первой части; к кон-

цу он разгадывает, что это — измена Младшей ханши с кем-то в его доме! Вторая часть — “Минарет” — от лица Зодчего: его жизнь и судьбою разгадка смысла Башни, им построенной как сказание его любви к ханше.

И вообще Логос тайны — это НАМЕК; напрямую тут не выражаются: нельзя против Ветра=Повелителя, его воли и глаз: все отводят. Но — перешептываются: слухи, молва — и проступает истина лишь косвенно: не в прямом слове, а обтекаемо, фюзеляжно, сокрыто в предмете (как яблоко с червем), в полуулыбке служанки, в эротических формах построенной Башни.

Так что и мысль должна виться, а не прямо шагать, поступательно, как в Логосе европейских культур, растительно-городских, с самостью личности и безопасностью прямого слова от “я” в лицо.

“...Недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение... Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход... — нелегкое занятие” (с. 260).

Значит, **обиньяк**, **намеки**, иносказание, притчеобразный Логос тут изыскивается самим устройством Космоса (Ветер) и Социума (единая воля хана). Нельзя тут напрямую, а лишь косвенно и обтекаемо и хитря. И в этом — эстетика даже и интерес: не прямота слова и истины, а их зашифрованность в теле, предмете, форме, так что нужны гадатели и истолкователи, а не ученые и мыслители-философы, что ценят кратчайшее расстояние между точками и вещами и словами и понятиями — в логике прямолинейной.

Здесь же и логика — витиевата должна быть: все и так и сяк понимаемо быть может; и это — при Единстве Неба и Солнца и Воли Аллаха и хана... Уклончивость Истины = ее любовь к тайне и ночи, а не открыто обитать, как это в Европе и России, где Идея и Свет знания, и прямота, и правда, и справедливость — в почете и ценности.

Потому все ловят друг друга, чтобы выведать-поймать тайну твою — как средоточие и суть. Вот как Логос сопряжен с

Психеей (что норовит тут уклониться) и с устройением Социума (единая воля): “Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи: Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-то угождать или стараться понравиться, а его подчиненным, угодливо лоящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, не мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте” (с. 258).

То есть ему одному присущ прямой луч и свет, и взгляд — как вертел, на который нанизываются уклончивые обиняки, как лапша и лагман — на палочку.

“Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза (т.е. ему присущ прямой луч. — Г.Г.)... А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки (как требуху животного съестного. — Г.Г.)... Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны. Это он сам, властелин... Нет покоя его душе, пока он не визнает до доньшка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы... Твоя тайна, пока она при тебе, — твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое” (с. 258—259).

Значит: тайна = оружие. И во враждебном мире — такой Логос. Но есть и другой подход — **исповедь, покаяние**: тогда человек именно хочет освободиться от тайны и грязи в себе как черни — и доверяет другу, Богу, исповеднику, как лопате и врачу-лекарю, пускающему дурную кровь и дух подлый из души. А оберегая свою тайну как оружие, человек тем самым заявляет, что он душой настроен обитать в Космосе вражды и его сам строит — своей Психеей и Логосом.

Значит, если я прям и простодушен и искренен, я — свободен, в том числе и от страха: не знаю его (как Зигфрид у Вагнера); и Истина простодушная побивает космос хитрости, и зла,

и тайны — как обители сатаны и тьмы, ночи и Матьмы¹ Материи...

Итак, на недружественный Космос вся настройка тут. Он и везде-то во зле и вражде. Но этика человечества разработала волеизъявление ко Благу, чем и творится Благо и новый мир, и Космос: из моей свободной воли — Сократа и Христа, прямо отвечающих.

В космосе тутошнем есть такой персонаж, что слушает Бытие и искретен: это Художник (зодчий тут, юноша) и Певец-акын (в повести “Баллада забытых лет”), кто не боится и, что слышит, то и поет. Но он огражден безумием неким, есть одержимый меджнун, дервиш, суфий — тоже в этом, как в животе и шкуре самки-матки, содержится охранно, в этой славе и мнении и роли признанной, функции...

Антипод Ветру — РОДНИК: источник воды живой и духовной: “Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать (“повелитель” — это его функция-маска в маскараде ролевом Социума. — Г.Г.), и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве... Здесь никто его не боялся” (с. 257).

Вот Космос свободы Духа: растительность из самочинной ВОДЫ. Другой Властелин. Вода — тоже Тайна: прячется, сокрыта от Ветра наружи и поверхности. Вода, родник, колодец = самораскрытие тайны — свободно навстречу нам, хитрым рабам во Социуме и в Космосе, приниженным и во страхе.

Потому у колодца и в оазисе самость есть у человека, и там возникает Личность и мысль, и дума, и одиночество (тогда как в степи лишь коллективом выжить можно).

И Повелитель здесь часами сидит в задумчивости и одиночестве. Вода течет ровно, мысли же его путаются, растекаются ручейками.

Тут-то он и разгадывает намеки: “Подлюю беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели и шейхи-дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе, — определенный намек” (с. 266).

¹ МА-ТЬ = ТЬ-МА — из тех же слогов перестановка.

Отсюда надобность звездочетов-гадателей. Это — в социуме, при дворе. Но в оазисах, при родниках мудрецы и философы — Аль-Фараби, Абу Ибн-Сина и пр. — разгадывали притчи природы, формы веществ и сути, и истины, все ведая, слушая, как вещают вещи, что родники.

Итак, национально-восточное в этом романе, что он — разгадывание замысловатой загадки и намек, данного человеку и в каждой вещи (яблоко, минарет), да и вообще в собственной жизни: в ее таком вот течении, что припоминается, проводится перед думой, обговаривается во внутреннем монологе, — и в ней ищется смысл, а **судьба** трактуется как пришествие потока жизни к форме и образу... А таков издревле дух Востока: притча, сказка и разгадыванье — толкование намеков, герметизм и эзотерика, шифровка... И в этом — остроумие. И в “Панчатантре” так, и Шехерезада...

Но и алгебра = тоже шифровка и обиняк: не впрямую числом, простодушно выговаривающим свое количество и величину (как арифметика эллинская), а сокрыто, тайною буквы, знака-знамения.

И так, притчами, и движется мысль-дума-разгадывание памяти: “Что может быть противнее гниющих фруктов?” (с. 269) — и идет философема орнаментальная о том, как они были нежными соцветиями еще недавно, потом “сосали солнечную грудь неба” — образ животного моделирования мира.

И это тоже Повелителю подсказ и притча: только вверх лезть, иначе падешь — и превратишься в гниющий фрукт и мерзость. И потому он вынужден все лезть в высь, подстрекаемый злорадством и завистью врагов.

Но также и Зодчий из кочевников: строит минарет все выше и выше, чтоб расширить кругозор — и через Вьсь придти в Даль и Ширь и увидеть родную степь поверх скученности рабского и суетного города. И вот он уже углядел что-то родное рыжеватое: “И еще ему мерещилось, что простор, стремительно надвигающийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены”.

И тут уравнения: “еще дальше, еще выше” (с. 334); “пустыня, точно этот опустылевший город” (с. 335); “Густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство.

Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину” (с. 334).

Родное рыжеватое приведено к воде и роднику: есть ДНО = тоже Тайна, что таится. Но вода — свет и зрак, и истина. Родник = откровение тайны — истиною.

“Минарет чудился ему единственной дорогой...” (с. 335).
Тоже уравнение выси с далью. **Дорога** — река жизни кочевника.

Минарет = выход и выдох в небо — из кучи города, из суеты его и через уразумение — гадание-толкование это узнается.

Повелитель выталкивается вверх (только туда стремясь, может уцелеть) завистью и злорадством униженных им. Реактивно.

Зодчий-юноша “чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновение от всего привычного и низменного, что клонит... со всех сторон (! = круг. — Г.Г.) к земле, где на уровне **ослиного хвоста** незначительное кажется значительным... — и подняться... Ведь неспроста даже **суслик** (все животные модели — братья. — Г.Г.) и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку (запах и нюх у кочевника силен и развит: детей любимых — нюхают, а не целуют. — Г.Г.) и растянуться, выставив солнцу круглый бочок...

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а неодолимый порыв, неумная тяга самой земли... к небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были слепой, копеечки недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно одухотворенные некоей чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную... цель — в гордо устремленный ввысь минарет” (с. 319).

Эта вариантность толкований — как гирлянды сравнений, навешанных в восточной поэзии на один предмет (на красавицу, например). Это — не линейная дедукция западной логики, что выводит через анализ (“распутыванье”) понятие за понятием, но тут с разных сторон заход и взвиденье — будто юрту, вещь обходят, кругаями, орнаментами вия мысль.

И еще обращает на себя внимание фактура *вопросительная*. Вот как Город глазами степняка передан: “Словно мало

им (людям) необъятного божьего пространства, будто они боятся простора... Мудрено ли не свихнуться в этаким котле, постоянно сталкиваясь друг с другом (котел, ступа, муравейник — наворачиваются сравнения. — Г.Г.)?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишащий муравейник?.. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня?.. Для чего? Какой смысл?..” (с. 319).

Вопрос = разрыхление тверди положения. Если западная мысль преимущественно движется тезисами = положениями, **утверждениями**, цenia твердь средь хлябей матери-сырой земли, жижи болот, морей, то в восточной мысли, в центре Евразии, где крепчайша твердь Космоса (Памир, Гималаи, Кара-Кумы!), что ценно? — Разрыхлить = возжизнить: впустить воз-дух и воду. *Вопрос* = колодец. А и минарет — тоже вопрос, что земля задает пространству, небу...

А что же тогда жанр изречений, коротких афоризмов, рубаи и притч?.. А это драгоценные камни, что здесь отграниваются, и столь моделирующие, что даже понятие “материи” тут толкуется по образу и подобию драгоценного камня (арабск. “джавахер”), тогда как для греков материя (“хюлэ”) = лес, древесина, а для других народов — “матерь”...

В стиле мышления Запада тоже есть вопрос и сомнение. Но они тут же требуют попытки ответа — для нового потом вопроса: диалектика!.. Здесь же можно навешивать вопросы — без ответов сразу.

Но само задавание вопроса есть уже и некое сказание о данном предмете...

Тут прерывистость, пунктир в мыслепроведении, многоначатие и непоследовательность.

И это можно так понять. Единое и прямое тут = единодержавный логос Повелителя, его монолог. Но он — приказ, твердь тезиса, рубин камня, редок и мощен.

Под этим насильственным Единым — множественность Жизни и существ, и тел со своим логосом и словом. Но они, раздавленные в бок, увиливают и юлят, и нет диалога и диалектики перехода Единого во Многое, и наоборот. Они — разноначальны и неисповедимы друг другу. Потому между ними — тайна, намек, гадание: это — мерцание, и нет пряника моста рассуждения и анализа и диалектики.

Несамоопорное и несамодостоверное “я”, и не правомерное, тут имеет логос вопрошения, жалобы, стона-плача или восхищения, что и выражают певцы и поэты... Но в этом — большое множество и гибкость, и артистизм, и клубление сравнений. И это ценится в **айтысах** = состязаниях поэтов. Вон и в айтысе между Кулмамбетом и Джамбулом — фактура вопрошений и сравнений, рядом навешиваемых и не нуждающихся в связи и развитии друг во друге.

Итак, нет тут во Логосе задачи европейской мысли: как сопрячь Единое и Общее? (Через Особенное, как средний термин силлогизма, — у Аристотеля...)

...Я тоже не много знаю про здешнее... Я предполагаю, фантазирую из своего образа здешнего Космо-Психо-Логоса, вязь свою плету. Она претендует не на верность, а быть неким наведением на возможную верную мысль — иль взвидение некоего нового аспекта...

Но введем еще одно измерение из Космоса: казнь Жаром. “Солнце, казалось, стояло на привязи (как конь. — Г.Г.)... Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко (тоже образ из кочевья и скотоводья. — Г.Г.). Ослепительное солнце выжгло... Казалось, некое **чудовище**, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном” (тоже образ из быта юрты. — Г.Г.) — с. 336.

Итак, Ветер и Жар — вот тут казнители, облики Смерти. А полюс плюса что? **Вода**, безусловно, а также способность увильнуть (тоже свойство Воды) от прямостояния и сожжения; и цепкость Жизни и Воли. И не Свет, а Тайна, сокровенность: сокрытие своего родника, сердца.

Служение этому — Хитрость как гениальность.

Ценен также Образ как Намек: сказать истину, все — и не уловиться в прямолинейные тиски, увильнуть. Понимай как знаешь...

Потому художественность тут входит в стиль Логоса, а не изгоняется из него, как на Западе, где взыскуют: “Да или нет?” — прямого ответа и правды, и истины — как *стояния*.

Тут же возлежание и кейф — вот поза думы и познания.

— Нашу передачу “Приглашение на лагман”, — говорил Гадильбек Шалахметов, шеф радио и телевидения, — надо смот-

реть не сидя, а лежа — вот как! Чтоб домашни и расслаблены были все, а то иное телевидение будто во фрунт призывает встать зрителя даже у себя дома, как на параде и в мундире иль при галстуке. Так официально ему говорят с экрана.

Во всяком случае **Свет** тут не в таком плюсе, как на Западе и на Руси, а **Тьма** — не в таком минусе. Напротив **Тьма** — как обитель Тайны и сокровенного, лоно и живот, и глубина — есть место обитания человека и истины, и блага — в большей степени. Открытый Свет и пространство тут — опасны и смертельны... Смерч и испепеление.

Бог и Аллах — тут Огонь поядающий и испепеляющий, как Судия. А Христос — источник “воды живой” и Богоматерь — Великая Матерь — все эти символы в близком по широте космоса Палестины и Египта...

Из лях — в казахи

Модуляцию в Казахский Космос совершаю ныне, забросив Польский — и симметрично это тому, как 10 лет назад, в 1976 году, разогнавшись писать “Космос Ислама”, был я прогнан женой путешествовать в Эстонию и написал Эстонский Космос (близкий к Польше).

Так что неплохо будет развернуть карты друг друга и им посмотретья-остраниться друг другом.

Польша — посредница между Западной Европой (германством) и славянством и даже Евразией. Была, как и Орда, татаро-монголы, разлита-славна в свое время благодаря еще слабости окружных (России, Пруссии, Украины...), а потом стала тесниться в свои берега и даже уже еще: разделы Польши пошли меж уплотнившимися целостностями соседей; так и Орда распалась на улусы и “жузы” потом: Старший, Средний, Младший...

По стихиям Космоса же тут обратные соотношения: в Польше наличны Вода и Воздух, стихии посредства, и желанны Земля (твердь) и Огонь. Тут же даны просторы жесткой земли-тверди и палящий казан геенны солнца. А желанны Вода и Воздух, легкий, покойный, а не Ветер-смерч-движение в Пространстве.

И **звучности языков**, акустики разные. В польском языке — шипящие = загашение огня чрез роль пани, женщины.

Тут же бренчит “Н”, “Р”, “Ы”, “Е” — такие отличности уловил мой слух. Это сухой космос, мужеский. И если ши-

пящие — то сухие: “Ж”, “Ш”, а не мокрые: “Щ”, “Ч”. Тут звон струны-тетивы — в этом “ННН” при всяком звуке и “Р” огненно-деятельном. А “Ы” — звук Дали, простора. “Е” — вместо “О” = “я” и центра. Тут — скошенность в ширь и бок и в стороны, как и косоглазие: слегка приплюснуты шары глаз, как и носы, придавлены и придалены миндалины глаз. Шар-круг тут в эллипс Ширью растянут.

Также и тяготение О — Ю (как немецкое Ü — “умлаут”) означает тоже скос шара — уже во глубину, в колодец, бурдюк-утробу и требух. В живот, что важнее шара-головы, которой “секим-башка!” с легкостью тут и за все...

Множественное число в тюркских языках — на “лар”: дрожит-звучит женско-мужеское, андрогиния! (“Л” — женское, “Р” — мужское начало).

Вообще разнозвучие в степи важнее разновидности, что в лесу и в средней полосе. Потому такое разнообразие музыкальных инструментов и типов извлечения звука в кочевье. Люди — прислушиваются. И звуки — животны, сурдинны, гнусавы...

Это мы были в прекрасном музее народных музыкальных инструментов в Алма-Ате. Разновидности домры, ударно-щелкающие пары копыт, губные брэнчания — такая изобретательность в извлечении звука: щипок, треньканье... Лук как инструмент, арфа...

Комуз шаманский — раскрытое чрево и поверх него струны, и как бы сама земля говорит из недра своего, а мы слушаем и толкуем звук.

Вообще **толкования** — вот модус восточного Логоса, ибо принята презумпция и постулат, что ни Бытие, ни Аллах прямо не выражаются, но устройением мира и вещей; так что наша роль — не научиться их самим также делать (= принцип Запада) и так упростить и прямолинейно все во тождество бытия и мышления, рационалистическим разумом уловляемое (*причинность = при-творность*: чинить = делать, начинать-кончать), но — угадывать смысл данного завета и сказа вокруг и во всем. **Девинация** = разгадывание — принцип восточного Логоса. Оттого там в таком почете звездочеты и герменевты всякие, кудесники, акыны. (Кстати, слово **акын** — очень космо-акустическое тут: А = простор от земли до неба, высь. Ы = даль понизовая, к земле прижатая. Н = звон сухого твердого воздуха, и нет смягчения=овлажнения-оженствления согласных. К = заднесмычный, на выходе из живота-утробы в горло, как

из гор через горловину ущелья — в степь; и тут взрыв, кашель, отдувание...).

Нет **точного** знания (чей идеал именно **точка**, атом, прямая линия, их связующая, два тезиса и истины), а есть окольно-криволинейное угадывание — не по **данным**, а по *намёкам*, не по **фактам** = “сделанностям” нашей рукой и умом, а по *притчам* = прислонениям нашего ума-разума к вещам, беря и толкуя их как символы и подсказы.

Тут более священства и таинства и чудесности в мире прозревается; блюдетя пиетет и скромность малости нашего ума и “я” — и в этом и плюс и минус Востока. Запад в надменности “я” и его радио слишком упростил мир, а бытие слишком рано объявил легко понятным и управляемым — и вот доуправлялся до грани самоуничтожения — пуще Чингисханова и Тимурова. Уж так своим умом будто бы до всего допер человек тут: и смысл Истории постиг, и как люду во общество идеальное устроиться, и смысл земли-природы и Космоса... Ан нет, в морду получает самодовольный рассудок западной цивилизации: выпустил именно “джиннов” (восточных бесов), с которыми не управиться... Восток оказался целомудреннее и умереннее: уничтожал если что — так человек жизни (черепа Тимуровских курганов), но зато Природу Земли не изувечил и оставил в порядке будущим поколениям. Люди тут проявили самопожертвование: если есть в нас Эрос-ярость-охота к уничтожению чего-нибудь, так уж лучше самоуничтожимся, раз бес наш разум обуял и отнял, но не посягнем на Матерь-ю Великую Природу.

Запад же переоценил “я” человека (гуманизм Ренессанса, “звучит гордо”!) и если что увечил, то Мать-Природу, на нее посягнул, хотя и человек в итоге тоже еще поболее Чингисов поуничтожал...

Итак, умеренность в преобразовании Природы — принцип Востока, его априорное как бы Дао. Из малого внедрения в природу творят многое, интенсивно хозяйствуют: Китай, Япония, Персия; да и кочевники не пашут, не срезают слой земли, а смиренно со животными, меньшими своими братьями, сожительствуют и их уважают, и чтут, и приноравливаются...

Да и в Логосе: не просто это “сравнение” с животными в их литературе — как материал характерно-национальный. Но тут именно *уравнение* человека с животным, его с ним со-мирение: один они Космос общий обитают, и одна, общая нам и животным, тут мера дана и принята человеками как закон.

Демократия тут — равенство и братство с конем и овцой и верблюдом, уважение к ним и приноравливание, значит, и норов свой человек подналаживает под них, что на Психею, характер человека, особь статью налагает. И потому — молчат, как кони и овцы, и верблюды. В себе передумывают-переговаривают. Так и романы-повести Айтматова и Кекильбаева построены: внутренним монологом-воспоминанием-думанием-дедукцией понимания-угадывания смысла всего, своей жизни и ее случаев... Все — как самоколдуны-шаманы: и Едигей, и Повелитель себя расколдовывают, разгадывают знамения, данные им в случаях их жизней-судеб. Молчаливые чрево вещатели...

Народы, живущие среди растений, лесов, — более глагольны, раскрыто-диалогичны: шелестят литературою, прозою диалогизируют; разверзты уста листов, непрерывно шумят-беседуют. И птицы тож... И человеку тут не стыдно многоглаголовать и романом, и философской системой (многотомьем Гегеля или Толстого). А тут — песнь, афоризм, изречение, притча, сказка, легенда — вот жанры, экономные по словам, сбитые...

Хотя стоп! А ЭПОС? “Манас” в сотни тысяч стихов! “Шахнаме” Фирдоуси?.. (“Махабхарату” не называю: она — в буйной растительности и живности Индостана...)

Да, во время перегонов кочевья — молчание и дума в седле, покачиваясь, медитируя полусонно. Но приходит зима, долго в юрте — надо ж время провести. И тут — акыны и эпос, и споры, и карты... Большие картежники, оказывается, — нам друзья поведали про казахов. И понятно: на подушке в юрте естественно тянет к сидячей игре... А уединения для писания — “кабинета” — кельи-пещеры нет ни у кого, скита тут: все на виду в быту и вместе, и каждое слово сразу сообразуется с окружающим людом, а не со вниканием во глубь себя, как в комнатке дома на Западе, — не в русской избе, где тоже не расчленено пространство на части-отсеки и где все — вместе: коллектив нерасчлененных индивидов-личностей. Отсюда и Логос “один за всех и все за одного”, и принцип единоклассности взыскуется в каждый данный момент: всем одно думать... Потом — другое, но опять же всем вместе. А не то чтобы одновременно одни думали одно, а другие — другое, что тоже бы естественно: ведь одним видна одна часть истины, другим — другая...

Но в юрте такое невозможно: единоначалие и единоклассность внутри изыскуемо.

А вот между юртами уже возможен спор. И тягание, и **байга** — состязание: скачки, борьба, айтысы акынов. Этим тоже

заняты, таково препровождение Времени у степняков на стоянках.

Но тут — однокачественность: *вариация* разных образов, а не развитие-диалектика, с рождением-выведением-дедукцией нового понятия и звена мысли, как это в диалогах романа западноевропейского, по шелесту листы сообщением мыслей — (в)идеи.

На Востоке же — орнаментальность и глаголов, статическая вариационность, а не симфоническая разработка. Но вот в романе Кекильбаева или в повестях Айтматова монолог-дедукция: караван-шествие сквозь жизнь и наведение-угадывание смыслов все новых ситуаций — и, значит новые уразумения друг за другом выводятся.

Так что в “Конце легенды” Кекильбаева в итоге выстроилась целая философема: изложена и картина мира природы, и история, и устройство социума, и психики человек разных, и система внутренних мотивировок поведения тонко расчлениена, и там всяческая игра, и психология, и диалектика-разработка. Но все это внутри одного ума-существа, которое таким образом — как бог, набухает, как Вселенная. В самом деле, тут и целая “Полития” типа Платона изложена: система управления людьми, государством и прямо-таки “Князь” Маккиавелли — вот что из уст Повелителя мы: принципы власти народом — узнаем.

Но тут и антропология своя: устройство человека и его существа и ценностей, и противоречивость в нем разных сторон. Отсюда сложное улаживание всего — в душе, в страстях и понятиях. Психология... Тут и бытописание, и эротика... Тут и приведение Величайшего к нулю, что и проделал в своем уразумении Повелитель полумира: что он несчастен и лишен тех радостей, что имеет самый бедный его подданный: простодушие семьи и любви. Что он — раб, сам себя оковал, поработив всех, не шевельнуться свободно ему: все его охраняют...

Тут и теология: от Повелителя полумира один и следующий естественно шаг и вопрос — о Боге, Аллахе, Всевышнем: что Он есть и как Ему живется-можется? Не так ли, как Повелителю смертному? Или нет? Ведь Он, как бессмертный, не окован и свободен даже в сотворенном скверно — из зла и греха — мире своем?..

Интересно смыкание со христианством даже: Юноша-Зодчий, немой и честный и глядящий искренними глазами, перед

Повелителем = как Иисус перед Понтием Пилатом (или Иешуа в романе Булгакова “Мастер и Маргарита”). И вдумываясь в ситуацию свою с ним, Повелитель засылает слухачей в толпу, ловит слухи: не говорят ли о его прелюбодеянии с ханшей? — вдруг узнает молву и слух, что Повелитель, наверное, ослепит Зодчего, чтобы его шедевр остался единственным в мире и не мог бы тот своим талантом подобное или лучше еще сотворить у другого властителя. И Повелитель цепляется за этот подсказ толпы, отдавая ей как бы на растерзание Зодчего, подобно тому как толпа кричала: “Распни его!” и требовала вызволить: “Варавву!” — и Понтий Пилат умыл руки. “И потому самое справедливое — осуществить волю, угодную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи... Все зло, все беды — от черни. Даже кару для него (Зодчего. — Г.Г.) придумала и подсказала Повелителю — она. Что ж... — так и будет! Пусть утешится презренная чернь!” (с. 426—427).

Как любит Гирей?

13.V.86. Хоть и в Институте я сейчас, в кабине душевой в Москве (сегодня — присутственный день, когда мы **при сути** якобы бытия своего пребывать должны), но дух мой и внутреннее видение — в степи казахской, запахи острые трав в ноздрах...

Изменщиком себя чую: взялся тут два месяца назад промышлять Польшу и с энтузиазмом уже месяц писал Польский Космос. Но вот — перебой: другие образы в меня вступили, и бежал я **от Марии к Гирею-хану**.

Хотя вот уже и связь напросилась меж Польским и Тюркским: меж ними Эрос страстный (что в “Бахчисарайском фонтане” россиянина Пушкина, меж ними посредника-наблюдателя, запечатлен) — от противостояния почти полярного. Так что взаимно объяснять они друг друга могут.

Итак, ныне тема: **как любит Гирей?** Раскрываю томик современного поэта Утежана Нургалиева, правда, со сбивающе русским названием: “Березовая роща”, Алма-Ата, “Жазушы”, 1985 (перевод с казахского Валентина Смирнова; кстати, переводами автор доволен — это важно), — и начинаю вникать в образность и дух.

14.V.86. Моя модуляция из Польши в Казахстан получила неожиданное подкрепление: взял книгу “Поэты Казахстана”, и в ней вступительная статья М. Магауина (очень дельная) начинается словами ссыльного в Казахстан польского революционера Адольфа Янушкевича, друга Адама Мицкевича: “Несколько дней тому назад я был свидетелем столкновения между двумя враждующими партиями и с удивлением рукоплескал ораторам, которые никогда не слышали о Демосфене и Цицероне; а сегодня передо мной выступают поэты, поражающие меня своими талантами... Придет время, когда кочующий сегодня номад займет почетное место среди народов, которые нынче смотрят на него сверху вниз”¹.

Тут отмечен важный элемент казахской жизни: СОСТЯЗАНИЕ, спор поэтов, айтыс акынов, “байга” и скачки, и джигитовка. И при этом — красноречие, любовь полоскать Слово во рту — упругое, звонное, тюркское, что рвется, как конь норовистый, а ты его обуздываешь и плавно приспускаешь его бег — изо рта, гармонизуя...

Припоминаются мне речи умные и витиеватые в застолье, за **дастарханом**, откуда и слово-имя города “Астрахань”: произвело оно впечатление на русских, в этом месте соприкоснувшихся с кочевниками: сошлись два Космо-Логоса — в общей любви к “А”, что есть открытый простор (Алма-Ата), и к “Ы” = дали у обоих народов, и к шири степей (“Е” и “И”)...

У жены моей Светланы даже вырвалось:

— Как много и красно говорят за столом! Сколько слов в оборот пускается! Аж стыдно включаться в этот хоровод...

Да, тютчевское “Молчи, скрывайся, и таи...” — тут хотел сказать “непонятно” и вспомнил про **тайну**, что на днях как первоценность здешнего Космо-Логоса ощутил...

Ну что ж? Слово = приправа, растительный гарнир к животной пище. Ну да, стоя и из выси произносится, из вертикали между небом и землей, как и растение. Животное ж — кругляш. Коли не пережежалось бы пиршество словом и скачками = тратой энергии тоже, удушились бы люди: от питания одними концентратами. Слово, говорение — как бы воздухом прореживает, разряжает сконцентрированность и густоту животности. А то живот — да в живот: животное мясо-молоко — да в живот ко человеку... Больно грузно. Да и во христианстве, во западной традиции **смех** и **грех** сопряжены с

¹ Поэты Казахстана. Л., 1978. С. 5.

объядением: прорежают нутро воз-духом карнавальные байки-смешки. Если ж мало едят и постанутся, растительной лишь пищей, — люди таковые спокойны, серьезные — и радостны, но не смешливы и веселы... Легкий дух в них просто и как бы автотрофно обитает...

В кочевой же, мясной, мясо-молочной цивилизации, избыток энергии с пищею входит — и потому и состязания нужны, борьба и потуги-растяги, и спор, и воинственность как готовность на спор — как спорт: мирно, как правило, состязание, игрово...

Но все равно: состояние бодрости и ориентировки на возможного врага и опасность — во Психее степняка.

Вот и вникая: как любит Гирей? (по стихам Утежана Нургалиева) — обратил внимание на следующий оборот сознания:

Пусть замолчат угрюмые **завистники**.
Пусть кто-то скажет — парню повезло.
Есть песня у меня, что для тебя написана,
Живи со мной, всем педругам **назло!**

(Нургалиев, с. 48)

А ведь идут по благости — в луга полынные “встречать рождение голубого дня”. И почему-то ощерен дух воинственно наружу заранее. Душа — в состоянии **априорной обороны** — к миру и людям. Начеку. Потому что в опасности жили — неожиданных набегов.

Те две сверхсилы: Ветер и Вода, что мы извлекли уже в предыдущих анализах, и тут во всеопределяющем диалоге.

Любовь — это ветра шального
Мгновенный порыв,
А жизнь, как дорога
Песчаю-бугристой равниной:
Идешь ты, пыля,
Через кочки степные и рвы,
И след заметает
Ветрами солоно-полынными.
От ветра даст трещину камень (=всмощен он! — Г.Г.),
Пожухнет трава,
Копыта расколется в споре (и тут связь, встреча = спор! — Г.Г.),
С дорогою древесю.
Всему есть конц... (=предел, тело, форма животная. — Г.Г.)
Но бессмертна любовь (а она здесь = Ветер. — Г.Г.),
Воспета в “Лейли — Меджнун”
Мудрым гением (Ветер + Слово = союз бессмертия. — Г.Г.) (С. 24).

А в другом стихотворении возлюбленная — “легкая, как ветер”:

Я — река,
Ты — ветер мой крылатый,
Волн моих страстей
Слепая власть... (С. 48).

Тут — Ветер и Вода, причем уравнение дивное для нас: женское = ветер, а я, мужчина = вода (тогда как обычно у нас наоборот: на Руси женское — вода, русалка, мужчина же — лихой ветер, народ гульливый, “Светер”). Но тут “я” = глубина, колодец, вертикаль вниз — это подразумевается...

В этом стихотворении словно полемика с традиционной образностью старой, арабо-персидской поэзии, где общее место — сравнения с драгоценными камнями:

Видел я фигурки золотые,
Видел их из камня и стекла.
Даже есть и девушки такие
В светлых избах нашего села (= русизмы нынешнего
быта. — Г.Г.)

Поглядишь и скажешь — золотая!
И расстаться с ней, ей-богу, жаль.
Словно камнем рождена другая.
Третья — словно тающий хрусталь.

Ты — и то, другое,
Ты — и третья!
Для тебя иных сравнений нет.
В то же время — легкая, как ветер,
Что сейчас бежит за мною вслед.

А вот это уже — свой, казахски-степной образ, натуральный здесь, в отличие от стилистики драгоценных камней, сюда привнесенной из традиции. И поэт учиняет расправу над этими будто ценностями здесь:

В речку брось — и дна достигнет камень,
Цвет воды хрусталь
В себя вольет.
Золота мерцающее пламя
Потускнеет от свинцовых вод. (С. 48).

Тут совершается приведение начала *формы* — к *первостихиям* просторным: камень — истаивает в воде, хрусталь — цветом воды ценен; да и само золото, сия мелочь, потускнеет

во безбрежности серых вод. Везде торжество раскованности, стихии — над городом формы. И в этом Психо-Логос кочевника прежнего, что в поэте сидит, сказывается.

Еще тут важна мгновенность, что зафиксирована в строчке: “Ты — легкая, как ветер, что сейчас бежит за мною вслед”. Это — импровизационность, констатация сейчас видимого (что вижу — то называю, пою), что характерна для первоисточной поэзии и песенности и чем выжил, как уж упомянуто, Гагарин: в тоске одиночества делал себе собеседником все встречаемое. Это развивает особую наблюдательность, во-первых, но и нескончаемость, во-вторых, словесно-песенного эпоса, повествования, что так тут характерна. И действительно, чтобы окончить такое безмерное-аморфное повествование-сказание, пение, требуется привести к каленуму острию **афоризма**, что именно как драгоценный камень венчает распахнутую стихию. Так — и в балладах Нургалиева. “Кармен” — долгая веселая история из детства: как мальчик с завистью глядел на духи “Кармен” в лавке сельпо, и вот наконец за труд его они ему достались; прибежал домой и облил шубу из овчины и малахай. Облил их духами — но, о ужас! Стали свои вещи противны и невозможны... А ведь хорошо им сделать хотел... И вот — мораль в форме назидания-изречения:

За детский свой огрех —
Одеколон “Кармен” —
Я заплатил раскаяньем и страхом,
Но получил, как пахарь хлеб, взамен
Святую истину: все хорошо, что в меру.
Излишество во всем, что есть, — не впрок. (С. 98).

Кстати, сюжет между Запахом и Видом в этом стихотворении:

“Кармена” запах стал
Противней вони волчьей,
А шуба и штаны имели прежний вид... — (С. 97).

важность чувства обоняния для степняка, животного нюха, ночного, в отличие от способности зрения и вида, и идеи, что более растениям и листьям соответствуют, дневным, солнцеешущим. И недаром в одном стихотворении сказывается, что “лунным днем” он ходит, как ночные животные.

Вот это сочетание в поэтике казахской: **импровизация и афоризм** — тянется сквозь века. М. Магауин — об этом:

говоря, что “средневековые тюркские памятники являются общим наследием современных казахов, татар, ногайцев, киргизов, узбеков, азербайджанцев, туркмен и других родственных им народов”, он отмечает: “Но духовная жизнь степняков имела и свои особенности. Одна из них — создание поэтических произведений путем импровизации, традиция изустного их распространения. (Ну да, это у оседлых народов, горожан, можно записать текст и статуарно хранить. А тут, в Космосе, где “все мое ношу со мной”, Память и есть такой бурдюк и мешок, ходячая библиотека, неотчуждаемая от человека, как его личный колодец бытия — его и рода его... — Г.Г.). Излюбленный жанр жырау (древнего типа поэта. — Г.Г.) — **толгау**, т.е. стихотворение-размышление. (И роман Кекильбаева — монолог-размышление; как долгую думу думают и в седле, каясь будто, героини-рассказчики-повествователи Айтматова: они не “рассказчики” именно кому-то, а осмыслители-исповедники себе! — Г.Г.). Толгау-раздумья — это обычно назидания, афоризмы”. (Поэты Казахстана. С. 6—8.)

Эти черты и у современного писателя мы находим.

Еще на любовь к **многоточиям** обращаю внимание у поэта Нургалиева. Любит этот знак: он выводит из жесткой предельности точки как атома-частицы-индивида-камня — в стихию, раскованный простор, беспредельность и незавершенность бытия (Бахтин тоже: русский мыслитель, в стране беспредельного простора, такой, незавершенный, Логос развивал...), как бы в Ветер, ему причащая и свое слово, сказание вот это, сейчас произнесенное.

Даже есть одно стихотворение, посвященное этой как бы **трехточечности** всего в бытии:

Ждали от облачка чистого дождика,
Но облако, к югу от нас уходя,
Земле подарило три капельки-родинки,
Прозрачные капельки вместо дождя.
И у тебя на лице вижу тоже я
Три родинки маленьких... Видно, не зря
Чем-то ты с облачком ласковым схожая —
В родинках-капельках ты, как заря!
К твоей красоте не подходят сравнения,
Ах родинки эти на милом лице!
Ну, с кем я сравню тебя
В стихотворении?
Я просто три точки поставлю в конце... (С. 44—45).

Эта изящная, как мадригал, миниатюра многосказуема еще этой самонаблюдаемостью певца: свои слова, и как у него слагаются стихи, и даже знаки препинания, — чуёт-слышит как натуральный процесс взаимоперетекания (три капельки — три родинки и три точки...) бытия в слово, и наоборот, так что и словесность включена в бытийственность, онтологична, а не гносеологична, как лишь наше дело и междусобойчик человеческий...

Тут *оглядываемость*, обратная связь: так, кочевник не просто вперед видит, но и вбок косит и как бы сзади себя зрением иль слухом охватывает, как конь хвостом охраняет-замыкает-определяет... Ну да, при том что Космос беспредельности вокруг, человеку надо быть сбитым животом-атомом-телом-юртою, замкнутостью.

И вот поэт — в самом процессе творчества — двойно видит: и вперед, предмет, — и себя при этом деле.

В этом — в своеобразной рефлексии — аромат благоуханного стихотворения: “Стихи... Ну как они рождаются?” И далее в рамке этого вопроса начинает простодушно удивляться и просто фиксировать, что вокруг и с ним происходит, не мудряще:

Вот облака плывут, как страшицы,
На юрты белые похожие,
Иль на табуи коней стреноженных.
Хожу по травам свежескошенным,
Дыхаю луга растревоженный...
Луг пахнет запахами мятными.
А где душа его запрятана? (Стиль вопрошений! — Г.Г.)
Как мне понять ее широкую,
Иль, может, близкую
Иль далекую? (Даль, Ширь, Близь — координаты тут важные. — Г.Г.)
Стоит стог сена разобиженный,
Что красоты его не вижу я.

(Все время диалог и взаимоперетекание душ вещей и моей. — Г.Г.)

Ко мне приходит вдохновение,
Но странно: нет стихотворения.
И ничего не получается...
Стихи, ну как они рождаются? (С. 49—50)

Ну просто прелестно! Чудное стихотворение родилось, но как бы невзначай, как ребенок лопочет, не осознавая, как он

светло-мудр и божествен. Как Моцарт: просто подышал-побаловался пальчиками, а оказывается — Музыка! Гармония! Совершенно — без его усилия и внимания — родились, без пота и старания...

(Знаю, знаю: чтоб такую безыскусственность создать — много искусства требуется!..) Это разом **двоезрение** (вперед на объект — и вспять, в себя) — и в стихотворении про **тьнь**:

Наши тени беззвучно (В этом достоинство зренья тени. — Г.Г.)

Легли с нами рядом:

Силуэт к силуэту...

Родная, взгляни,

Как они нас, слепые,

Копировать рады:

Мы взмахнули руками —

Взмахнули они.

Часто думаю: “Может,

Мы тоже, как тени,

Рука об руку вместе

По жизни идем?

Непопятные близким

Своим отчуждишем

И своим никому

Не известным путем?” (С. 39).

И думаю: в чем особая свежая и чистая нота любовного цикла “Дорога к тебе” (опять — **дорога** — главный символ кочевника! — Г.Г.)? Тут словно **первооткрытие моногамии** совершается, прочувствуется: первоузнаются бездонные пространства внутренне-семейной жизни — вдвоем, без рода и детей даже, а как Две Личности!...

Да, знаю, знаю: давно нет многоженства в быту среднеазиатском и казахском... Но ведь недавно — оно было, и в жаркой крови Эрос многожгучий, неутоленный пылает, как это и в романе Кекильбаева “Конец легенды” остро чувствуется... И если христианской цивилизации Запада сколько веков и тысячелетий было надо, чтобы чувства так воспитались видеть и знать, и любить Единобрачие! — то как это еще внове и свежо на Востоке!..

Вот бытовая вроде сценка:

“Ах, может, не шутка?”

Ну бывает же такос?

Словно божескую милость —

Ни за что! — моя родная
Мне пощечину влепила.

Выясняются отношения — и вот:

Я во всем ей уступаю:
Мою пол и подметаю —
...Закаляю свой характер. (С. 53—54).

Но вернемся к стихотворению “Две тени” и к двоезрению. Как быть и бессознательным, и сознательным в процессе творчества — важнейший вопрос западной эстетики (Кант; Шиллер, “О наивной и сентиментальной поэзии” рефлектирующий; Гете и Гегель и т.д.). Это действительно сюжет: только начинает перевешивать сознательность, рассудочность — тотчас угасает непринужденный полет вдохновения, смелость-дерзость поэтическая опадает... А задачка: как видеть собственные уши?

И вот поэту из номадов некогдашних это, косоглазому, удастся, будто обтекаемо у него скошены глаза! И из рефлексии: “Стихи... Ну как они рождаются?” — возникает наивная поэзия... Об этом же — и теневой рассказ о нас, живых и телесных еще. И вот как — не миг ли смерти? — грациозно передан:

Мы дойдем до Зари,
Мы коснемся Рассвета —
Не руками — сердцами!
Тени наши от нас
Оторвутся, как листья
Сухие от веток. (С. 40).

Это уподобление — как диалог Животного и Растения. **Тень** = плоскость, перевод объема, трехмерности Тела (Живота — Жизни) — на два измерения. Тень = лист. И как лист — на ветке телесной, объемной, так и тень — от тела... И смерть — их разрыв: отлет Тени как бы в самостоятельное бытие — так и веровали древние: в Аид, где тени обитают, иль Луна их собирает...

Еще в этом стихотворении характерные уподобления:

Мы мечтами парим
В небесах, словно птицы,
Притяженье земное
Не трогает нас.
Мы с тобою, родная,

Как две тихих зарницы,
Две слезинки из ясных
Младенческих глаз. (С. 39—40).

Тут взыскуемое тяжелой плотию номада воздухотворение, взлет, причащение Ветру и Небу, развоплощение, превращение в свет (зарницы) и воду (капли слез) — вот какая субстанция желанна человеку, чем быть.

Но и тут ситуация АПРИОРНОЙ ОБОРОНЫ — не дремлет она, опаска, в бывшем кочевнике:

Но мы вместе — кулак,
Два звенящих кипжала!
Нам любовь заменила
И крышу, и кров.

(Пошли образы движения: любовь — что юрта, съемный дом, что всегда с нами, не отчуждаем. — Г.Г.).

Мы в **попутчики** взяли —
Не много не мало:
Веру, Честность, Надежду,
Мечту и Добро!
Добротой мы со **встречным**
Делимся щедро...
Помогите нам, **ветры!**.. (С. 40).

Вообще любопытно, как в произведенном историей сращении быта некогдашнего номада с оседлым земледельцем в диалог вступают символы и с чем себя тут сравнивает человек, а с чем — свое окружение.

Думаю мучительно-тревожно:
Кто я есть? И для чего живу? (Поэтика вопросов. — Г.Г.)
Я качаюсь, словно жухлый стебель,
Кем-то позабытый на стерне. (С. 32).

Это — человек = растение. И вдруг:

А в душе моей
Клокочут вихри,
Жажда странствий
Разрывает грудь. (С. 32).

То есть в душе — пространство степей и вихри-ветры кочевья. Впрочем, они тут чередуются: Вода и Ветер — в субстанциональном истолковании состава человека и явлений. Та же

Любовь, что в стихотворении одном: “Любовь — это ветра шального Мгновенный порыв” ассоциируется со стихией Воздуха, в другом — уподобляется Воде:

Течешь, все углубляясь, не копчаясь,
Река любви, мучительной любви.
...Одн твой берег — рай,
Другой — как ад. (С. 44).

Поэтическую же субстанцию в образном мире (бывшего) кочевника создает так непринужденно совершающееся **перетекание быта в бытие** — и обратно:

Горбатый холм стоит в раздумье вечном:
“Мол, что стою? И для чго живу?”

(Те же вопросы, что и себе задавал лирический герой в ранее цитированном стихотворении. — Г.Г.).

Ужель рожден я для отар овечьих,
Что на моих боках легли в траву?

(Словно Верблюд это, а не холм, и в его шерсти — овцы. — Г.Г.).

Он думает... А встер свосвольный,
Лстящий на почлег за окосм,
По скатам гошит травяные волпы,
Ласкает тучки
Голубым крылом.

(Разлегся холм, как человек на пляже, под зефиром. — Г.Г.).

Нсуемоливо день плывет к закату.
И ветер, как чабан
Седло с коня,
Снимает солнце... и куда-то
За годы прячет до другого дня. (С. 18).

Тут все прозрачно-очевидно — и прекрасно.
Не удержусь привести еще одно стихотворение:

Горные хребты таинственнее чуда
Высоятся сквозь розовый туман,
Словно **одногорбые верблюды**
Вытапулись **горы в караван.**

Становится в один ряд это поэтическое созерцание с всеизвестным Лермонтова из Гете: “Горные вершины...” — глупо

кая, сосредоточенная душевность. Но для оседлого и растительного сознания западноевропейского и русского поэта горы = образ недвижимости, искомого покоя; при них растительный образ: “не дрожат листы” и дорога снята, как чуждь и мука (“не пылит дорога”); а тут:

Лесом обросли они, как шерстью,
Обросли взлохмаченной шудой (= шерсть на шее верблюда. — Г.Г.)
Связаны буйдой (= веревка к палочке сквозь иоздри верблюда. — Г.Г.)
Друг с другом вместе —
Солнечным лучом, как бичевой...
Аруаны (= одногорбые верблюдицы. — Г.Г.) — снежные красавицы!
Не мечтал я б больше ни о чем,
Если бы вы решили в путь отправиться,
Я бы стал для вас проводником. (С. 29).

Родное состояние — движение, кочевье... В нем — покой. Прямо-таки Галилей! Уравнение в Психее, в душе, по ценности — состояния неподвижности — и равномерного прямолинейного движения. Тот ПОКОЙ, что для растительно-оседлого существа — в абсолютном нешевелении, он же для души кочевника — в равномерном покачивании в пути, в колебательной медитации верхом, в думе. Относительный покой — в нем пребывает субстанция и душа кочевника...

Покой нам только снится! —

вздыхала русская душа в стихотворении Блока: мука вечного странничества русского, усталость от пути-дороги нескончаемой, беспривальной истории... Хочется “умереть — уснуть” — отдохнуть: “Мы отдохнем!” (мечтает дядя Ваня), увидев небо в алмазах в миг расставания души с телом... Иль — под дубом, как Лермонтов...

Но тут я только затрагиваю этот сюжет — Даль и Дорога и странничество в русском и казахском Космо-Психо-Логосах... Его надо детальнее промыслить и посравнить — в ценностных акцентах.

Но уже так видится: кочевье — кругами-возвратами, совершается, как маятника колебания (в меридиональном направлении, как правило, — так это в быту казахском: и на тысячи верст бывает, но с возвратом). Русский же порыв в даль, в путь-дорогу — линейен, безвозвратен: однонаправленная бесконечность тут, а не бесконечность типа шара-круга. Однако именно из-за невозвратности так и остается этот порыв на стадии

порога (Берег, Порог и Канун — русские архетипы-символы в пространстве и времени).

Да, вот еще образ, демонстрирующий быт бытия тут: “Небо — как скатерть. А солнце — пиалкой...” (с. 45). Мир — как Дастархан.

Логос кочевника

15. V. 86. Зайдем теперь с другого конца — с философии. Подкрепить сторону Логоса надо в моей постройке казахского Космо-Психо-Логоса. А то Космос все время имею в виду: природу и быт, душу и психику тоже, через анализ стихов, в которых природа переливается в чувство, рассматривал вчера через поэзию. А вот Логос, в который вгрызался на днях, анализируя роман “Конец легенды” Кекильбаева, — пооставил.

В помощь себе беру книгу Е.А. Фроловой “Проблема веры и знания в арабской философии” (М.: Наука, 1983). Тут общий духовный субстрат этого региона рассматривается, и хотя Казахстан — на его обочине территориально, но и Аль-Фараби считается тут своим, и исламская цивилизация наложила свой отпечаток.

Показательна сама этимология слова **илм** = “знание”.

“В книге английского исследователя Франца Роузенталя “Торжество знания” илм (знание) этимологически объясняется как **знак, веха**... Хадис — “тот, кто **идет по стезе** в поисках знания...” — как бы воспроизводит стилистически поиск бедуином дорожных вех... Вехи как родоплеменные знаки могли обозначать границы кочевья племени, направление его движения, и они также были принадлежностью племени. Поэтому нередко говорится о “скрытности” знания, как в хадисе: “Тот, кого спрашивают о знании, но кто держит его скрытым”, или: “**Я пошел** к племени Бану Лихб в поисках у них al-ilm, поскольку ilm тех, кто умеет **гадать**, отдано им” (с. 12).

Итак, Логос — это дорога, стезя, путь, вехи-метки, его означающие среди заносов песков в пустыне бытия, проложенные караванами предков пути...

Что знание это “путь” — и в других языках и народах. “Дхаммапада”, например, в Индии и буддизме — “путь дхармы”, или “стопа, шаг дхармы”, “пядь дхармы”: от ноги человеческой корень слова. Но в слове “илм” именно *веха* постав-

ленная — сверху, не рожденная, не принадлежащая телу, а как бы с неба, усилием труда произведенная...

И второй важный аспект: **сокрытость, тайна**, так что об Истине и сути и значении надо **гадать**, по **намёкам** отгадывать, не имея прямого рационалистического сказания. Потому в культуре этого региона, и Казахстан включая, такое почтение к тем, кто интуитивно постигает, в частности, к певцам и поэтам. Поясняя термин “жырау” как древнейший тип певца-поэта, М. Магауин пишет: “Некоторые из них выступали также в роли абыза (предсказателя, кудесника), т.е. толковали сны, разъясняли приметы, пытались объяснить явления природы” (Поэты Казахстана. С. 7).

Важнейш также **медицинский** поворот Знания и Философии в этом регионе, венцом чего стал “Канон” Авиценны... Тут — Логос Живота=Жизни, ценность животного и в человеке, сюда вперенность ума и взгляда, в отличие от Запада, который обратил ум прочь от тела человека — на природу, чтобы ее воздвигать в технике и индустрии, Недаром на Западе Мысль влилась в термин “про-мышл-енность”. Тут ургийный акцент философии и науки — постичь Логос вещей и явлений Природы, их субстанции-подстанции, смыслы, чтоб ДЛЯ человека их использовать, подсоединить снаружи.

Восток же — и тем славна восточная медицина — оставляет наружную природу в покое, а вот в жизнь-живот-тело человека и животного — вглядывается, ценит превыше всего. Притом не хир-ургия (от “хейр” — “рука”, греч.): резать, анатомировать тут, например в Индии, — запрещено; и потому Тело — как Тайна и Сокрытость, намеками дает о своем состоянии знать, так что философу-мудрецу-врачу надо отгадывать по косвенным, а не прямым про-явлениям = представлениям, как это в Логосе Запада. Да, в нем Пред-мет, Пред-ставление, т.е. то, что прямо передо мною, перед умом субъекта стоит, кратчайшим как бы путем прямой линии от субъекта к объекту. На Востоке же — пути окольные, зато не мешают своим взрезом-вмешательством в нормальную жизнь явления, как это на Западе, где прибор так вторгается в объект эксперимента, что его чуть ли не убивает... Восток же наблюдает, не экспериментирует, зато имеет вещь и явление в его собственной, не нарушенной жизненности...

“Лечение предоставляло собой обряд, — пишет Е.А. Фролова о здешней языческой медицине, — во время которого

жрец обращался с заклинаниями к одному из божеств, а рядом с жрецом находились два его помощника, один из которых держал книгу заклинаний, а второй — ящик с медицинскими снадобьями. Один, изгоняющий из больного нечистую силу, символизировал один путь знания, второй, дающий больному простые лекарства или разного сорта питье, — другой путь” (с. 12).

Слово и Вода — вот благие в здешнем Космосе силы, сути, стихии. И Слово — как вода: они спарены. Недаром и Христос самарянке у колодца свое учение и Слово сравнивает с живой водой: “Всякий, пьющий воду сию, возрадет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек” (Ин. IV, 13, 14). А Космос севера Африки, где этот ход сознания проделан, — сроден со среднеазиатским, куда потом ислам распространился. И крещение — Водой и Воз-Духом, причем Слово из уст играет роль Духа.

Вот еще акценты, характеризующие здешний Логос как Животный: его имея моделью главной (а не Растение или Творение). Мутазилит знаменитый аль-Джахиз (775—868) основной своей книгой имел “Книгу о животных” (с. 19). Даже Аллах имеет руки, лицо — в это должен верить мусульманин, но “не спрашивать как” (с. 26).

Это тоже важнейший принцип гносеологии: блюсти **тайну**. “В IX в. Ашари выдвигает... тезис **бия кайфа** (“не спрашивать как”)” (с. 26).

Западный же Логос именно этим вопросом занят: *как* устроено нечто, как сделано? — и даже склонен отказаться от вопросов: “почему?”, “зачем?”, “что есть, значит?” — а лишь бы знать, *как работает* нечто (прагматизм и техницизм нашего века — “ноу хау”).

“Не постигают Его взоры” — Аллаха. Зрение тут унижено, и запрещено изображение божества, тогда как в христианстве иконопись утвердилась. Зрение ниже слуха и даже запаха (это в ковчеге).

Логос кочевья, как исходный и для ислама, сказывается во многих образах и уподоблениях: “Ищи знания, даже если оно так **далеко**, как Китай”. “Поиски знания открывают дороги в рай” (с. 20).

“Аллах хочет разъяснить вам и **вести** вас по обычаям”. “К вам **пришел** посланник с истиной...” (Сура 4, 31, 168).

Также диалог Прямой и Кривой: человеку присущ околный Логос гадания и лганья. Прямым лучом лишь Аллах смотрит

рит: “А если вы скривите и уклонитесь, то Аллах сведущ в том, что вы делаете!” “Поистине, Аллах — над вами надсмотрщик!” (Сура 4, 134, I) — как над стадом.

И вспомнил я, как Гадильбек Шалахметов мне четверостишие Аль-Фараби процитировал, где есть такое сравнение:

Земля — **привал** в твоей судьбе.
Лишь Космос — истинный твой дом.
Ты вечно в нем, а он — в тебе.

Вот и космогония, и геософия — глазами кочевника.

Нам же он, Шалахметов, посвятил такое четверостишие свое:

Кто жаждет истины, придет свой час — **напьется**,
Поймет закон пророков и послов.
Молчащие акыны — **цепь колодцев**
Среди барханов измельчавших слов.

Предопределение и свобода воли

16.V.86. Главный для поведения человека в мире философский вопрос — это Предопределение и свобода воли. В западной традиции он поставлен уже в мифе о грехопадении: человек свободно выбирает — и вот преступил запрет Бога, но мог и не преступить. Также и потом всегда... И хотя Бог все ведает наперед и предузнает, как поступит человек, но это его ведение как бы констатирующе, а не ведуще; ведет же себя человек сам.

В восточной традиции подчеркивается более Предопределение: все в воле Аллаха, пресловутый исламский фатализм (“ислам” = “покорность”), но и здесь “Васил ибн Ата (700—749), основатель мутазилизма, утверждал, что во внешние обстоятельства человек помещен богом, но поведение в них зависит только от него самого” (*Фролова*. С. 19). И “мусульманские секты расходились между собой по вопросу о том, “может ли человек сделать то, о чем Аллаху известно, что этому не быть. Мутазилиты допускали это” (с. 23). И они “противопоставляют... свободного человека до известной степени несвободному богу” (с. 29).

Но потому человек и вменяем и ответствен за свои поступки и подлежит конечному суду, и не имеет права роптать и винить Бога: мол, ты повинен, что я такой и так поступил...

Еще в более раннем, языческом, состоянии мира этот вопрос предстает как соотношение судьбы и гадания. Мурат Ауэзов в своей работе “Энкидиада” излагает казахское предание о том, как беременная женщина увидела во сне двух волков и пришла в соседнее стойбище за истолкованием сна. Гадателя не было, и сон ей взялась истолковать его дочь (иль ученица? — не помню), и она с горестью сообщила той, что ее растерзают два волка. Несчастливая пошла домой — и по пути ее растерзали два волка. Когда вернулся сам предсказатель и узнал о том, как его ученица истолковала сон, он вознегодовал: оказывается, сон значил, что у женщины родятся два батыра! И так бы и случилось, коли бы с таким предсказанием на душе и в воле с этого мига начала дальше жить эта женщина.

Вот что значат Тайна (того, что будет), Намек (во сне), Знание (данное истолкованием) и Воля (как вести и на что нацеливаться человеку). В хороводе этих явлений важнейша, значит, настроенность человеческой воли: ко благу иль ко злу. И этот ряд можно, таким образом, просчитывать с конца: если бы была выбрана умом вопрошавшей женщины (персонифицированным в Предсказателе) воля к радости и благу, соответственно был бы истолкован Намек сна, и Тайна бы раскрылась — совершилась как радостное событие, происшествие в бытии.

Вообще в казахском сознании, в жителях вольных степей, на обочине жесткого исламского мира, — акцент на свободе сильнее, чем в обитателях земледельческих и городских регионов, где статуарно высятся мечети и бдит государство над исполнением шариата. Тут же мечетей нет, а ислам — в слове лишь и памяти и обычае: не в камне, а в мыслящей душе человека, которому вольно, много времени — раздумывать, качаясь в седле, и перерабатывать в своей глубине, в своем колодце попадающие туда слово и мысль.

Вольномыслие поэзии

И именно это — раскованность и вольность — излучаются из казахской поэзии. Вчера прямо зачитался томиком стихов: пахнуло чем-то очень иным, в сравнении с привычными мне канонами западной и русской поэзии. В чем тут дело? — попробую вникнуть.

Во-первых, как бы **прибытийность** Слова, его **подруч-ность**: запросто им называются свои нужды (как в “заявлении” излагаются), обсуживаются практические вопросы: где и как стойбище установить? — и все выходит — **ПОЭЗИЯ!** Она — свой брат, свойска, фамильярна, приторочена и приурочена.

Вот “Обращение к хану Джанибеку” Асана Кайгы (Печального), жырау (поэта) рубежа XIV — XV веков.

В родной степи было много зверья,
В озерах — играющих рыб,
А в зарослях наших лесов всегда
Мы пищу пайти могли б.
А ты не хотел жить на речке Жем,
И место сменил народ.
Уил тоже местом хорошим был,
Где бы мирно пасли мы скот.
Воды Уила прозрачней слезы,
Но ты не хотел жить и там.
С Уила заставил откочевать,
Куда и не ведал сам.
Зачем раздобревший на пышных лугах
Народ ты тревожишь опять!
Двух всадников ты на резвых конях
Отправил места искать

— вот сейчас: так и слышится сиюминутность стихотворения: по поводу текуще происходящего — живое слово, даже не “импровизация”, что есть некая ритуальная игра и отлет от бытия. И заключает дельным советом:

А если б по очереди менял
Едиль и Яик ты и нам сказал:
Яик — для пастбищ, Едиль для зимы, —
Ты сам бы тогда богатым стал,
Богатыми были б и мы.

(Поэты Казахстана. С. 73 — 74)

А вот письмо Акмуллы из тюрьмы царской:

Всем привет, кто печется о здравье моем,
О себе расскажу я подробным письмом,
Пища в рот не идет, кровью горло полно,
С мертвцами в соседстве мы так и живем.
До рассвета не спим мы, в тревоге паш дух,
Повредились от бед наше зренье и слух.

Все с клопами и блохами боремся мы,
Как паук, расставляющий сети на мух.
Называется наше жилище — тюрьмой.
...Черный дом все лицо мне покрыл желтизной.
...От пустого лежания ноют бока.
...Жидкий суп из крупинок без мяса — еда.
Ешь, и катятся слезы при этом всегда. (С. 219—221).

Вроде бы — перечисление немудрящее, документальное того, что есть, приключилось с его жизнью и личностью... Обругать бы это: “приземленность”, “натурализм”! Но так, коли без слуха ты, а он безошибочно сигнализирует: тут живейшая поэзия, искореннейшая!

Да — именно в этом дело: источно-родниково тут слово прямо из души-жизни: так к ним близки и из них, что дальше некуда. Нет отчуждения слова в собственную ритуальность и мастеровитость, где просто гирлянды плетутся из традиционно поэтических образов, где поэзия внутри себя — и так выдыхается и скучна становится (как это происходит в нынешней профессиональной мировой поэзии как признанном роде искусства...).

Итак, первично-жизненность поэзии, песни, что как ветер степей, вольный, и из души дыхание, не спросясь, льется.

И именно в этом — дух и аромат вольности: что каждый может и она проста, поэзия! — такое детское ощущение всепричастности ей и к ней: она — простейший язык Бытия, меня обслуживающий, самочинный, безудержный.

Это — поэзия как язык личности, ее голости и раздетости, кровь нутра. Тут она — живая **вода**.

И вот и она — как **ветер**: в миру, на состязании — **айтысе**, как поэтическая байга, скачки — состязания поэтов — при народе.

Жанр **айтыса** — это поэтический **спорт(т)** — игровой и веселый. Тут тоже свои ритуалы: самопредставление сторон, взаимные поношения — “критика”, гиперболическое самохвальство — дозволены эти приемы, как в борьбе — подножки и захваты и пр. Но чтоб при этом красиво, умно, остроумно — в этих рамках разверни свои и идеи, и мысли, и понятия о мире: отвлекайся, как и куда хочешь, но чтоб к месту: меру знай...

Читаю восхищенно классический айтыс Биржан-сала (вторая половина XIX в.) с поэтессой из Семиречья Сарой. И

это еще дивно в казахской поэзии: вольные женские голоса. В кочевом быту — не то, что в земледельческом: не забить, не запрятать женщину в терем за дувал-забор. Она и джигит, и глагольна, самостна и самодвижна: свой конь под ней.

Вообще в социуме кочевого народа минимальные принуждения человеку со стороны общества — так же, как и предметность минимальна, не избыточна, не самостна, а по мерке сил человека: ведь ее снимать, переносить должно рукам каждый раз, в том числе и женским, детским. Нет отчужденных форм законности (здание суда, тюрьма, гильотина), а они в обычае и сознании, и потому обсуживаются внутри вольного человека, и он позволяет от себя поправки давать и закону, и ханам. И особенно — поэты: себя призванными чувствуют быть голосом народа и истины бытия и должного — и совести посланниками.

И полезность этой роли даже владельцы чувствуют. Вот приходит поэт Шернияз после разгрома восстания Исатая, в котором он был участник рьяный, с повинной к палачу восстания, султану Баймухамеду.

Султан, где былая юность моя?
Одинок я, как старая кляча твоя.
Словно палки всевышнего хлещут меня.
Никуда от беды не укроюсь я.
Я босой, я стою перед тобой — на снегу.
Если хочешь — казни. Все равно не сбегу.

“Кто ты такой?” — спрашивает султан. Поэт рассказывает о своем роде свободном, смело — и о том, что он сподвижник Исатая. Султан являет милость: дарит шубу поэту, который пришел в лохмотьях, и поэт начинает славить его щедрость и дочерей красоту. На это султан скептически замечает: не все хороши. Говори и плохое — и про меня. Трудно поэту решиться:

Султан, тебя создал хорошим сам бог,
Зачем же я буду кричать, что ты плох?
Велик твой предок Арыстапбек...

(Непременно через предков себя и других Логос казахский человека аттестует: предок = причина, на правах этой отчужденной категории европейского Логоса тут.)

Но рядом с тобою он нищ и убог.
Язык Шернияза остер, как пила.

Тебя возвеличит моя похвала,
Но если плохое скажу о тебе,
Простится ли мне на султана хула?
Нечаянно слово плохое скажу —
Недолго потом я живым прохожу,
А если всю правду скажу о тебе —
Ты тут же предашь Шерияза ножу.

Баймухамед: Головы не сниму, говори только плохое.

Шернияз (сперва он колеблется, а потом вспоминает, что хан не приказывает дважды, и продолжает):

Аула такого пайти я не мог,
Чтоб ты не ограбил его и не сжег.
Какой ты султан? Ты легавый кобель!
...Казахский народ проклинаят тебя.
...И ты с Исатаем тягаться посмел,
Который, как ясное солнце, горел!
Какой ты султан? Ипородец-калмык —
И тот бы с тобой рядом сесть не хотел!
И ты управляешь народом теперь —
Сварливый, как баба, и злобный, как зверь! (С. 199—204)

Но султан сам напросился на эти поношения — и приближает к себе певца. Это словно ритуальные обличения, что, как массаж и душ земного мучения, облегчают человеку будущий ответ на Суде. И даже властитель их приемлет: нужен поэт — и в такой функции. И когда поэт сначала было стал славить его и его дочерей, тот: **“Баймухамед:** Проклятый! Хвалебную песню каждый споет! А ведь точно так же, как неодинаковы пальцы на руке, среди моих дочерей есть и хорошие, и плохие. Хороших — хвали, плохих — хули”. Потом просит похулить ханум (ханшу-жену), и поэт начинает ее поносить:

Раскоса ханум и курноса ханум,
Подобна свишь, что там ни говори,
Спокойное с эдакой сукой житье!
Как будто бы блохи заели ее,
На месте не может она усидеть.
Правдиво ль, султан, песнопенье мое? (С. 202).

И тогда Баймухамед просит спеть что-нибудь плохое о себе. Мы это уже приводили.

Вообще жанр **проклятья** магичен и поэтичен: в нем **воля Слова** — как стрела. Вот у Мурата, поэта XIX века:

Вдаль за временем время идет,
Иссякает без сил и без крыл.
Будь же проклят наш край,
Что все время изменю жил... (С. 253).

И им же написано сильнейшее “Проклятие калмыка”:

“Один калмыцкий князь по имени Церен-Жап совершил преступление против Белого царя и, покинув родину, скрылся во Внутренней орде. Но Букей-хан исполнил требование царя, велел поймать и выдал беглеца. Вот что тогда калмык сказал хану:

На деревянного коня (= гроб — Г.Г.)
Спешешь ты посадить меня.
Но на него — ведь смерть хитрей —
Ты сядешь тоже, хан Букей.
...Пускай твой край захватит враг,
Пусть разорит он твой очаг,
Пусть конница погонит пыль
Оттуда, где течет Едиль. (С. 256-257).

“Честь выше смерти”

17.V.86. Еду в деревню на сев, читаю “Абая” Ауэзова¹. Да не надо прочих книг, чтобы почувствовать казахский быт и дух!

И вот соображения.

“Честь выше смерти!” (с. 38). И верно: в животноводческом народе, где и люди, как ягнята, изобильно рождаются, одиночная жизнь мало значима. Важнее же — Закон, что создает незримое Общество из тел человек. Их народить сколько угодно можно — голов. И потому за Закон адата можно приносить жертвы.

Но этот же принцип действует и между личностью и ее телом: личное достоинство, честь сильны в человеках тут, и за имя свое не жалеют своей жизни.

И вот узрел я преимущество удельности, феодальной раздробленности. Когда много очагов живой самости, то на каждого индивида ее доли больше ложится, и в нем сильно собственное достоинство: и смел он, не дает в обиду себя и ближних, заступится за обижаемого соседа. Вольные перегруппировки родов: когда Кунанбай обидел жигитеков, род Божея

¹ Ауэзов *Мухтар*. Путь Абая. М.: ГИХЛ, 1971. Т. I.

вступается. А за того — род Байсалы. Нет диктатуры, и могут люди пикнуть.

Когда же устанавливается могучее Единое Целое, личность расстается с собственным достоинством (“перед властью — презренные рабы”), и все достоинства перекачиваются в Целое — патриотизм.

Мудрость кочевого устройства жить

19.V.86. Зачитался “Абаем” Мухтара Ауэзова. Давно с таким увлечением не читал. И следишь с захватывающим вниманием не за каким-то детективом, что в тебе подлые чувства дразнит, на них рассчитан, а за драмой и воспитанием целого народа. Эпопея. “Илиада” и “Одиссея” вместе. Илиада Кунанбая=Агамемнона. Одиссея — Абая, кто вырывается из круга тесного патриархального мира в чудесный мир духа, культуры, личности и свободы и современной цивилизации, отправляется в путешествие, но все время с Итакой в душе и уме: с возвратом и служением своему народу...

Никаких мне теперь этнографических описаний быта казахов не нужно, все есть в этом романе: обычаи, ритм кочевья по временам года, природа, склад души мужской и женской там, многообразие характеров внутри национального целого; обряд свадьбы, поминок, игры, скачки, айтысы... “Энциклопедия казахской жизни” — хочется словами Белинского (про “Евгения Онегина”) выразиться.

Правда, поймал себя на воинственно-охотническом азарте при чтении: когда один род, какой его член, совершит несправедливость в отношении другого, вздымается в душе гнев и алчность отмщения обидчику, и на этом импульсе не можешь оторваться и не прочитать, что будет дальше. Но тут все — субстанциально жизненно: и страсти, и оскорбления, и споры, и отмщения. Это тебе не подвески королевы, из-за которых сыр-бор у Дюма и за коей безделушкой мы сии повествования глотаем...

Что же я в целом о Казахстве могу заключить? Чему удивляюсь по ходу чтения “Абая” Ауэзова?

Страшно много едят — и при том не травки-картошечки какой, слабо-энергичной, вегетарианской, а мясо разнообразное: баран, конина, корова; молоко и кумыс... И в общем не надрываются в труде руками и ногами, как земледелец: соха, дрова, изба — непрерывно расходует то немного, что съел. А тут — страшный избыток энергии накапливается в людях: кровь так

живчиком по жилушкам и переливается — и потому ищет себе эта энергия проявлений. И вот — многоженство (наевшись, куда девать энергию? В женское лоно: детей плодить — как приплод животных: неограниченный), джигитовка, схватки рода с родом — за пастбища, за зимовья, угоны стад (“барымты”), возвратные отмщения — и так цапаются веками, накапливая злобу — и рассасывая ее в примирениях через женитьбы между враждовавшими родами, через перекомбинации с другими: удары, кровь даже, свалить с седла, связать, приволочь на аркане, унижить, но не убивают... Тоже некие правила игры: свой ведь род и народ; знают, что все = друг другу родственники, пусть и дальние. И скреплены памятью общих предков и почетом к ним; слушают третейские приговоры и разборы старейшин, а они независимы друг от друга, как независимы и роды: союзы, расходятся, отмщают, за обиду одного рода призывают на помощь соседние; но нет тотальной жесткости и необратимости навсегда: если кто других задавил, то уж и намертво, как когда нашествия других народов: монголов, джунгар; те действительно вырезают повоенные народы. Да и то, не столько кочевников, сколько города и горожан беззащитных. А кочевники — разбегутся...

Еще удивляет: куда идет накапливаемая энергия — уже не личностей, а народа? Она не отчуждается, как у горожан: в строительства прекрасных зданий и памятников искусства и величия страны, где истощается народ и люди. Очень мало тратится энергии во вне люда и быта своего, а все на себя же возвращается: в узоры юрт, в ритуалы общения и гостеприимств и празднеств, многонедельных даже, как поминки и свадьбы. Ибо надо же чем-то занять себя, кроме пастьбы и дойки — не так уж и много времени берет этот труд. То есть избыточный продукт не идет на сторону, а самими же и поглощается. И не усиливаются его производить все более и более — ценою истощения субстанции человеков, в хлипкость и хилость их вводя... Но зато тонкости психологические разрабатываются: как посмотрел, сказал, уважил, встретил... Косвенно-окольных себе путей ищет избыточная энергия — для дифференциации и траты: и вот сложные орнаменты плетутся из встреч, и бесед, и воспоминаний, и рассказов, и песен... Устно-душевное употребление энергии, внутри человеческих существ и коллективов. Хитрость, тайна, слух, бурные взрывы обид, вестники, разбирательства, дипломатия тонкая...

То есть энергия не уходит наружу, а в кольцо своего круга жизни возвращается назад — через нити родовых переплетений, породнений, связей, слухов. Казалось бы, рассеяны аулы и люди по просторам, и нет площади, где встречаться, как в городе, ни парламента, ни клубов, ни кафе, а все все знают, есть общественное живое мнение, непрерывно оно ткется, на него работают, перекачивается волнами: похвала, осуда, отмщение, прощение. И баи и старейшины дорожат мнением народным, знают, что не пройдет насилие безвозмездно, аукнется, ибо есть обратная связь — внутрь, ударяясь о кольцо-опоясь племени...

И каждый так или иначе защищен — родом, как юртой. И если в начале действия эпопеи Кунанбай совершает бесчинство над бедным Кодаром и его снохой, обвинив их в сожигательстве и повесив, то это послужило поистине завязкой: оскорбило роды и подвигло на отмщения, как и в “Илиаде” бесчинство Агамемнона, отобравшего Бризеиду, возлюбленную наложницу, от Ахилла и тем превысившего меру своей власти, нарушившего круг ограничений, и так он вызвал цепь отмстительных себе и грекам событий “Илиады”.

Но и здесь: когда Кунанбай отправляется в хадж замаливать грехи, появляется Даркембай с племянником казненного Кодара и, как судьба и проклятие, и возмездие, бичует и не дает покоя душе и замолить грех — и при всем народе это, и некуда деваться, станет тут же известно в круге племени, перенесется из рода в род: ведь что делать кочевнику? Или одному думать, вспоминать и петь, или общаться, рассказывать, обмениваться знанием событий в жизни ближних и соседей — всех, а не только именитых (как ныне газеты — о властителях и “звездах”).

Еще удивлен я был, что и в рамках этого быта возможны и личные страсти, и любовь, и измены, и тайные свидания, и не забыта женщина так уж, как думалось раньше мне.

Но что же у них — отмершие ноги? Не ходят пешком, не сидят на высоте стула, а на полу, на подушках — или в седле... Ноги — клещи и клешни, чтоб вцепиться в животное тело и с ним слиться в симбиозе.

Мой друг, художник Юрий Селиверстов, на днях хорошо о кентавре рассуждал:

— Животным органам естественнее располагаться не друг над другом, как это в человеке, где желудок давит на диафрагму и многоэтажно расположение: легкие, сердце, желудок, пе-

чень, мочевой пузырь и пол и т.д., — но одноуровнево, горизонтально, одноэтажно, как это и есть в четвероногом, где эти органы рядом, а не иерархичны: меж них — демократия и равенство уровня и отношения к силе тяжести, и нет привилегированных... — но и обделенных. У человека мозг высоко, привилегированней в отношении силы тяжести и низа, зато обделен в кровоснабжении — труднее всего туда кровь поступает.

Так вот в кентавре идеально получается: животная часть единого этого существа передана коню и располагается горизонтально, а душа и дух, и ум, и свет — возвышены вертикально, но не так, как в фигуре человека, где без меры вертикаль, а в меру: и то и се есть, так что и в мозг близко кровь поступает — и умны кентавры: Хирон — наставник Ахилла.

Так что вместо ног у кочевника — конь. Другая комплектация и конституция тела даже: короче оно — до зада и динамики своей. Ноги — орган статики: захват, а не ходьба ими. Ноги — домкрат, тиски — на то употреблены, а не на вольный размах ходьбы, в коей рассеивается и растекается и половая охота. Тут же она притекает: вся энергия и кровь пригоняется силой тяжести ТУДА — все соки.

Хотя трение о тело коня тоже отсасывает: с конем Эрос отчасти, туда расходуется то, что не ушло в женщину.

Ну и вообще — вся область зада тут перенимает на себя Эрос, и растекается он по всей обширной плоскости, а не точно передан.

А обычай сватать еще детей: так породнять и переплетать = мирить и обвязывать членов рода-племени! Так обвязывают энергии вражды и злобы: через доступный природный способ; **пол** — организатор общественных отношений и их учредитель. И это именно общественное дело, а не лично-индивидуальное: кто с кем сойдется на порождение — это дело старейшин и аксакалов. Чтобы не вырождалась порода людей, нельзя вступать в брак не только близким родственникам, но и дальним. У евреев уже можно на двоюродных жениться — и как же это не повело к вырождению их телесности, а напротив: зрим такую их цепкую и мощную жизненность?.. Продумать это.

Как должен каждый помнить по вертикали своих семь предков, отцов-матерей, так и жениться не может внутри этой вертикали: может, она отчасти и для регулирования браков создана. Точнее — в этом их взаимодействие и работа друг на друга: отцовства (культы предков) и брачевания (культы по-роды), разумность и общественное регулирование образования семей

и домов, и детей, выведение существ общественным отбором (не естественно-животным-гонимым и не искусственно-ургийным, рассудочным).

Но тут тоже сюжет: индивид защищен родом, не дадут своего члена в обиду — и потому в нем и смелость, и достоинство, и честь, и энергия желаний и проявлений... Но за эту охрану и членство в роде индивид платится личностью и личной любовью и мыслью: должен считаться с обычаем и тем, что принято, и в рамках этого лишь шалить и озоровать, не давать волю чрезмерности чувств и мыслей, и слов. Они тут и не должны рождаться. А если возникают, то в ритуальных выродках: поэтах, акынах, дервишах (в оседлом быте и городском).

И вот сюжет “Абая” — на рубеже рода и личности кентавр такой: любит и знает, и ценит закон народа своего, но и вкусил от цивилизации: город Семипалатинск, русский язык, книги, Пушкин — и это манит и перетягивает: “Я еду не веселиться, — говорит Абай жене, объясняя отъезд в город, — а добывать человеческое достоинство” (т. I, с. 344).

И потому свой труд по самоучению русскому языку с правом приравнивает тяжкому физическому. А то, что прочитал повесть Пушкина “Дубровский”, с постройкой дома сопоставляет.

И символично, что взрослый Абай учится русскому; так и казахский народ запоздало причащается к современной европейской цивилизации — в этом и минусы: поздно, но и плюсы: молодая нерастраченная энергия подключается — и свой мир и опыт и круг сознания, своя развитая цивилизация и точка зрения вносится в мир и творчество мировое.

По образу и подобию кочевого быта и Слово учреждено. Его — много: есть, где и когда говорить и петь.

Оно — приближено к жизни (как укорочено тело кочевника), не отчуждено, запоминаются яркие слова, сказанные кем-то в седьмом, может, поколении, из предков, и в какой ситуации, и разносятся устно в преданиях. Также и ныне спонтанно возникают речения и песни по принципу: что вижу — говорю, что происходит — в песне сказую.

С этого и начинается “Абай”: возвращается из города домой подросток, а сопровождающий Байгас “стал шутить с подростком, как взрослым:

— Натворил дел, а потом “простите меня!” Совсем как в моей песне:

Нагрузи верблюда в поход —
Терпеливо он все снесет.
Но боюсь и подумать я:
Ойкапа как стерпит моя?

Абай не понял:

— Как вы сказали, Байтас-ага? Кто это — Ойкапа?

— А ты разве не помнишь Ойке, мою жену?

— Конечно, помню. Ну и что же?

— В прошлом году я прогулял все лето, гостил по всем аулам, веселился с девушками и молодыми женщинами. А когда пришел конец беспечному житью, у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть в лицо жене. Ну я и решил заранее смягчить ее сердце: сложил эту песню, чтобы жена через моих друзей-певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние” (с. 26).

И жена смягчилась сердцем и простила.

Значит, песня — прагматична, как орудие труда, как рука. Пускается по кругу людей — и разносится безошибочно, в цель попадает, и не нужно печати отчужденной: все в нас и при нас ходит — обменивается. Вот раз нет письма и книги, в которые отлагаться мысли и слову (и, значит, снимается их бремя с памяти и души и автора, и воспринимающего), то как раз активнее восприимчивость и передаточность живыми людьми слышимого слова и пенья: больший на них удельный вес падает.

Слова, молва — так ветрами разносятся по аулам ушей и слухам-вместилищам-локаторам и антеннам... И тут даже расчет времени точен: за месяц до возвращения домой Байтас пустил гулять свою повинную песню, срок прибытия ее в уши жены расчислив, как расписание железнодорожное! И почты и газеты не надо — объявлений...

Итак, космос кочевья, хоть и рассеян, кажется, по просторам и экстенсивен, разрознен, ан упруг и сомкнут и крепкую обратную и всякую связь и организованность внутри себя имеет и структурность.

“Импровизация” — не точен здесь этот термин: он — как дополнение к высиженности в уединении за столом. Тут же нет отчужденно-уединенного творчества, а все — “при народе в хороводе”: приместно и привременно и приземно, приситуационно. Но так как сама ситуация мира и быта и стиль человечности патриархальной эстетичны в целом, то и спонтанно, и естественно возникающее на таком субстрате Слово эстетично по природе и печать художественности несет...

А айтысы = состязания акынов — прямо целые драматические действия: нападки, схождения, перипетии, неожиданности — и выход каждого остроумным словом и поворотом из положения — и схождение, и примирение. Так и айтыс Биржана и Сары начинается ритуальной перебранкой и кончается любовным взаимовосхищением... Как фехтуют...

В Логосе тут нахожу уже замеченные мною ранее особенности. Вот в юрте Кунанбая совет старейшин. *Тайна, намек и обиняк* — так и вьется мысль: “По старому обычаю аксакалов, отец говорит иносказательно, намеками и кружит над целью своей речи, как ястреб” (с.37). “Во время длинной речи Кунанбая Божей не шелохнулся, ни разу не поднял опущенного взгляда. Трудно сказать — дремлет ли он или о чем-то сосредоточенно думает (так и в долгих передвижениях в седле. — Г.Г.). **Мясистые**, грузные веки точно плотной завесой скрывают все, что **затаил** он в мыслях” (Мысль — как лицо чадрой — сокрыта. — Г.Г.).

А вот старейшина рода Байсал. “Взгляд больших синеватых глаз холоден — в нем сдержанность, способность сохранить **тайну** в самой глубине (=колодце. — Г.Г.) души” (с. 37—38). “Весь вечер шла скрытая борьба — полунамеками, в обход, никто не рискнул на открытое столкновение с Кунанбаем” (с. 41).

А вот и ткань Социума племени: “В руках шести старейшин, собравшихся здесь, — судьбы тысяч семей племени Тобыкты, вся сложная **паутина** родовых и племенных дел, вся бесконечная путаница отношений, все **узлы**, все связи, все ходы. В потайных карманах этих шести вожаков скрыты бесчисленные расчеты, невидимые повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости” (с. 42). А еще и память прошлого и прецеденты...

Борьба образов

20.V.86. Круг образов из животного мира преобладающ в романе “Абай”. И поразительно, сколь разнообразен и тонок и способен к передаче сложных явлений и идей он! Вот несколько примеров.

В конце первой части — объяснение старого Кунанбая с Абаем, где каждый излагает свое кредо. Отец выговаривает сыну: “Ты слишком доступен и прост, как **озеро с пологими берегами**. А такую воду и собаки лакают, и скот ногами му-

тит... Второе — ты не умеешь разбираться в друзьях и врагах и относиться к врагам как враг, а к друзьям как друг. (Вот ветхозаветный закон: “Око за око и зуб за зуб”. Абай же — носитель Нового Завета — не просто справедливости, но любви и прощения, что выравнивает друзей и врагов, а далее ведет и к “любите врагов ваших”. — Г.Г.) Ты ничего не **таишь** в себе. (Вот — принцип Тайны, и вместе с нею — Авторитет: из знаменитой троицы принципов, какими Великий Инквизитор в легенде Ивана Карамазова управляет народом: чудо, тайна и авторитет. — Г.Г.) Человек, ведущий за собою народ, не может быть таким. Он не сумеет держать народ в руках. Третье — ты начинаешь лнуть к русским. Твоя душа уходит к ним, и ты не считаешься с тем, что каждый мусульманин станет чуждаться тебя”, — сказал Кунанбай” (с. 347).

Абай действительно мост между казахами и русскими, жадно впитывает в себя русскую культуру, а с нею и образность уже русскую, что проступит в его ответе отцу:

— “Вы говорите, я — озеро с пологими берегами. Разве лучше быть водой на дне глубокого **колодца**, которую достанет лишь тот, у кого есть веревка и ведро и сильные руки?”

Вот уже **полемика национальной образности** как миропониманий разных. Озеро: равнина и пологость берегов — русский и северный тип водоема, где воды преизбыток (Финляндия — “страна тысячи озер”), где даже земля — и та “мать-сыра”. Там нет жгучего солнца, что алчно выпьет всю воду из открытых водоемов, как это на юге, в пространстве казахских степей, так что воде там приходится глубоко **затаиваться**, и колодец и есть эта тайна природы, ее души живой. И мы уже в анализе романа Абиша Кекильбаева “Конец легенды” улучили эту ответственность Тайны и Колодца. И вот Абай восстает против такого принципа водохранилища. Однако тут и он проглядывает нечто национально существенное: нельзя перенести принцип озера на его родину: иссохнет, затинится — и только осквернена вода будет, и даром усилия пропадут, что и случилось позднее при хозяйствовании, не учитывавшем особенностей природы и хотя земли и неба, меж которыми — человек, народ...

Далее: космос степняка рассчитан на сильного человека и такого порождает и развивает. “Я предпочитаю быть доступным и старикам, и детям, всем, у кого слабые руки”, — объявляет свой принцип Абай.

С одной стороны, он — демократичен, принцип равенства, восстает против права силы грубой, физической. Тут берется курс не на природность, а на духовность и душевность, и ради этих ценностей должна поступиться природа и ее животный закон силы. Слабость и недеяние — это и принцип восточного Дао, и христианства. Но тут и обратная связь есть: сделав ставку на породу слабых людей, таковую и производят, вымирают сильные, батыры и джигиты, эпические люди смелости, достоинства, риска и жертвы в бою, и распространяются люди хлипкие, мечанистые (от “место” = город, по-славянски), узкие, замкнутые, не знающие ни рода, ни природы, а свой эгоизм... Так что в этой сшибке двух исповеданий веры и в абаевом есть своя уязвимость. Просто ее еще не видно, потому что новое лишь начинает свой цикл и не видно, к чему придет (может, к еще худшему); но пока оно прогрессивно, а впереди неясная мечта и мираж, и туман. Старый же принцип бытия — весь проявлен, и очевидны его минусы. Но плюсы проступят позднее, когда саморазоблачится и новый круг ценностей: цивилизации буржуазно (=городско)-демократической, провозвестником которой тут выступает по-своему наивный Абай: наивен, потому что безусловно пока доверяет свету с севера, с равнины иной, земледельчески-лесной... А там ведь — не только Пушкин, но и Царь.

“Во-вторых, — продолжает Абай, — вы указали, чем можно держать народ и каким должен быть человек, который его ведет. По-моему, народ некогда был **стадом овец**: крикнет чабан “айт!” — все вскочат, крикнет “шайт!” — все лягут. Потом народ стал походить на **табун верблюдов**: кинут перед ним камень, крикнут “шок!” — и он оглянется, подумает и только тогда повернет. А теперь у народа нет его прежнего смирения, он смело открывает глаза. И сейчас он подобен **косяку коней**: он послушает того, кто разделит с ним все невзгоды — и мороз, и буран, кто для него забудет дом, кто согласится иметь подушкой лед, постелью — снег... (Уже русские образы пошли — и вот и о них слово . — Г.Г.) В-третьих, вы сказали о русских. Самое дорогое и для народа, и для меня — знание и свет... А они — у русских...” (с. 348).

Но свет может быть холоден. И равномошная Свету ценность — Жизнь, а Знанию — Любовь, а Городу — Природа, которую городу предстоит изувечить и вокруг, и в человеках, в нем поселившихся, так что и рожать перестанут... Но этой перспективы еще не видно. Абай только всходит на свой перевал: “Вот она, жизненная тропа, то уводящая в дебри, то увле-

кающая на **перевал**... Вот она взметнулась на подъем и вьется в вышине — извилистая тропа его жизни". Да, но тропа в горах учит также и тому, что не бесконечен подъем, что предстоит и спуск, и потеря высоты и самоуверенности в восходителе к идеалу. Что и миражи обманчивые нас ведут... Степняку это особо чувствительно...

И тут, кстати, редкий у Ауэзова растительный образ сразу дан:

“Да, он в вышине. Слабый **росток** некогда пробивался в каменистой почве, потом вытянулся тонким стебельком — и одинокая жизнь зацвела на голом утесе (вспомним лермонтовский образ: Утес и Тучка... — Г.Г.). Теперь этот слабенький росток впитал в себя все соки жизни, окреп и стал стройным и сильным чинаром. Ни зима, ни морозы, ни дикие горные ураганы ему уже не страшны” (с. 349).

Образы растительного царства преобладают в русской литературе, и вот казах, идущий навстречу русскости, к ним прибегает. Но там — ЛЕС пуще одиночного дерева; Утес же и Чинара — образы южного, крымско-кавказского склонения русской поэзии (Пушкин — “Кавказ”, “Анчар”; Лермонтов — “Утес”, “Дубовый листок” — при Чинаре — и т.п.).

Когда русский ссыльный в Семипалатинске Михайлов раскрыл Абаю глаза на развитие истории и стал приводить в систему его понятия, “он сказал об этом Михайлову и закончил шуткой: да, его слова, будто руки опытного **костоправа**, сразу нашли место перелома!..” (с. 503). Тоже образ животного-скелетный. “Вы точно взяли меня за руку, повели на какую-то вершину, показали оттуда **стоянки** всех народов, всех времен и объяснили мне, что все люди — **сородичи**, пусть хоть и дальние. Вы и мое Тобыкты не отбросили от главного пути” (с. 513).

Тут тоже перевод уразумываемого на образы своего, кочевого быта. Михайлов говорит об абстрактном равенстве всех людей, а Абай переводит на язык родо-племенной: все — родня живо-родная...

Или вот Абай в доме адвоката Андреева видит полки с книгами. Ему объясняют, что это книги “поэта” Пушкина, ну — “акына”. “Книги акына?..” — недоумевает он, ведь акын — устен, а книги — иное. И ему обидно, что они не понимают друг друга сразу:

— “Странно... Он — человек, и он думает. Я тоже человек и тоже думаю. А понять друг друга никак не можем. (Это

Абай — на задевшую его реплику переводчика: “Ты не знаешь и не поймешь”. — Г.Г.). Мысли наши **путаются** в наших же словах, как **заблудившиеся** в дебрях. И выходит, что мы стоим друг против друга не как два человека, а как два животных. И он пугается меня, **как крестьянский конь степного верблюда...**”

Андреев подхватывает эту образность:

— “Верно! Он прав! Лошадь шарахается верблюда, а верблюд сторонится лошади... Мы и в самом деле похожи на них! — И он опять рассмеялся. — Однако не только мы с тобой такие. Вот стоит свод законов, а там, — он махнул рукой к окну, — киргизская степь с ее обычным правом. И они так же смотрят друг на друга, ничего не понимая... Ты хорошо сказал!” (с. 341).

Смена заветов

Да, раз уж мы прибегли к библейским образам, то, во их продолжение, Кунанбай мне видится царем Саулом, гневным (“душа моя мрачна. Скорей певец, скорей...” — сия еврейская мелодия ему пелась, потом была переложена Байроном и переведена Лермонтовым); Абай же = Давид: и пастух, и певец псалмов (акын), и законодатель-царь благочестивый, однако грешивший (с Вирсавией, женой Урни) и кающийся горько. Се — образ человека, кто и немощен природою, но чей дух выси взывает и непрерывно восстает и воздымается даже из тяжелых падений и путаницы...

Певца-духовника жаждала мрачная душа Саула-Кунанбая, и певец-акын явился: Давид-Абай.

Следующее же поколение, третье, обнаруживает себя уже как более легкое и бескоренное, открытое наслаждениям жизни: царь Соломон, сын Давида, у нас же — поколение детей Абая, та “золотая молодежь”, легкомысленная и артистическая “богема”, что заявила себя на свадьбе Умитей и Дутбая, где юный Амир, собравший пеструю толпу поющей и пляшущей молодежи, салы и сари (виды певцов странствующих), откровенно любился с невестой, оскорбляя народ и родовой обычай... Да, в них — утончение, рост индивидуальности и чувства “я”, но не личность то: она крупнее во втором поколении, Давида - Абая; а в первом поколении — жанр патриарха, царя и судии: законоустановитель Ликург — вот кто Кунанбай.

И когда уже начинает приоткрываться минус на линии-пути Абая, тогда задним числом восценивается дедовское состояние

мира и его добродетели: крупнее там характеры в сравнении с мельчающими эфемерно-бескоренными “интеллигентами” третьего поколения, безответственными, безнародными. И когда жених Умитей Дутбай выказывает решимость отмщения за оскорбление, а тем самым снова двинуть род на род, он вызывает симпатию и поддерживается. “С того дня как он стал во главе рода Кокше, старый Каратай не помнил случая, чтобы кто-нибудь из молодежи так твердо высказывал готовность к борьбе с одним из самых сильных и многочисленных родов Тобыкты. Он с гордостью окинул взглядом Дутбая, крупного, статного, молодого, с большим открытым лбом и смелыми, решительными глазами, в которых, как у **сокола**, мелькают золотистые искорки. (Он — стихия Огня в здешнем космосе Ветра и сухой Земли. — Г.Г.) Видно было, что такой, не задумываясь, кинется в костер (снова огонь. — Г.Г.), если того потребует **честь** рода (тоже огненная субстанция во духе: честь, гордость! — Г.Г.)” (с. 527).

И верно, ведь батырство и джигитство, хотя и опасно, и чревато схватками и болью, и кровью, и угоном скота, — во-первых, не до убийства — так это в Казахстане, а на уровне борьбы — спорта; а во-вторых, есть естественный канал избытку сил от животного питания концентратами бытия (кстати, витамины получают кочевники не тем, что сами едят пахучую степную колючую траву, но через посредство скота провитаминное мясо и молоко получая); а потом из этого — предания, легенды, эпос, песни, т.е. уже духовное питание субстанции народа Памятью и Этосом.

Да, плюсы патриархального состояния взвидятся потом, когда очухаются на земледельческо-городском пути и взвидят свое рабство и измельчание; тогда в ореоле легенды предстанут те времена и люди как “золотой век” полубогов и героев, и про них будут писаться “Илиады”, “Нибелунги” и “Война и мир” и т.д. Вот и эпопея “Абай” отчасти об этом же. И рискующий, и воинственный, и задира — это тот, кто доставляет **радость** миру, народу, пробуждает человека, склонного склоняться в падении, по тяге земной, по воле земли-стихии. Это же = люди-огни, и под ними конь-огонь; такой человек = Христос кочевья, жертвенный — не агнец, а иноходец, скажем, приготавливающий себя во Ашвамедху = ритуальное жертвоприношение коня — во индийстве так оно называется.

А вот другой полюс процесса: вольно одетые, в обнимку идут молодые и поют по-новому. “Абая и Ербола удивило,

что певцы пели **хором** (тоже русское влияние. — Г.Г.). Обычно песню пели одновременно не более двух человек, даже если юрта полна была певцами. Это новшество понравилось друзьям.

Торопись веселиться — тебе двадцать пять,
Эти годы к тебе не вернуться опять!.. —

говорила песня (сагре diem! — лови день, лови мгновение! — гедонистический, не героический это принцип. — Г.Г.), и было похоже, что этот припев, так подходящий к новой выдумке (петь хором, что ли? — Г.Г.), множество голосов подымало над толпой молодежи как **знамя**, как **клич** молодости” (с. 528).

А это — как демонстрация: “в партию сгрудились малые”, но именно потому, что они уже малые и осознают себя таковыми.

Эти процессы — крестификсные для казахского кочевого быта в XIX веке — тоже осмысляются в романе. Если в эпическом сознании “Илиады” хутородный Терсит, посмевающий “порицать скиптроносцев”, изображен и физическим уродом, высмеивается, и осаживается Одиссеем, то здесь голос бедности подан мощно и с сочувствием. Недаром мужественный бедняк Даркембай, целивший застрелить Кунанбая, приходит к арестованному Абаю, назвавшись его **отцом**.

И вот сказ, завет и кредо Даркембая. Он встает на защиту изгоев, бедноты, согнанной судьбой из всех родов в новый Большой аул, который — как выброс и помойка всех родов и племен. Но недаром сказано: “И будут последние — первыми”, через них протягивается вектор на будущее переустройство социума и иной тип быта.

Недаром они тянутся к **земледелию**, и там им открывается выход. Абай и друг его Ербол удивляются, что Даркембай, из рода жигитеков, оказался среди этой мешанины.

“— Ты не знал, потому что я перебрался сюда недавно. Теперь уж мне до смерти жить здесь... Тут около сорока таких же нищих, как я. Напрасно я всю жизнь работал на Суюндика и Сугира. Никто из них не сказал мне: “Когда у тебя были **силы**, ты держал мой соил, был моим глазом, оберегал мое добро, зимой стерег мои стада. Теперь ты слаб, но без помощи не останешься, своим трудом ты заработал себе спокойную старость...”. Нет, разошелся мой путь с ними! Вот я и решил: чем **бродить одному с седлом** за спиной, лучше буду жить одной жизнью со всеми...”

— А кто же здесь у тебя из близких или сродичей? — спросил Ербол. — Ведь говорят: “Даже если яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами...” Ты оторвался от своих. К кому ты пришел сюда?

— ...Все эти сорок хозяйств — **мои родичи. Не по крови, а по жизни.** Нас сроднила общая доля и общее горе... Все хлебнули горя у сородичей, все брошены ими, все такие же нищие, как я. ...Все мы хилые, бессильные, **ни одного взрослого сына** — работника в семье нет...” (с. 468—469).

Вот где обделенность природой, животнo-семенное сиротство! И, напротив, богатство кочевого народа — в многодетности, а социальные различия — как бы следствие и функция животнo-природного принципа, хотя потом работает уже и обратная связь, и социальное начинает порождать природное различие: бедность жилья и пищи порождает вырождение и жизненности, животности и Эроса в антропосе.

Перевернутый кентавр

Ну, а в земледелии что? Если раньше скот был и его труд меж землей и человеком, то теперь человек приближается к земле и становится между ею и скотом: сеет корм, косит траву — трудом своим обеспечивает скотину. Кентавр перевернулся: головой и руками приник к земле, а копыта поднял к небу, отгалкивая его символ (“Бога”) в атеизме: сам человек с усам и труд его отменяет “Творение” и ликвидирует “Творца”.

Вот когда привели скот на цветущие луга, заметили, что животные приникли к месту, перестали двигаться. “Скот лучше людей понимает землю — смотрите, как прилипли к траве, не шелохнутся, — заметил Дирхан” (с. 451). А в земледелии человек паче скота выслушивает землю и сыновствует ей.

21.V.86. Земледелие первыми начинают последние в кочевье — бедняки. “Базаралы рассказал, что все эти люди, выброшенные своим родом, занимаются хлебопашеством и круглый год кормятся этим трудом, работая только на себя, а не на бая, и настойчиво советовал своим друзьям:

— Научитесь и вы **сосать грудь земли** (вот как по животной модели кочевого сознания трактуется земледелие! — Г.Г.). Объединитесь по две-три семьи, вспашите весной хоть одну-две десятины, все силы на это положите и посейте хлеб! А ле-

том — займитесь сеном... Хотя одной косой косить будете — все-таки сена запасете, **город недалеко** (Семипалатинск — значит, на встрече русского и казахского мира начинается оседлость кочевников. — Г.Г.), на **базар** свезти можно, **деньги** выручить, прикупить что нужно” (с. 471). Вот уже и следующая стадия забрезжила: городская цивилизация, товарное хозяйство, рынок, вынос излишков вне себя. Кочевой же быт не знает рынка, а все, что производит, потребляет внутри себя, не отчуждая, но возвращая в свой круг, не высасывая себя в тяге наружной бесконечности, в ее нарастающе-алчном запросе и потребности ее насыщать.

Земледелец, с одной стороны, вроде свободнее, чем кочевник: если род о нем не заботится, он сам о себе позаботится, самостояющ, самососущ — землю, где сел... Но в этом именно, с другой стороны, и его возросшая несвобода и зависимость: избу не стронешь, в случае чего, с места, как юрту, человек становится рабом места, где осел, живет, тогда как в роде человек был связан кровно-родственными вязями, что и помогали, не оставляли в беде, но и от хорошего к себе отношения аксакалов человек зависел — как дитя еще. Земледелец в этом отношении уже повзрослее, самостоятельнее человек, не нуждается в опеке кочевой педагогики. Но кочевник, коли разругался со своими, мог откочевать в другие места — вольная птица. Земледелец же, раб места, гордит над собой государство, участковых, космос отчуждения вырастает вокруг.

Однако недаром в представлении кочевников Жер-уюк = “земля обетованная” видится как место, где баран встанет в траве и так и не сойдет с места, а на его спине жаворонок успеет гнездо свить и птенцов вырастить... Так что остановить вечное передвижение по кочевому кругу — вот мечта, идеал кочевого быта и принципа существования. Но исполнение этой мечты означает его же и смерть.

Эллипс кочевья

Про этот Жер-уюк рассказал нам вчера Гадильбек Шалахметов у нас в гостях: прилетел, позвонил, и мы обрадовались его увидеть, побеседовать.

— Значит, это как для русских “молочные реки в кисельных берегах” — представление о крестьянском рае! — заметил я.

Кстати, берега-то “кисельные”, квашеная земля = мать-сыра...

Проверил я в беседе, верны ли мои некоторые наблюдения.

— Мне кажется, Слух для казаха важнее, чем Зрение...

Гадильбек прикрыл глаза, задумался...

— Да, похоже — так. Недаром у нас есть понятие “узункулак” = “длинное ухо” — молва, сплетня (переносно). Но нет понятия “широкий глаз”...

Кстати, “длинное ухо”, как рука и аркан-лассо, ориентировано на Даль, что сбоку (где уши), так что это по сути — Ширь. Ухо косит, как и глаза: не вперед, а вбок они тоже у косоглазых антропосов ориентированы.

И это имеет соответствие в эллипсе годового кочевья. Гадильбек мне нарисовал схему передвижений рода по своим стоянкам. Они диктуются ориентировкой животных: овцы идут мордой на ветер. И кони также. **Растение** подсолнечник на **свет** солнца ориентировано, также и листья. Животное же отвернуто от света (будучи само вотелесненной тьмой) и ориентировано на Ветер, дыхание Бытия, на воз-Дух, а не на свет... И вот вослед за животными и люди, в хвосте их желаний, их пассионарности, движутся.

Ветер — демиург степного пространства и бытия, и сознания. “Ветер в голове” — так свою книгу стихов хочет Шалахметов назвать.

А ветры дуют весной и летом постоянно с Востока — и в эту сторону начинается сход с зимовий в горах и предгорьях: вниз, на равнину и в степь. К 21 марта, к весеннему равноденствию, проходят четверть своего эллипса — на Восток. Устраивают стоянку, тут ягнятся овцы, сеют просо. А просо в особой чести по энергии у степняков, даже пословица есть: с пшеницы раз, а с проса два (возделаешь женщину). Его будут есть через год, когда вернуться на это же место. Потом снимаются и идут далее на север и в верхней точке останавливаются на жайляу — летнее пастбище. Затем ветер меняется: осенью-зимой дует с северо-запада — и эллипс кочевья разворачивается мордой на запад сначала, а потом и на юг. Осенью в крайне западной точке — стоянка, тогда свадьбы, режут скот, той-пиршества... Стоянка “кузеу”. И затем на зимнюю — “устану”. Диапазон кочевий: в Акмолинской области, на востоке, — 80 км по диаметру эллипса с юга на север, а в Младшем жузе, при Мангышлаке, — 500 и 1000 км. За каждым родом закреплен свой круг, и по нему ходят из века в век, не пересекаясь, и там хоронят своих.

И заметил я, что единственно надгробья, “мазары” — мавзолеи-склепы отчуждают от себя кочевой народ как самосущую предметность. Все ж остальное носят с собой, в себе.

— Так какая ж тут должна быть пропитанность каждого индивида всей культурой многовековой, раз она не вынесена в здания и книги, а пребывает лишь в телах людей, в их памяти и душах, и словах, и песнях — и каждый в купели этой возрастает и живет!

Подтвердил также Гадильбек мое понимание, что бедноты очень мало среди кочевых, меньшинство, а не большинство, как это высчитывают социологи из позднейших цивилизационных схем.

— Все же — сородичи, и не дадут пропасть, помогают, и бай — это, по идее, не эксплуататор, а регулятор: следит за распределением стад и пастбищ в роду и чтоб не было обидно и не пропадали люди... Конечно, разность возникает, но натуральная: у кого больше рождается сыновей=работников — тот богаче... Олжас Сулейменов как-то резко сформулировал кочевую точку зрения: “Рабы — негодяи” — вот из кого рекрутируются. (Так же, как во крестьянстве: из ленивых и пьяниц, во многом, — беднота...)

Подтвердил и удивление мое, что в схватках рода с родом из-за пастбищ или угона скота и пр. не до смерти бьются.

— Да, смерть в стычках — это ЧП, редкость, и большой “кун” = выкуп приходится роду всему платить за убиенного.

— Так что выходит: очень человечная и гуманная — кочевая цивилизация.

Задумался он удивленно над моим соображением, что **ноги** в кочевнике не для ходьбы, а для статического вцепления в тело коня. И когда он зачитал мне стихи Олжаса Сулейменова “Хождения”, что заканчиваются афоризмом:

“Что жизнь? Всего лишь — повод побродить”, —

это уже явный симбиоз с русским принципом странничества и пути-дороги вдаль, по прямой, в бесконечность, тогда как космос кочевника имеет фигурой круг, эллипс. Недаром и разрез глаз такую же фигуру образует: эллипс = скос, приплюснутость круга, как приплюснут и нос, и вбок уширены скулы и рельеф лица. По антропологической классификации здесь — “брахицефалы” (короткоголовые).

Да, еще Шалахметов мне начертил порубежную зону между русскими и казахами.

— Как китайцы стену построили великую во ограду от кочевников, так и русские по двум рекам: Урал и Иртыш — расположили станицы казаков, дав им земли в 20 км по обе стороны рек, лучшие. И эти заставы богатырские и стали местом встречи двух миров, и отсюда шло и дальше русское проникновение на Юг, но и казахов — на Север: переходя к оседлости, казахи селились к северу: в Прииртышье, Приуралье... Даже в Приволжье — как мои предки.

Теперь Казахстан — космодром СССР: тут Байконур. И так образно выразился Гадильбек:

— Аральское море улетело в Космос: он его выпил.

— Как так?

— Море это растекли на поливные посеы хлопка, который служит главным материалом для топлива ракетного. И так оно мелеет и осушается...

— И потому нелеп проект провести северные реки в казахскую степь, — подхватил я. — Все равно, что Онегу и Печору — в татаро-монгольское иго. Тут непригодна вода, водоемы в плоско-открытом содержании: выпьет солнце, улечут ветер. Зато лишь в укрытии, в потайности колодца естественно тут воде пребывать: под корою земли-стихии, а не ее промачивая, как в русской “мать-сыре”. А русские ученые тут предлагают свою модель и Логос: и сами потеряют реки и воду, изувечат свой Центр и Север, и все равно не напоят степь: улечутся вверх все...

— То же самое и с “целиной”, — подхватил Шалахметов. — Не люблю я этого слова. Какая “целина”, то есть пустота и ничто, раз тут века жили и живут, и культурой своего быта пропитали это пространство народы-степняки!.. Оно перенасыщено смыслами и значениями — это пространство, эта земля. И это лишь для не понимающих и не сведущих, не имеющих уши и очи слышать и видеть эти смыслы, — эта земля равносильна небытию, если не вспахана и не засеяна. Это — прямолинейный, плоскостной взгляд земледельца, а не объемный — сверху (с коня) и сбоку (искоса) — взгляд и понятие кочевника. И вот вспороли кожу земли, а в ней-то всего 30 см гумуса, родящего слоя, и он стал добычей ветра, как вода — добычей солнца... Несколько лет ускоренно покормились “целиной”, а изувечили эту землю — навеки: чтоб ей восстановиться, века нужны... Тогда как при использовании ее пастбищном как было: она и удобрялась скотом, и воспроизводилась ее питательность и жизнь.

— Да, чужой ум опасен, как и чужая дхарма (принцип бытия, по “Бхагавадгите”).

Подтвердил Шалахметов, что наибольшее количество времени жизни тратится на встречи, гости, разговоры — общения людей, где возделывают друг друга устно. Зато и память цепкая: кто в каком веке и в какой ситуации что сказал, помнится и поется, и передается и ныне, так что не надо записи и книг. И песни Асана Кайгы = Печального, жырау из XIV века, и сейчас знают; или что сказал аксакал какой в XVII веке...

— Потому мы выговариваемся и не пишем, — заметил и про себя Шалахметов, который ведь и поэт, но пишет мало. Кстати, он — патриот телевидения и экспромта по ходу разговора, и это в традиции Казахского Логоса, тогда как русский, в традиции крестьянства, молчаливо-стеснительного, скованно себя чувствует перед телекамерой и заученно говорит или по писаному... Ну да, земледелец, сам трудящийся наедине с землей и лесом, более в себе, молчалив, вертикален меж небом и землей, а не вбок социален, как кочевник, притянутый психо-полем родовых переплетений.

Крест синтеза

Заговорив об Олжасе Сулейменове, переходим к исследованию новой ситуации в жизни Казахстана — в XX веке и внутри СССР. Казахстан стал пространством вселения (а не просто кругового переселения, как было при самостоятельном бытии степняков), своего рода “Вселенной”. Тут вток и втык, сюда переселен миллион немцев Поволжья, целые народы: чеченцы, крымские татары, а до этого еще и эвакуация русских и украинцев — так что здесь реальный Интернационал и рассеянный Вавилон: все народы и языцы, и культуры. И вот предстоит их собор: воспринять в духе и переварить и восотворить, будучи этим проникнутым. Такое призвание и ощущают в себе нынешние творческие казахи: синтез евразийства совершить, вселенскость и мировость: все идеи и песни, и понятия, и ценности вобрать — и из себя воспроизвести и претворить в свое. Есть от чего кругом голове пойти: такая перепутаница привхождений — и что надо продумать!.. Отсюда — жадность на культуру и перескоки из эпохи в эпоху и из понятия в понятие — в творчестве вот Олжаса Сулейменова, кто и образованнейший лингвист,

и историк (его книга “АЗиЯ”), и мыслитель, и поэт, и общественный деятель.

Кстати, прагматическая установка: претворять мысль в дело — присуща казахскому Логосу, в отличие от, например, русского, где часто отсоединены мысль и дело, теория и практика, где, по словам Герцена, “целые десятилетия отделяют посев от жатвы”, то есть: замысел, творчество в теории и на письме, написание рукописи — от реализации, публикации. Иные диапазоны тут Пространства и Времени: бесконечны они, тогда как **круг** или **эллипс** Казахского Космоса обозрим и осуществим более и охватываем...

Что же делать? А ничего не остается, как **синтезировать умы** разные, что притекают в Казахский Космос. И как ни болезненна порой эта операция, но она расширяет опыт и кругозор понятий и ценностей — и этому надо идти навстречу, что и делали всегда просвещеннейшие из казахов: и Аль-Фараби, и Абай, и Мухтар Ауэзов. А ныне в этой же традиции — и Олжас Сулейменов, и Абиш Кекильбаев, и культуролог Мурат Ауэзов, и Гадильбек Шалахметов, и другие..

Казахстан в нашем веке — это Приглашение: волей или неволей, но такую роль сыграл. (Сколько народов целых и людских разноличных и разномастных судеб влито было в Казахстан в последние полвека!..) Это нелегкий крест, но благородный и чреватый новым сотворчеством, к чему и призваны нынешние там обитатели.

22.V.86. Думая над казахским умом, Логосом, его закругляемость, склонность сводить концы с концами чувствую. Символическим для этого мне представляется рисунок оленя или быка в наскальных фресках в урочище Тамгалы: там рога не оставлены торчать в небо, обрываясь вопросом, но воздымаются радугой над туловищем и плавно опускаются на круп, образуя тем самым замкнутое полушарие (как отрог круга кочевья).

Или вот закругленное рассуждение в романе “Абай”: “Но если в Тобыкты — вся сила Кунанбая, то в нем же, пожалуй, и вся его слабость. Недаром говорится: “Крылья — при взлете, хвост — при спуске”. Старейшины — вот эти самые Байсалы и Божеи — крылья и хвост Кунанбая” (с. 42). Кстати, приведено это симметричное рассуждение к модели животного, к частям его тела, что обслуживают противоположные направления бытия.



Это взвидение (не всегда ясное, осознаваемое, но всегда предчуемое) “диалектики”, как мы бы учено сказали, а по сути — **оборотистости** бытия, обратной связи, отмстительности и возвратности всякого шага и дела, что не только вперед, но и назад будет раскат — и при высказывании всякой мысли и идеи как потенциал ощущается.

Русский Логос, имеющий дело с космосом бесконечного простора, не закругленным и не возвратным, имеет стремление в беспредельность и крайность, одностороннее энергичное развитие мысли, идеи, думы — и лишь через надрыв и боль, и удар, и страдание выходит к взвидению другой стороны, которое совершается тоже, как удар, ослепление, озарение, проблеск, и столь же страстно и убежденно-заражающе начинает теперь раскручивать мысль в ином направлении... Весь Достоевский и поведение и думы его персонажей на такой катастрофической диалектике построены. Также и кризисы в развитии русских писателей (Гоголь, Толстой...) связаны с этими ошеломляющими прозрениями иной истины, чем та, которой они были преданы в предыдущий этап жизни, которую ярко видели и всесильно и всестрасно выражали.

...Ищу цитату — напоролся на другую, не удержусь привести. Байдалы пришел к Абаю: “На улицах города даже **кони** наши пугаются. Тесно нам здесь. В дом зайдешь — ноги **скользят**. С начальством заговоришь — мычишь, как **глухонемой**, только руками машешь... Ничего не получается! Видно, для степняков **город — как бездорожье**. Вот мы и дрожим, точно старый верблюд на гладком льду!” (с. 342).

Здесь чудно выражено самочувствие казахства во граде новой цивилизации: тесно, немота, ногам — ходить приходится (а в степи — сидели), скользят, слабые; зато рукам — без толку махать; челом, ранее гордым вверх, — бить перед “начальством”, а были — сами себе **начала**, безначальны даже, как и круг не имеет начала и конца. “Начало” — понятие линейной однонаправленности, где вступила векторность в силу: так это в истории и **прогессе** = “вперед шаганий”, буквально. Кочевник не шагает прямолинейно, но с возвратом, опоясью.

Да, вот она, цитата искомая, — не из “Абая”, а из поэтов, акын Махамбет такие стихи сложил:

Быстрее **ветра** акбуке (белый сайгак, аптилопа. — Г.Г.) лстит,
Несется со скалы на скалу,

Но, **обернувшись**, на дитя глядит (инстинкт рода. — Г.Г.) —
И тут же попадает под стрелу!

(Поэты Казахстана. С. 174)

И вот сюжет для психеи степняка: напиральная ярь, страстность, перекормленная сила жизни, что выкидывает вектор желания, стремления неукротимого к чему-то одному, к цели, — и рок закругляемости, что из устройства космоса проистекает. Его и выражает далее Махамбет:

А беркутиха держит под крылом
Степной простор. И пусть грохочет гром,
Выискивает дичь своим птенцам,
Что в сети попадет, забыв о том. (С. 174).

Тут я употребил “ярь” — характерное слово Олжаса Сулейменова (стихотворение “Ярь” о том, как в самоубийственном Эросе рыбы прут “на нерест, как на Эверест”), и не случайно оно мне пришло тут. Я уже его, Олжасов сюжет, подбираюсь раскручивать. И вот он так мне провидится: страстный напор, что из субстанции животного-кровно-семенной склада антропоса кочевника некогдашнего, — на захват как можно большего из мира идей, впечатлений, знаний, пониманий; веером раскрытость во вселенство и всеисторию, которые — объять... И в то же время (тоже как в крови) — ощущение рока предела и возврата: соломоновы круги — у Сулейменова — в самоиронии, что в постоянных скобках, в рефлексии и оборачиваемости на себя, на слово-выражение свое; и видит сам, как он корчится на дыбе в поле силовом Всебытия энергийном, пытаюсь с малыми силами смертного человека все сопрячь...

Да, в Олжасе Сулейменове русские язык и литература, вложив себя на протяжении нескольких поколений в казахство, получают себе приплод и вклад. Потому что свежим слухом слова расслышивает, их свежует и поигрывает, присмысливает — и те смыслы пораскрывает, что внутри, может, русского Логоса, не так и расслышима, а вот со стороны — да. Его смело-свободные созвучия, что стягивает на правах рифм, переводы слов: “**лик-без = без-лик**”, к примеру... Кстати, недаром подобные попятные игры любил и Хлебников, на дастархане Астрахани возросший! Тоже тут просматривается принцип возвратности, обратной связи, закругляемости во Логосе, что кругу кочевья присуща...

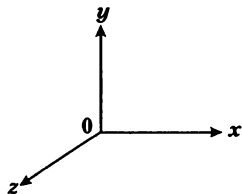
Свежует, перелицовывает, выворачивает наизнанку шкуру слов. Мясоеда то все операции.

В нем — втисненность: простора кочевья — в комнату города, за стол библиотеки. Сидит, читает, мыслит, а в крови, в психее и памяти раскатываются ветра и самумы, лихих джигитов вольные скачки и состязания в байге: на спор, азарт; так он и культуру мировую передумывает и вовлекает — на спор, в преосмысление, и ярко выходит, и новый свет проливается, как, например, его анализ темных мест “Слова о полку Игореве” в книге “АЗиЯ” (тоже остроумнейше расколото слово и новые смыслы в нем явлены) — как из Логоса кочевья, из языков степняков привхождения.

И его “Книга Голубиная”, что, смотря на север, в Русь, и ею языковую трансформацию слова “глубинная” производит-приводит к голубю и Святому Духу, к вечному сюжету Марии во палестинах многогородных; и его “Книга Глиняная”, что собеседу через 2700 лет современного ученого очкарика с блудницей Шамхат ведет, — эта рамка интеллектуальной буффонады нужна и важна, чтобы играючи, ирои-комически, вклинить можно вседумья и смешать вихрево стоянки веков и эпох и установки понятий затверженных. Он все их размягчает игрою ума и слова.

То есть мирный круг и эллипсоид кочевья в нем с вторжением современной цивилизации и мировой истории и культуры в его бытие и душу, превратились в вихрь, самум (и стихотворение такое смотри)... Вихрь тоже сохраняет принцип закруглений и возврата, но какие в него вступили энергичность, динамика, ракетные раскаты и центробеги-побеги из центра во все стороны — удержи-ка попробуй, маэстро поэт!

Со стороны когда приходил и приглядывался к текстам Олжаса, сначала “пижонство” и “выкаблучиванье” казалось сильно шибаящим в ноздри... Но это именно не внимательный и не вникательный подход. Когда же вслушаешься и повникнешь — расслышишь пульсирующий внутренний сюжет. Его бы, упрощая, можно, тремя основными координатами выпредставить (рисунок). Тут центральная точка 0 — самость казахская, ее колодец и тайна и пульсация энергичная, постоянно порождающая и стимулирующая. Прочие же оси знаменуют разнонаправленные ориентированности и привходящий из этих сутей материал. Горизонтальная ось



“иксов” — это как плоскость степи, пространство Евразии, к ней причастность; еще шире — покров и покровой современной мировой цивилизации, в коей Сулейменов чует себя гражданином мира, вселенским, включая и Азию, и Европу, и Африку, и Америку.

Ось вертикали, “игреков”, направлена на север, где Русь: с ней союз, и сюжет, и питание, и страдание, и общая судьба, и обмен.

Ось глубин, “дзетов”, — ось истории, памяти: Вавилон, Шумер, кипчак, Кончак, Батый, Абай... — все через нее в тебя втекает и есть и всеприсутствует, включая и джаным Шамхат, и кунака Энкиду — Гильгамеша...

И вот как в текстуре стихотворения сказываются эти вектора. Читаю писание “Трава”:

С деревьев красные сползают ливни,
трава в багровой
лиственной крови¹.

Как усилен растительный пейзаж животно-жизненной ярью!
Вспомним русский стих про Осень:

Медлительно кружится желтый лист...
(Блок)

А тут — не круг, а вихрь ливня, и не умеренный цвет желтизны, а красный цвет крови — да уже побагровевшей, как сразу багровеет кровь, вытекающая из только что зарезанного животного.

Или “Ночной экспресс. (Сравнения)”:

Сверкает рельс
 полоской, как **порез**,
И по нему, как **судорога**, **тайно**,
обрывком черной ленты **телетайпа**
проносится **горбатый** мой экспресс.
...Комком **ревушим** застревая
 в глотках
ночных туннелей...

Тут горбатый верблюд экспресса и колодезная извечная тайна, глубина памяти и истории, рифмуется с горизонталью “ленты телетайпа” — примета цивилизации современной. И сквозь

¹ Сулейменов Олжас. Трансформация огня. Алма-Ата: Жалпын, 1985. С. 111.

все клокочет и ярит животная страстность, что вопит, будто режут... А вот уже и русские приметы:

Мелькает полустанок старовеера
И машет мне с веревки

простыня,

словно

платок

нормального размера. (С. 104).

Самые это поэтические строки в сем стихотворении. Не поймешь, что тут: то ли литота (простыня умалена до платка), то ли гипербола (платок — величиной с простыню); тут и русская ширь-даль, величье, соплелись с казахским простором-батырством — тоже громадностью своего рода; и оттого — братание и юмор, гармония и любовь...

Но тут и более рационалистически прозрачные есть ходы:

Глаза твои прощают,
прокляня!

— ту возвратность иллюстрируя, коию мы уже не раз во казахском Логосе наблюдали.

Джигит — или Гражданин?

10. II. 87. Пытаясь понять Казахский Космос, приник с интересом читать роман Роллана Сейсенбаева “Заблудившийся крик”¹ (или “Трон сатаны”, по иному варианту заглавия), потому что тут про современный Казахстан: что же случилось? Как устроились жить некогдашние кочевники в городской цивилизации?

Надо сказать, что роман написан будто кочевой тактикой (налеты, перехваты...): заманивает читателя, как противника-приятеля, на свое угощение, за свой “дастархан”: вот ввел двух персонажей и меж них сюжет, заинтересовал — и бросил на время; пока же откуда-то сбоку налетел другой сюжет-вихрь, с другой парой персонажей (но один из них прежний — как связной в нитях плетения); затем сзади, спереди, сверху — ты оглоушен и барахтаешься — и так всесторонне строится юрта-космос романа, так что в итоге объемное це-

¹ *Сейсенбаев Роллан. Заблудившийся крик. Романы / Пер. с казахск. автора. М.: Сов. писатель, 1986.*

лое бытия выстраивается. При этом на скаку подхватываются-перехватываются прежде брошенные линии, вступают в полифонию, плетение, орнамент, и новые узлы завязываются-затеваются. И ты не ведаешь отчего, но уже вовлечен, пленен и оторваться не можешь.

Но эти круги и волны — не только горизонтальны, как барханы, но и вертикальны во Времени и Пространстве. Во-первых, в толщу прошлого уходит взгляд, в предысторию: послевоенная разруха и бедность, Война; глухо — о предыдущих событиях: у бабушки из 18 детей за драматическую историю нашу остался жив лишь один сын Ескендир; наконец, в толщу преданий: как бы доисторическое время черпается в песне акына-жырау о батыре Кушикбае, где как бы модели и прообразы заданы на века и поколения: честь — и примирение с иным чрез воздержание от насилия и прощение.

А во-вторых, в пространстве: выстраивается пирамида существования, или — **здание** общества (чтобы не означать тут привилегированных точек) с подвалом и дном: исправительно-трудовой лагерь, куда после рыцарской драки за честь возлюбленной попадает главный герой. И если в начале романа, где среда литературно-художественной богемы или даже студенчество из стройотряда, все так легковесно и шампанско, люди чуть ли не “с жиру бесятся” в перекрестных адюльтерах, то там, на дне, что аналог ада: “не до жиру — быть бы живу” — там мир блатной (недаром и с “Калиной красной” Шукшина тут идет некий диалог), и закон жесткий: пахан и поножовщина — там “трон сатаны”, как у Данте в 10-м круге “Ада”. Так что в эмоциональной гамме, что в тебе в ходе чтения романа проигрывается — сначала весело и молодо-зелено, а потом грустно и даже жутковато...

Окончив чтение, я задумался: а ведь нет описания помещений, домов, обстановки; все нейтрально: не имеющая лица квартира современного дома, номер гостиницы, даже в лагере барак и нары не записаны... Внешняя деталь? Но много сказуема: она говорит об отсутствии БЫТА, устроенности, а значит, и коренности и стабильности хоть какой: оседлой или кочевой. Ибо и у кочевья есть своя “оседлость” — как стабильность эллипса годовых передвижений, стойкость быта и обычаев... Тут же все — как стронутые, и ни на чем не держащиеся души, как перышки, сдуваются. Даже в своем теле еле держатся (недаром и портретов нет, что сплоченность прилепления души к телу знаменуют) — не в том смысле, что не-

здоровы-хилы, а с легкостью отдаются страстным вихрям в душе: то ли любовно-чувственной страсти (этому женщины податливы), то ли ошеломлению гнева и императиву чести, что неудержимо, накатом волны коллективного бессознательного, поддона бытия влечет на схватку звериную, на нож и смерть. Да, тут некое роковое влечение к смерти, что, как приманку, использует высокие понятия человека: о чести, достоинстве, вступить за друга, за справедливость, за женщину и тысячи оправданий — пролитию крови...

И вот отчего мне все более грустно становилось при чтении романа. Тут некий диагноз бытия и психики, и проблем нелегких, какие решать в современной казахской жизни...

А ведь все почти — такие милые молодые люди, но какие-то свихнутые и бестолковые: не имеют, чем и за что держаться в бытии. Старые устои рода и традиции, что предопределяли поведение и ритм жизни каждого индивида, размыты, унеслись в невозвратимое прошлое, в сказку уже и легенду... Последняя таковая — бабушка, у коей было 18 детей. Но хорошо потрудились наша история в XX веке над усечением родо-жизненных корней: много было оснований, по каким 17 из ее детей были на разных перегонах убиты. Поколение отцов самумом Войны изувечено. А и присущее им поколение женщин искажено: мать Айша стала пить, потеряла волю и облик; мать Оксана, овдовев, сошлась с Надмогильным (фамилия, говорящая о том, что выбито было поколение героев: “Нет великого Патрокла — жив презрительный Терсит”). А уж третье поколение — основной костяк действующих лиц — это совсем безгнездные существа; если и свивается случайно все же семья с дитятей, то она уже изначально подпорчена, на лжи. Сауле, обещенная неким подонком в джинсах, не найдя в себе силы признаться Абылаю, хоть и любит его, но выходит замуж за комсомольско-аспирантского карьериста Салима (вот уж человек “положительный”, усвоил, в чем стабильность новая: в иерархию государства вращать), и вот она уже под конец катает коляску, но ей стыдно перед сестрой Абылая, который, вступаясь именно за честь Сауле, пырнул — и попал в лагерь... Также и семья художника Кайрата: бросил он свою Катару с дочерью Айгуль через месяц жизни, а ведь ожидал хотел любви на всю жизнь. И вот она пришла — любовь на всю жизнь (длиной в сей роман): с Баян-журналисткой. Они встречаются в гостиницах, командировках несколько лет и прочнейше друг ко другу привязаны — и почему бы не поже-

ниться?.. Но ей мешает неотступное видение разбившегося летчика — ее первого мужа, Омара, романтического, хотя она его и не любила...

Что за напасть такая? Почему все позитивности подозрительны?

Герои словно держатся за свое переходное всемирно-историческое состояние: быть свободными душами, тонко и остро чувствующими голоса и зовы внутреннего мира души и жизненной воли своего природного существа, но не дать себя уложить в тяжкие формы быта и гири их, и вообще во все структуры гражданско-цивильного существования...

И в этой их чуткости на зовы чувства и чувственности — привлекательность этой стадии (“ренессансной”, условно ее обозначим) и в истории европейской цивилизации, и в онтогенезе казахской, и в возрастании личности каждой — пора раскованности, свободы, **потенциальности**: могут стать всем: мужем, матерью, юристом, инженером — это не важно, лишь бы — “джигитом”!

В воспоминаниях Абылая проходит диалог родителей в его детстве: отец хочет, чтобы он стал юристом, мать — чтобы стал человеком искусства. Но итоговый вывод: “Если Абылай вырастет настоящим джигитом, кем бы он ни был, мы не зря проживем свою жизнь” (с. 94).

Осторожно — с этим идеалом. Давайте-ка задумаемся. Значит, наши казахи “третьего поколения” — раскованные — хотел сказать “индивидуальности”... Но осекся. Они как раз мало характерны, на одно лицо: девушки — милы, тонки и отзывчивы; молодые люди — хорошие друзья, понимают искусство и поэзию, все талантливы и что-то собою обещают в будущем. Но ведь индивидуальность — это неповторимо-уникальная особенность натуры и характера. А этот колорит налагается некоей бытийственной наполненностью — либо нынешней, либо из прошлого: из быта и склада устойчивого. Так, характерны: кузнец Бекболат, певец-жырау Сабыт, что лейтмотивную сквозь роман легенду о чести батыра Кушикбая рассказывает. Даже в поколении отцов и матерей больше характерности от судеб разных, от перипетий, в какие их ставит жизнь; реакции на них и отлагают черты и складки на физиономии лица и души.

Но у наших новых — очень уж однообразны ситуации, в которые ставит их жизнь: учеба, стройотряд, дружба, девушки, искусство-газета... Бедновато, невариантно. И, как это ни

парадоксально, скорее на “дне”, в колонии — характеры: пусть изувеченные складками необычной жизни, но в них есть судьбы и грехи, черты природы и особенности языка. Тут воплещены, оплачены муками тела резкие реакции души в свободном мире на поверхности, на “гражданке”. Но все эти Кобыланды Юрченко и Пантеры — так ли уж виноваты? Изувечены войною, изменой матерей отцам — и затаили злость на прочее...

Итак, наши милые молодые люди — потенциальны пока лишь. Им дана Свобода, они в ее пространстве. Но... не знают, на что ее употребить. Какие ценности ими руководят? Шампанская любовь, талант и ожидание творчества — милая богема, что на себе печать меланхолии уж носит, ведь не век же ей быть, и хорошо, кто молод из нее уйдет (да и из жизни), как поэт Мукагалий или художник Даулет (кстати, семейный, и у него верная вдова)...

Значит — свободны. Куда ж возрастать? В какой идеал? Есть высший идеал — Личности — ею стать: свободной и самообуздывающей. На пути к ней — гражданин Ескендир, отец Абылая, честный и неподкупный судья, что не поддается на родово-патриархальное кумовство и не покрывает взяточника, но и самому ему за это врезали, наказав жестоко его сына. Но он терпит стоически — страж порядка и в наруже, в державе, и в самом себе: не дает разнуждаться стихии — гнева ли, страсти ли...

Но что-то скучноват этот идеал Гражданина, жителя цивилизованного общества и города. Душу манит иной идеал — из золотых преданий: “Джигит”, во казахстве, как “Джентльмен” во англйстве: всенепременное и всеприсущее свойство... А что такое джигит? Это — удалой человек, и прежде всего — Чести. Но и — Мести (недаром они — в рифму): значит, не прощает обид, удар на удар, око за око — да и пуще!.. Как вон батыр Кушикбай в боях с джунгарами и в поединке с Анархоем. Ветхозаветная стадия сознания, этики. Она хорошо работала, когда дети рождались, как у стад приплод — по 18 штук от человеко-матки. Тогда и подрезать пяток в битве не страшно: не убудет, напротив, отбор в борьбе за существование, и лучшие (с точки зрения Чести и Мести, и крепости души и тела) останутся. Ну а когда, как в нынешнем Казахстане, да и во всей России, жены заключили свои лона на выход и бастуют рожать, и тут по-прежнему джигитски размахивать саблею или ножом, и месть за честь практиковать самосудную, чтобы

себя уважать и выглядеть джигитом в глазах окружающих и возлюбленной?..

Абсурдность действия прежних идеалов в новой ситуации и являет роман Сейсенбаева. И это просто жизненно-самосохранительно для народа и духа становится закон воздержания от насилия (хоть бы и геройского): перевести душу, шкалу ценностей в душе казаха на иной диапазон, на иные волны, на иные понятия.

И тут впереди, как идеал, — через стадию Гражданина — замаячил образ Личности, той, что не кипящей силою и волею берет, но пониманием ближнего, жалением — и так укротчением себя и его. То есть идеал не Силы, а как бы “слабости”, но которая есть как раз выражение силы духа и его власть над собой, над своими инстинктами.

К этому предварительная стадия — быть Гражданином: уважать закон и отказаться от самосуда; и к этому приходит наш Абылай в исправительно-трудовом лагере. И все же Рок идеала Джигита подстерег и ударил его в поддыхало — под самый конец: вступился за друга в драке с паханом — получил ножом в бок...

Также и авторитетом предания — примирение и прощение проповедуется: когда молодой батыр Кушикбай, победитель старого и подловатого Тобета, по просьбе мудрецов-аксакалов, не убивает того. Так же завещается и мир с другими народами: во любви взаимной Кушикбая и джунгарской пленницы.

Итак, вывод: казахи-мужчины должны стать более женственными, а вот девушки и женщины — более мужественны, тверды и устойчивы. А то слабость и податливость на зовы пола, да и жалость сугубая, приводят к распаду семей, ко лжи в ней, что как первородный грех залегает и порчу субстанции всей наперед пророчит... Поразительно податливы оказываются тут женские персонажи, когда не держит их закон рода и обычая...

Никто в романе не может быть свободной личностью: не могут самодержаться в этом состоянии, но сдуваются ветрами степными (ветры кочевья еще в душах, по Психее казахства прокатываются)... Что значит — извечная привычка всем вместе, друг другом, а не САМОдержаться! Ан — деваться некуда: в мире цивилизации надо вырабатывать в себе этот устой, а в воспитание его в себе — уважать и внешний закон, и порядок, поступаясь джигитством.

Дивно, как бывшие номады, попав в свободу, в город из природы, блуждают, как сомнамбулы, не усматривая предме-

тов положительной привязанности! Вспомним, какие миры содержания открыла европейская гражданская жизнь просто в уходе за женщиной, в культуре “страсти нежной”! “Новая Элоиза”, “Вертер”, тургеневские сюжеты, да и любовь Абая и Тогжан в романе Мухтара Ауэзова... Какие занятости души возникают из стратификации социума, когда среди сословий проблема перехода с одного уровня-круга на другой (“Мещанин во дворянстве”, Растиньяк и пр.)! А тут мир наружный упрощен, примитивен, мало интересен... И, судя по некоторым оттуда вползаниям в психейный мир романа (через звонки начальничков-заступничков за родственничков — судье Ескендиру и через образ комсомальчика Салима), — совершенно неэстетично там и непривлекательно...

Но тогда возлюби свое дело, свое творчество пуще джигитства! Да, этот путь-выход дан и есть, намечен поэтом Мукагалием, художником Даулетом, юристом Ескендиром. Путь труда-творчества и любви как семьи — вот тот положительный вектор-направление, в каком возможен побег из лагеря своей собственной психеи, где свил свой трон сатана, присосавшись к идеалу “джигитства”. Вот в чем человеку спасение от свободы, не наполненной смыслом.

А смыслы надо — сотворять, вытыкать их из себя, никто их не даст. Свобода есть творчество, а не потребление: свободу не получают, ее создают — через созидание Личности в себе и оличивание всех своих реакций и пространства вокруг, начиная от малого круга, податливого тебе, — семьи, до большого — общества.

И первый тут начаток — воздержание от насилия, от кипящего джигитства. Я бы так даже сформулировал:

от ДЖИ — к ЖДИ!

Да, сумей осилить накат нетерпения, тот моментальный позыв, каким тебя “бес” подмывает-хватает (он именно на скоростях работает, потому мы все и крепки “задним умом”). Так вот, осадь себя, как коня горячего, и перекачай эту энергию, что в джигитстве наружу выплескивается — в степь, в смерть; а ты ее — вверх, на восхождение души своей в высоком самовоспитании в духе; и вовнутрь — в развитие многослойной внутренней жизни души, где тонкость и понимание ближнего, любовь и милосердие, этика-эстетика, и наружу — в творчество культуры и цивилизации и форм общежития.

На то есть и мудрая старая казахская пословица, что лейт-мотивно в романе проходит: “Если не спешить, то и на арбе можно зайца догнать” (с. 158).

И вместо идеала Чести да заработает Совесть.

В чем тут разница? В идеале Чести: я вижу грех-вину-ошибку другого, сам же себя — правым и судящим. В чести и мести за нее я сужу другого. В Совести же: я гляжу внутрь себя и обнаруживаю, что сам-то я не больно хорош, чтобы браться судить другого... И на основе этого чувства — воздержание от действия злого наружу возможно.

“Заблудившийся крик” — точный образ поставлен автором в заглавие своего романа. Тут души ярко эмоциональные, даже экстатические, чего-то благого взыскуют. Но не справляются с нагрянувшим при переходе от простоты кочевья к сложности гражданского общества множеством ценностей, противоречивостью понятий. И выход — в поступательном развитии гражданской и духовной культуры и в личности, и в обществе.

КАЗАХСКИЙ МУДРЕЦ АБАЙ

5.VI.93. Когда раскрыл “Книгу слов” Абая, пронзен был родностью интонации: да он же мою душу выражает, мои слова говорит! Вот и я уж седьмой десяток тяну и должен бы аксакал быть и мудр, а сам — весь в вопросах и непонимании: что же мне делать? Чем остаток дней занять?

“Хорошо я жил или плохо, а пройдено немало в борьбе и ссорах, судах и спорах (нет, это не про меня: это он в гуще людей, а я бежал с поля брани жизни в обществе. — Г.Г.), страданиях и тревогах дошел до преклонных лет, выбившись из сил, пресытившись всем, обнаружил брэнность и бесплодность своих деяний, убедился в унизости своего бытия. (Я бы в этом перечне главных итогов добавил, что сам я — плох, слаб и глуп и учить никого не смею, а лишь вопрошать и вопиять, как Давид в псалмах. — Г.Г.). Чем теперь заняться, как прожить оставшуюся жизнь? Озадачивает то, что не нахожу ответа на свой вопрос”¹.

Пожалуй, в этой интонации собеседы и естественно мне будет далее размышлять над этой книгой. Как будто встретились два пожилых человека на перекрестке Бытия случайно (как в вагоне попутчики) — и разойдутся кто куда, и вдруг потянуло души на исповедь, как на духу, как перед Богом — излиться, выговориться. Ну и — самопознаться с помощью Другого,

¹ *Абай*. Книга слов. Шакарим. Записки Забытого/Пер. с казахск. К. Сейскабасовой, Р. Сейсенбаева. Алма-Ата: Жазушы, 1992. С. 8.

свое лицо в зеркале увидеть, оформить свой образ, лик, в отличие, ибо иначе аморфно это в тебе, когда ты сам и один...

А текст этот, Абая, — из разряда первичных, как из уст древних мудрецов, учителей жизни. И недаром я псалмы Давида помянул: да, библейские книги он напоминает: то Книгу Екклесиаста, или Проповедника, то Книгу Притчей Соломоновых, то Иова, то укору пророков: Исаяи, Иеремии — народу своему... И право имеет на такую интонацию, ибо Абай — духовный вождь своего народа, просветитель, давший казахам Слово; язык он Казахстана, этого космоисторического тела. И в то же время — бранный частный человек, маленький и смертный, как все мы. И в сочетании этих двух установок-интонаций: наружу — и в себя, то есть учить народ, о судьбах и особенностях его размышлять, и притом в себя заглянуть и с горечью немощь и жалкость свою узреть-осознать, — в естественном сочетании проповеди и исповеди драгоценное качество “Книги слов”, что ее в ранг мировых первоисточников возводит, боговдохновенных и чистосердечных.

Задавшись вопросом: чем занять оставшуюся жизнь? — Абай перебирает варианты, и в них уже начинает проступать его классификация мира и иерархия дел в нем, возможных человеку.

“Править народом? Нет, народ неуправляем. Пусть этот груз взвалит на себя тот, кто пожелает обрести неисцелимый недуг, или пылкий юноша с неостывшим сердцем. А меня сохрани Аллах от непосильного бремени.

Умножать ли стада? Нет, не стоит заниматься этим. Пусть дети растят скот, коль им надобно. Не стану омрачать остатки дней своих, ухаживая за скотом на радость проходимцам, ворам и попрошайкам.

Заняться наукой? Как постичь науку, когда не с кем словом умным перемолвиться? Кому передать накопленные знания, у кого спросить то, чего не знаешь? Какая польза от того, что будешь сидеть в безлюдной степи, разложив холсты, с аршином в руке? (Вот уже и трагедия одинокого ума в пустыне невежества очерчивается. — Г.Г.) Знания оборачиваются горечью, приносящей преждевременную старость (как не вспомнить здесь из книги Екклесиаста: “Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь” (1, 18)?... Однако и разница сейчас раскроется. — Г.Г.), когда нет рядом человека, с кем можно поделиться радостью и печалью” (с. 8).

Если у царя Соломона-Екклесиаста онтолого-гносеологическое разочарование в разуме вообще, то казахский мыслитель страждет от того, что нет трансмиссии знаний, их передачи от человека к человеку: общества еще нет, и вот он одиночка-ученый среди стада людей-животных. Философского же скептицизма в нем еще нет: до этой стадии ум, сознание в казахском культурно-историческом теле не могли доразвиться.

“А может, посвятить себя богослужению? Боюсь, не получится. Это занятие требует полного покоя и умиротворения. Ни в душе, ни в жизни не ведаю покоя, уж какое благочестие среди этих людей, в этом краю! (А вот и самообличение: путь религии отвергается не вообще — да и не религии, а богослужения, ибо религию он, как увидим далее, чтит высоко, — но потому, что я не достоин и не пригоден ныне: раздражен на людей, на ближних, на окружение, на народ свой. — Г.Г.).

Воспитывать детей? И это мне не под силу. Воспитывал бы, да не ведаю, как и чему учить? (Продолжается покаянное воззрение в себя. — Г.Г.). Какому делу, с какой целью учить, для какого народа воспитывать их? Как наставить, куда направить, когда сам не вижу, где бы дети могли приложить свои знания? И здесь не нашел я себе применения.

Наконец решил: бумага и чернила станут отныне моим утешением, буду записывать свои мысли. Если кто найдет в них нужное для себя слово, пусть перепишет или запомнит. Окажутся ненужными мои слова людям — останутся при мне.

И нет у меня теперь иных забот” (с. 8—9).

Какая рационалистическая ясность в переборе главных сфер человеческой активности! Власть, Богатство, Знание, Вера, Семья, Слово. И останавливается — на последнем. И в его случае это поистине “соломоново решение”: это занятие по крайней мере безвредно другим, коли не распространится; а мне — осмысленное заполнение дней жизни: в беседе со Словом, которое ведь Бог!

Эта интродукция к “Книге слов” почему-то напомнила мне вступление к финалу Девятой симфонии Бетховена. Там сначала перебираются, проходят как бы воспоминания о прошедших стадиях-аренах жизнедеятельности — темы предшествующих частей — и отвергаются: “Нет, не то!” (как это русский музыковед XIX века и композитор Серов истолковал), и все ищется истинное и наконец — эврика! — мотив найден, тема явилась! “Ужели Слово найдено?” — хочется уже пушкинским из “Онегина” выражением продублировать эту мысль...

А вот уже во Слове втором завязывается главная тема размышлений Абая: это — познание своего народа в жестокой национальной самокритике. Точнее, это — *мне* будет задача и тема: познание **Казахства** (такой термин введем: ибо не Казахстан как страна и не казахи как народ лишь мне интересны, но вся целостность Бытия и Духа, и культуры в их особенностях); он-то, Абай, уж знает свой народ, и его задача — побудить его к преодолению своей скверны и к просвещению, чтобы встать в ряды прочих цивилизованных наций. При этом мое зрение будет двунаправленным: с помощью описаний Абая постигать казахский Психо-Космос (национальный образ мира), а вот, приглядываясь к логике, аргументам и образам самого Абая, проникать в казахский Психо-Логос, в казахскую “ментальность”.

“В детстве мне приходилось слышать, — начинает Абай Слово второе, — как казахи смеялись над узбеками: “Ах вы, сарты широкополые, камыш издалека носите, чтобы крыши покрыть, при встрече лебезите, а за спиной друг друга браните, каждого куста пугаетесь, трещите без умолку, за что и прозвали-то вас сарт-сурт (“треск”, “трещотка”. — Г.Г.).

При встрече с ногаями (так казахи называли татар. — Г.Г.) тоже смеялись и ругали их: “Ногай верблюда боится, верхом боится, верхом на коне устает, пешком идет (через поношение соседей очерчиваются те качества, которыми казах в себе гордится, так что насмешка — это самохарактеристика “от противного”, так сказать. Качества кочевого народа как положительные, по сравнению с оседлыми узбеками и татарами, тут проступают: кочевнику камыш таскать не надо на крышу, ибо его дом, юрта, всегда с собой, переносны. — Г.Г.) — и беглые, и солдаты, и торговцы из ногаев. Не ногаем, а нокаем (“бестолковый, тупой”. — Г.Г.) бы вас следовало назвать”. (А вот и объективно положительное свойство казахства: ценят слово, выражение яркое, игру слов, перелить бытие — в речение. Недаром обе характеристики, как аккордом, кончаются прозвищем-игрословием. Ну да, у кочевника времени много свободного от трудов материальных и больше в труд общения уходит. А тут уж эстетика словесная — в почете! — Г.Г.)

Рыжеголовый урус, этому стоит завидеть аул, как скачет к нему сломя голову, позволяет себе все, что на ум взбредет, требует “узун-кулак” (“длинное ухо”, т.е. быстрое распространение слухов. — Г.Г.) показать, верит всему, что ни скажут”, — говорили они о русских. (А ведь меткие характеристики околь-

ных народов тут даются! Русский — белоголов, взбалмошен, доверчив, обмануть его ничего не стоит хитрому и увертливо-му кочевнику. — Г.Г.)

“Бог мой! — думал я тогда с гордостью. — Оказывает-ся, не найти на свете народа достойнее и благороднее казаха!” Радовали и веселили меня эти разговоры.

Теперь вижу: нет такого растения, которое бы не вырастил сарт (= ценность земледельчества уразумел! — Г.Г.), нет такого края, где бы не побывал торговец-сарт, нет такой вещи, которую бы он не смастерил. (Вот весь букет иного бытия, оседлого: земледелие, ремесло горожанина, торговля. И при этом парадоксально: кочевой народ вроде все время в движении, а мира-то и не видит, а у оседлого народа-растения появляются новые кочевники — торговцы, что за всех мир обходят и видят. — Г.Г.) Живут миряне в ладу, вражды не ищут...

Смотрю на ногаев, они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать богатства, наряжаться и веселиться... О просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой” (с. 9—11).

Конечно, идеализация идет соседей, чтобы устыдить своих и пробудить в них огонь стыда и порыв к развитию: “Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, а не проводят время в унижительных раздорах между собой” (с. 10).

А что ж делать кочевнику? Еда сильная: мясо, молоко. Трудов не много: стадо само растет, только жди-пожди... Куда ж время девать и энергию? Впиваться друг во друга: в спорах, отношениях, психическое поле развивать — всякие страсти, хитрости, зависти, перекомбинации родов и кланов, политиканство, коварство?.. Вот почему неустанно за переход к земледелию ругает Абай: время умалится на болтовню-праздность и вражду, а электричество психейное во людях заземлится — в труды, позитивные занятия.

Как раз об этом размышление Абая в Слове третьем.

“В чем кроется причина разрозненности казахов, их неприязни и недоброжелательности друг к другу? Отчего слова их неискренни, а сами они ленивы и одержимы властолюбием?

Мудрые мира давно заметили: человек ленивый бывает, как правило, труслив и безволен, глуп и невежествен, невежда не имеет понятия о чести, а бесчестный побирается у лентяя, насытен, необуздан, бездарен, не желает добра окружающим.

Пороки эти оттого, что люди озабочены только одним — как можно больше завести скота и стяжать тем самым почет у окружающих. Когда б они занялись земледелием, торговлей, стремились к науке и искусству, не произошло бы этого” (с. 11).

Видно, как обрыдло Абаю стадо, скот, привязанность казахов к животному, которому, естественно, и уподобляются в быту и душе: хищничество, кровавая страстность, гневливость, вражда культивируются в казахе-кентавре понизовые, дочеловеческие свойства.

“Родители, умножив свои стада, хлопчут о том, как бы стада у их детей стали еще тучнее, чтобы затем передать заботу о стадах пастухам, а самим вести праздную жизнь — досыта есть мясо, пить кумыс, наслаждаться красавицами да любоваться скакунами.

В конце концов их зимовья и пастбища становятся тесными, тогда они, употребив силу своего влияния или занимаемого положения всеми доступными для них средствами, выкупают, выманивают или отнимают угодья соседа. Этот, обобранный, притесняет другого соседа или вынужденно покидает родные места.

Могут ли эти люди желать друг другу добра?.. Он ждет моего разорения, я жду, когда он обнищает. Постепенно наша скрытая неприязнь друг к другу перерастает в открытую, непримиримую вражду, мы злобствуем, судимся, делимся на партии, подкупаем влиятельных сторонников, чтобы иметь преимущество перед противниками, деремся за чины.

Потерпевший не будет трудиться, добываясь достатка иным способом, ни торговля, ни земледелие не интересуют его, он будет примыкать то к одной, то к другой партии, продавая себя, прозябая в нищете и бесчестии” (с. 11 — 12).

Вот “люмпен-пролетариат” — из кочевников, как и из горожан, образуется, эта чернь. Но в кочевом быту причина — малый спектр занятий человеку, и Абай ратует за их комбинированье, чтобы и земледелие вошло в быт казахского народа, чтобы более сложной и многоэтажной стала структура жизни, за разделение труда — тогда и ему, с его тягой к умственному труду, науке, будет место и надобность, а то пока он как бы и никчемен в своем народе, в его быту. И он не устает честить и обличать отрицательные черты в нравах, вызванные приверженностью и привязанностью казаха к стаду и к зависимости от него и к модели животного, тогда как земледelec имеет моделью более смирное существо Божьего мира — растение, дерево, а уж горо-

жанин — изделие ремесла, индустрии, вещь, а также само руко-
мсло, умение, и ум, и на-ум-ку...

И вот какой парадокс кочевого стиля жизни мне предстал при чтении “Книги слов” Абая: пространства-то эвона сколько занимает кочевой народ — несравнимо более народа земледельческого или промышленно-городского, а люди вперены друг во дружку, не вокруг себя, сбиты в переуплотненные стаи, где заняты выяснением отношений друг меж другом во всех тонкостях психических, как интриги при каком-нибудь дворе аристократическом. Напряженное психейное поле являют собою казахи, по описанию Абая, и там кишение злых страстей и дипломатия; он же описывает характеры, как какой-нибудь Феофраст или Лабрюйер. Кстати, эти народы и нации — греки и французы — имеют животное более себе в модель-образец, нежели растение (в отличие от германцев и русских).

Земледелец разомкнут в космос: вертикалями своих растений и деревьев ориентирован и запрокинут в небо и навинчен на трассу Земля—Небо. Взгляд же кочевника — вдаль, вбок, по горизонтали. А что на этом уровне попадает в его кругозор? Животное, стадо — и другой человек или стая людей. Потому что одиночкой кочевник не обитает (в отличие от земледельца-хуторянина или пустынника в скиту, в лесу), но лишь коллективом — родом, кланом. То-то так мучительно трудно там стать личностью, обособиться, развиться в “я”. Эти страдания и выпали на долю Абая, и он передает их — в отталкивании от стиля жизни родом, всем вместе и на виду, в кружении лукавств неизбежных, увиливаний и хитростей. И тоже в этом “социальное рондо”, как и в стиле жизни социумных французов с их непрерывным “вращением в обществе”, в “свете”, когда все знают друг о друге и говорят-обсуждают в непрерывных трениях и коловращениях. И этим заняты умы и психики, и все время заполнено интригами — как усилиями просочиться, вплести и свою траекторию-нить в клубок уже действующих — в тесноте и в обиде...

Одуванчики святые

6. VI. 93. Помлеем. Порадуемся. Подышим широко. Засветим душу. А то без своего моления вздумал сразу приняться за наемничий труд ума (Абая продолжать промышленять — по заказу казахов) — и застопорилось дело: мыслей в себе не нашел побуждающих, желающих развиться и словесниться.

Но какое голошение птичества! В эпицентре его нахожусь (у крыльца избы своей в деревне Новоселки) — дар-то в этом какой Божий! Чтоб тебя зефиры оевали, птицы опевали! Сам ими навейся, включись в хор славословий Бытию, Солнцу как безусловному Бытия средоточию.

Да как центрировано Небо — Солнцем! Сосредоточено (именно!) им в сию божественную точку.

Гриша Мазай прошел с косой, меня поприветствовал издали — и я его. Мне б тоже покосить. Но я пока в Небо и Солнце вглядываюсь, вперен. Хотя и вбок глянуть — тоже прелестно: слева от меня лужайка трав высоких, и вся она в нимбах одуванчиков, просто как тысячи святых сошли в травку покачаться пуховыми головками под Солнцем Бога. Не лужайка — иконостас слева от меня! Такими святыми головками Лариса (дочь моя, художница) покрывает стены храмов на своих картинах.

Да, дивно это — так одуванчики прочувствовать! Отовсюду теперь на меня они милой святостью глазают, покачивают головками, что из ничего вещества состоят — из воздуховности просветленной. Тут — предел Материи последний перед превращением-отлетом в Дух. И физически так это уже будет скоро, завтра... В Духов день, кстати. А сегодня — Троица! Слава тебе, Господи! Спасибо, вспомнил! И надоумился на моление с утра — и в нем навелся, воспамятовал про Славу Божию!

Но как натурально на нее вышел: не от знания-слова, что сегодня день Троицы, но, отдавшись восхищению Бытием, гимн ему запев, а в итоге и к уму вышел, и уразумению, и сосредоточению блаженства — в Слово единое: “Троица”!

Как Небо, я был сам в этом процессе, что, стягиваясь к самосознанию, фокусируется в средоточие — и возжигается в Солнце.

Натурфилософское получилось и откровенное сегодня у меня умозрение-моление. Шеллинг бы мог его взять себе в философию тождества и Откровения. Ведь я тут связал два сосредоточения: Неба — в Солнце (=Бытия — в Бога) и моей песни — в Слово: ликования и гимна бытию — в слово: “Троица же сегодня!” Тут и тождество объективного бытия и субъективной внутренней жизни души произошло.

О удача и красота! Как хорошо, что отвратился от заказного писания: просто оттошнило меня от этого дела и бросило-притянуло к моим путям — славы, славословия. Ну да, я ведь

состояние пребывания в Славе Господней воспитывал с утра, навелся на это, а вот только сейчас уразумел. И все-то сошлось в этом гимне: и святые слетелись в травку — одуванчиками покачаться в такт славословию Бытия, что моими устами презывалось.

Ну да, “Слава Господня” — это же некая эфирная ткань: ею “окутываются”. Это некое измерение Бытия, форма (вариант) существования Божества и сущности. И в этом мире-уровне я побывал-полетал, присев с утра за машинку у крылечка под Ларисиной (= Троицыной ведь тоже: на Троицу Лариса росточек воткнула — по научению Анюты Воробьихи, соседки милой, упокой, Господи, ее душу!) березой.

И все же сколь лучше не знать слов-имен-терминов: “Господи”, даже “Троица”, а просто бормотать восторженно и слагать вязь ассоциаций в благомыслии восторженном — и глядь! — приходишь к тому же, что знаемыми терминами означено: Троица, Бог, Господь... Но можно и от них начинать — и восхищаться, и отлетать на просторы Бытия и его благолепием душу преисполнять, исходя лишь из имени божественного. Или как вот исихасты: твердя Иисусово имя (молитву Иисусову), теплотой и славой надмирной исполнялись и в раю обитали и пресуществлялись плотию: материя их в дух истончалась.

Но что значит — **непрощеное творчество!** Гнал же я его от себя, желая за **работу** сразу приняться, чтобы освободиться от нее и отделаться. И — ничего не вышло! Меня именно отогнало от нуды умствования и поволокло — на гимн, на пэан! Начал бормотать слова какие-то, а потом из них и осмысленное — да какое! — словенствование и уразумение сложилось по наитию-наведению Бытия (Бога?)

Опять пришипленные, точные слова портят: “Бог”, “Бытие”... Сразу прозаизируют и погашают вдохновение, мол, зачем? Чего ты воздымаешься своим духом доморощено? До тебя уж давно все понято и сформулировано — вот в эти термины-слова, так что тебе лишь повторять благоговейно...

И тут прочертились два равномошные пути восхищения к Богу: от Бытия и восторга существования, ими преисполняясь, — к Слову, к Богу (это — Пятидесятница, дар пророчествования апостолам, и эту линию подхватывают в протестантизме германском, от “я” начиная, как сосуда боготворчества и богоглаголанья), или от авторитета Бога, Слова, Церкви — данных, готовых, ими проникаясь и преисполняя себя, и так в

послушании и сомирении в блаженство божественного бытия восходя... И это — путь восточного христианства, православия....

Между Россией и Исламом

Однако в ходе этих размышлений — совсем “не к месту” = в сторону от моей думы об Абае — навелся на мысль о нем, желающую быть развитой. Задумался я над тем, что он, с одной стороны, рьяно гнет в сторону России и русского образования, а с другой, не к христианству тянется, но Аллаха прибивает казахам и растолковывает, как детям.

Отчего бы это и зачем так?

О, как раз и понятно — из положения Казахстана между двумя сверхмирами: христианства (в православии российском) и ислама (с юга: Турция, Иран, Пакистан, Афганистан). И геополитически: космос Казахстана — посредник между Югом гор и Севером равнины, России. И в нем, естественно, ни то и ни се не должно быть в чистом виде, а что-то свое сложиться. Оно и было — в верованиях кочевников, в “культуре Поля”, но аморфно и мало словесно.

Абай же — рационалист-просветитель и в то же время народный акын-поэт: он, чуя все миры и уровни-промежутки, кладет своему народу новую скрижаль-парадигму, спустившись с Синая своего жизненного горовосхождения в мир Духа, Разума и Культуры. И вот его итог и вывод: Разум питать русским языком, культурой и наукой, а душу, Психею, — исламом, Аллахом. Тогда Казахстан имеет шанс не растопиться ни в одном из соседних великих миров, но остаться и сложиться в свой мир, образовать свою цивилизацию. И Абай начертил силовое поле между этими двумя полюсами: Россия как Разум и Ислам как Вера. Вот поприще, где народу его цивилизовываться и образовываться в самую среди других мировых целостностей. Так вытягивает-растягивает-распяливает Абай свой казахский народ: из существования родом-стадом, животного, доисторического, — в цивилизацию и современность.

Но вопрос: останется ли при этом Казахстан или растопится, бомбардируемое мощными влияниями из этих полюсов? Во всяком случае по совершенно интеллигентным казахам, с которыми я знаком (Ауэзов, Шалахметов, Сейсенбаев, Сулейменов, Джангужин и др.), вижу, как они нервны, мечутся, как расшатана их психика, и открыты они всем ветрам, установкам и

влияниям в Бытии и Духе. Это и прекрасно: эти сосуды — как мембраны и антенны всеулавливающие, способные понять и пережить, очароваться и поддаться разным идеям, теориям и понятиям. Но и как трудно им! В своей брэнности, в своем существе и за срок жизни — это все сопрягать! То-то и неустойчивы, и рваны, и истеричны порой; подмывает бросить все и уйти — в степь, в пьянку, как персонажи Сейсенбаева....

Но возможен благой результат в итоге этого переходного состояния — образование собственно казахской цивилизации с “лица необщим выраженьем” из разных элементов, их переплавив. Ведь то, что было: культура Поля и кочевья, — это еще доисторическое образование. Хотя в нем есть свой космос и полис, склад и стиль — именно культура, этика и эстетика своеобразные, нормы общежития и шкала ценностей. И много прекрасного и положительного в них, что будет утеряно в быту земледельчества и города, к какому переходит Казахстан. Абай этих будущих утрат еще не предчувет и не скорбит меланхолически, как это уже будущим (да и нынешним) станет интеллигентам Казахстана очевидно — и, в частности, Мухтару Ауэзову, который в своей эпопее “Абай” восписал мощно уклад кочевья и его именно КУЛЬТУРУ, высокую и совершенную в своем роде, явил ее в цветении — и упадке...

В “Книге” же “слов” Казахстан представлено лишь с минусовой стороны, ибо поэт-пророк-просветитель призывает его сдвинуться из своего уклада, преодолеть инерцию и развиваться в стороны и вверх. И главное в позитиве кочевья и культуры Поля — это отсутствие отчуждения, забота Рода о своих членах...

Однако Абаю в этом видится и страшный минус — давление Рода на Личность: не дает ей обособиться и встать на свой путь. Не уважает Род и не понимает принцип Личности, не понимает, что такое заведение в Бытии может быть и имеет смысл.

И вот Абай ищет иную опору и находит ее в России, в русской власти, культуре, языке, просвещении. По Абаю, установка на Север — благая: под покровительством российской цивилизации ему удастся избежать цепких связей рода и народа, вяжущих его порыв к Духу, знанию, к себе — стать Личностью. В этом помогает ему Разум, Слово, рационалистический дух Просвещения, что благодатно казахам с Севера изливается.

Но он и опасен: растопить может Казахстан. И потому Абай вооружает свой народ силой противодействия этому растапли-

вающему влиянию, и ее он находит в исламе. Он серьезно относится к нему — как к разумной вере, так ее толкует и рассудительно внушает и разъясняет казаху религию ислама, а в последних словах из “Книги слов” даже своего рода мусульманский катехизис находим.

8.VI.93. Итак, у Абая мы наткнулись на поле двух ориентаций: на Россию и русскую культуру как канал современной мировой цивилизации для приобщения к сему Казахстана, и ислам как способ организации души казаха как человека. То есть, с Севера брать Логос (русский язык изучать и культуру), а с Юга — Психею, и так организовать духовное поле в Космосе Казахстана.

Подтвердим это соображение текстами самого Абая. В Слове двадцать пятом он размышляет, какое образование давать казахским детям.

“Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских (осторожен казахский мудрец и пестун своего народа, не обольщается и русскими. — Г.Г.), перенять их достижения, надо изучить их язык, постичь их науку. Потому что русские, узнав иные языки, приобщаясь к мировой культуре, стали такими, какие они есть. Русский язык откроет нам глаза на мир. (Перевод с перевода, третичность — таков будет период обучения для Казахстана: сама ведь русская цивилизация развилась с перевода себе цивилизации Запада... — Г.Г.) Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами. (Вот, целью переимчивости является — самостоятельность: самость и самосознание. — Г.Г.) Просвещение полезно и для религии” (с. 39). Просветитель Абай еще не вышел на противопоставление Веры и Разума — сюжет для более развитых фаз цивилизации (в Европе это XVII—XVIII века, в России — XIX). Потому и ислам преподносит как очень разумную и рациональную религию и толкует смыслы всех обрядов: чтоб с умом делались и омовения, и поклоны. Слово тридцать восьмое — это целый трактат по философии религии, где разумом объясняется вера.

“Нужно знать, какими усилиями достигается осознанная, разумная вера... Ты сказал, что веришь в Бога, в его лики и имена. Тогда ты должен знать его имена, понять величие сущности каждого из восьми его ликов... Вот светлейшие лики

Аллаха: Жизнь, Наука, Могущество, Зоркость, Чуткость, Желание, Слово, Созидание. Создатель наделил человека этими восемью ликами, но не в таком абсолютном совершенстве, каковым он сам ими обладает” (с. 62). И далее разбирает эти качества, приводит их к троице: Разум, Воля и Сердце — и ставит Сердце регулятором между устремлениями Разума и Воли. Пафос Абая — воспитать **человечность** в казахе: отделить его от скота — и стада, с кем он слишком сросся в кочевом быту, и чтоб вытянуть казаха в Человека, и дает высокое понятие о том, что есть мусульманин.

“Самое сложное — воспитать в них **человечность**. Потому что Аллах — это путь истины, а искренность и правдивость — враги зла” (с. 61). Главное, что ненавистно Абаю в своем народе, — это животные страсти в нем: хищность, гнев, воровство, хитрость, обман — все по образу и подобию животного. Он же тянет казаха в Человека и ставит перед ним высокий лик Бога — Аллаха. И главное в мусульманине-Человеке = очищение души светом ума-знания: все понимать в мире и в себе, назначение каждой детали бытия.

“Ведь все на свете создано так, что одно служит интересам другого. Неживые тела не чувствуют боли и служат пищей одушевленной твари; животные поддерживают жизнь разумных существ — людей (далее разворачивается целая антропология и космография. — Г.Г.); животные освобождены от ответа перед Страшным Судом, а человек наделен разумом и властвует над всем. (Вот, отщепить человека от животного — главная цель Абая в учительстве своего народа, дать самосознанию человека разумные доводы. И вот главный: ответственность человека. — Г.Г.) В том, что Бог создал человека способным держать ответ на Страшном Суде, проявились его справедливость и любовь к человеку. Он создал образ человеческий отличным от форм червей, птиц, прочей живности, наделил человека лучшим сложением, поставил на две ноги, высоко расположил голову, чтобы он мог обзирать окружающий мир, чтобы он не пригибался и не брал пищу, как животное, дал ему две руки, которые служат голове (т.е. четвероноготь животного различил на две ноги и две руки. — Г.Г.); чтобы он мог наслаждаться ароматами, дал ему нос; чтобы он мог видеть употребляемую пищу, дал ему глаза; чтобы защитить их от опасностей, дал веки; ресницы даны, чтобы уберечь веки от трения; брови — чтобы отвести от глаз стекающий со лба пот (вот такая телесная детализация оком человека, вы-

росшего в Логосе кочевого быта, где тело жизни животного и человека имеет большой удельный вес, и каждая тут часть и орган наделен функцией и смыслом. — Г.Г.); язык дан для того, чтобы люди могли общаться, понимать друг друга и трудиться сообща” (с. 65).

Такой подробный парад органов тела человека невозможен у русского мыслителя, который берет тело единым скопом, и если что и будет акцентировать, то — вертикаль прямостояния и перед: лицо и глаза. Вот у русского мыслителя Федорова Николая есть великолепный анализ смысла вертикального положения тела человека — как его призванность одухотворить земное и животное существование и поднять все бытие к Небу. Но тут модель явная — растения, древа, что и естественно для народа земледельческого быта.

Так же расчлененно трактует Абай и детали религиозного обряда в исламе — намаза. Ведь он состоит из телодвижений, и чтобы не животно-механически исполнялись они казахом и бездумно, он раскрывает смысл каждого жеста: “Не способные разобраться в смысле обрядовых знаков (вот: семиотика обряда трактуется Абаем! — Г.Г.), прислушайтесь! Самое главное в них — намаз. Но прежде чем приступить к нему, вы должны совершить омовение. Омовение совершается после очищения от скверны. Помните об этом! Эта процедура должна закончиться проведением влажными руками по ногам — некоторые из знаков носят символический характер...

Легкое прикосновение мокрыми пальцами к шее и ногам означает, что они уже омыты и чисты.

Приступая к молитве, вы касаетесь пальцами ушей — это означает, что вы не смеете перед Аллахом воздеть руки выше, это движение означает ваше признание — Аллах превыше всего, и вашу мольбу к Нему — не дай потонуть в мирской суете, протяни руку помощи.

Склоненная голова и сложенные на груди руки — знак того, что вы стоите не просто как раб перед вельможей, не как простолудин перед падишахом, а выказываете этим признание как более слабое, ничтожное создание справедливости и непомерного могущества всемудрого Аллаха...

Поклоны, совершаемые положе руки на колени, — знак того, что мусульманин предстал перед ликом Аллаха.

Первое прикосновение лбом земли означает, что человек вышел из земли, второе — что он вернется в землю же. Обра-

щение лицом к небу — знак надежды и мольбы на воскрешение после смерти” (с. 76—78).

Перевод языка телодвижений, жестов в язык идей актуален для психики и логики казаха как человека-кентавра, слитого с туловищем своего коня. Ссадить его на землю и тут колена преклонить — вот цель увещаний Абая. И в этом смиренности — не перед падишахом, а перед Аллахом — Абай усматривает именно достоинство человека, его самость, а не как по традиционной логике кочевья: у кого больше скота, тот более и человек! Нет, тот именно — менее человек, ибо более озабочен наращиванием животности вокруг себя.

Отчаяние Роллана Сейсенбаева

19.VI.93. Уж стал я было скисать в своем размышлении о “Книге слов” Абая, как подвернувшийся в это время роман Роллана Сейсенбаева “Отчаяние”¹ поддал мне жару: предоставил то необходимое контрастное (Абаю) поле, ту разность потенциалов, которая и нужна, чтобы ток мышления мог состояться.

Уже читая филиппики Абая против своего народа — хоть и любящие по интенции и интонации, но все же монотонные, — исполнялся я желанием спросить его: хорошо — допустим, все станет по-твоему: оставят казахи свой кочевой быт со стадами, вблизи животных обитая, примут цивилизацию с Севера, из России, каково-то им будет, как пойдет дело дальше? И вот роман “Отчаяние” предоставил мне эту возможность:

Как посравнить да посмотреть
Вск пынешший и вск минувший, —
Свежо предание, а верится с трудом.

И в самом деле, как раз век прошел с Абаевых времен:

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых тех мужей,
Столь полных волею страстей?..

— пусть и животных, и темных, но своих, присущих Казахству? И, можно сказать, по программе Абая пошла история: мощное

¹ *Сейсенбаев Роллан. Отчаяние, или Мертвые бродят в песках. М.: Сов. писатель, 1991.*

влияние и срастание с Севером: надвинулся он на Казахстан и пришел к своей судьбе и понятиям в единой державе России-империи, а потом в Советском Союзе зажили казахи. И вот диагноз: каково им стало, можно прочесть, взяв в руки роман Сейсенбаева, кстати, отдаленного потомка Абая, из его же рода, потомственного казахского интеллигента.

Свершилось оседание казахского народа: вместо мерного и мирного кочевья по заведенным извекам для каждого рода и клана маршрутам — прикрепилась к земле, вросли в место (=“мещане”, горожане стали), так что судьба их уже сопряжена с судьбой места, как это свойственно земледельцам и горожанам, прикованным, как цепями, к тому или иному месту и исполняющимся тяги Земли. Люди теперь ею увесисты: становятся навинченными на радиус, на шампур его нанизанными — и уже не в силах сдвинуться с насиженного места, как заколдованного и их околдовавшего.

Перед нами казахи, осевшие на берегах Аральского моря и ставшие из кочевников рыбаками, сменивши, так сказать, мясо на рыбу — и соответственно в казнь за предательство своего принципа стали они “ни рыба, ни мясо”, того и сего лишились. Ибо кочевье, что они умели и что им было заповедано от Бытия, оставили, а рыбаками на зыбком, кочующем “море” Арала — не надежно им стать. Это тебе не Атлантика и не Балтика или, на худой конец, Средиземное море, что вечны, океанны, но — старица того моря, что некогда протягивалось от Каспия до Балхаша. Оно стало мелеть само собой, от Природы, еще до вторжения советской власти с русского Севера в сторону южную, где Средняя Азия и Казахстан лежат.

“Природа не делает ошибок”, — верно говорит у Сейсенбаева русский ученый Славиков, доброхот казахов и защитник их интересов, восставший против плана строить Каракумский канал, который призван отобрать воду у двух Дарий — Сыр и Аму — на орошение полей риса и хлопка, а Арал, который будет от этого погибать, наполнить через поворот северных рек (Обь, Иртыш...) на юг. Так воедино сплелись и сплелись судьбы России и Казахстана, их тела, их природы. А раз **планы**, то есть из ума-разума и воли человека пошло дело истории, то тут уж на природу неча пенять, коли что не так, но на себя лишь, на свой ум-разум. Ибо именно он дан человеку, чтобы согласовывать свою жизнь и хозяйствование с условиями, предоставляемыми природой, и предвидеть будущее на основе анализа прошлого.

Но тут словно лишение своего разума совершилось у казахов. Вот и мечется страстный и динамичный ум Сейсенбаева в поисках причин, объяснений и кого винить-судить в том, что жизнь его народа пошла как-то наперекосяк: и быт, и природа гибнет, и нравы... Легче всего в отроческом рессантимане (горечи-досаде) винить ум и волю Севера: из России ведь пришли и принцип оседлости, и земледелие, и власть железная, лишившая воли и простора, и все эти планы переделки природы: пастбища — в пашню, скотоводства — в рисоводство и хлопководство (для пороха и войны, а не столько для одежды: не одевать, но убивать-раздевать людей, а если и одевать — то в саван...)

И разница очевидна: Абай причину полагает в самих казахах. Обличая их в национальной самокритике, он все же полагает их субъектами своей жизни и истории. Сейсенбаев же видит казахов объектами чужого манипулирования, жертвами, в отчаянии мечущимися в западне социума и природы. Причины бед — вне их. И во многом это действительно так: сбит с панталыку народ, поскольку его вожди, гуманисты и просветители, как Абай, возжелали ему чужого каравая — жребия. А недаром сказано: “На чужой каравай рот не разевай” = не желай себе чужой дхармы, как сказали бы другие, более мудрые соседи Казахстана — философические индийцы с Юга: “Лучше дурно выполненная своя дхарма (=принцип жизни, путь, долг. — Г.Г.), нежели хорошо выполненная чужая. Чужая дхарма опасна”. (Это я формулы Бхагавадгиты привожу.) И верно, приняли дхарму русского земледельчества и принципы советской власти, ее Логос плана и срока: скорей! давай-давай!

При таком подстегиивании у казаха, как у иноходца, сбивался его мерный ритм, шаг и ход. Ведь казахская жизнь натуральная — медлительна, как жуют травы овцы и кони, так и аксакалы, не торопясь, обмыслиют бытие: есть время думать, качаясь в седле, обдумывать основательно. А тут вдруг нахлынул истерический (для Казахстана) темпоритм города, машинной цивилизации и заставил соображать быстро-быстро, что не возможно и не присуще ни им, ни, кстати, и земледельцам российским, мужикам. И дело пошло в стране в XX веке поперед разума: делание, обгоняя разумение. Об этом точно один из персонажей Андрея Платонова говорит: руки у нас поперед разума действовать торопятся, оттого и все беды...

Да, такое ощущение от этого и от других произведений Сейсенбаева — что загнаны казахи, как подопытные кролики, в

клетки чужой игры и эксперимента, и вот мечутся и расширяются о прутья, задыхаются, сходят с ума... И верно: в такой фазе своего развития они оказались в стадии страдания от необходимой прививки (может, и не необходимой, но уже случившейся, и обратного хода нет: не переиграть свою историю) стиля жизни земледельческо-городской цивилизации, агентом-проводником чего явилась Россия, после чего наступить должна (и, кажется, ныне и наступает) новая фаза — прихода в себя, синтеза и своего прошлого, и совершившегося в XX веке, и на этой основе уже образование присущего себе, Казахстану, и в то же время современного типа цивилизации.

Так что четыре фазы бытия Казахстана видятся мне через сюжет Абай — Сейсенбай. Первая — это кочевой, родовый быт, отстоявшийся веками и тысячелетиями, культура Поля. Она остается за скобками, ее не ценит Абай, вырываясь из нее на путь свободной личности, так что она лишь в минусе представлена в его “Книге слов”. Вторая стадия — это Абай и простодушный поворот Казахстана к Северу за умом-разумом и цивилизацией. И вот ЭТО произошло: нахлынул Север со своими принципами — и все перемешал, переместил, изувечил естественное, натуральное тут, и культуру Поля. В этом состоянии мира (третья фаза) родился и вырос Сейсенбаев. Он уже не ведал кочевья, культура Поля для него лишь эстетический идеал, “преданья старины глубокой”. Сам он уже горожанин, привыкший к удобствам городской цивилизации, к жизни интеллектуала и журналиста, и чабаном в кошаре не станет: не в юрте, а в международных отелях настропалился жить, отделясь от быта и судьбы своего народа. Но совесть-то у писателя скребет, и, свою вину чуя (правда, без вины виноватость-то в нем: просто иной стиль эпохи, куда попал-занесен), оправдывает свою “растлень” изображением ужасов жизни своего народа еще в более черных тонах и красках, нежели на самом-то деле. Книги Сейсенбаева — это черная мелодрама: и “Трон сатаны”, и “Отчаяние” — одни названия чего стоят! — и об этом векторе-интенции **ужаса-ния, паники** говорят. А подзаголовок “Отчаяния” — “или Мертвые бродят в песках”. Прямо готический (то бишь тюркский) “роман ужасов”, и они нагнетаются тут — многие гибели, панорама глупости и злодеяний с народом и человеком: что сделали с нами — ОНИ, какие-то трудно исповедимые глупые и злые силы Бытия!

По Абаю, они, эти силы, — в нас. По чувству его наследника — вне нас. Оба правы: они и там, и сям. Просто в разные фазы бытия акцент то на одной, то на другой стороне “дела”.

Да, надвинулись Пространство и Время — чужие. Такое метафизическое событие произошло в XX веке с Казахстаном. Оно — испытание, что выпадает всем народам и человекам. Но испытание и нужно: оно есть вызов-призыв — свои силы и ум пробудить и стать самостью в истории, а не иждивенцами Бытия, каковы люди и народы в патриархальном, инфантильном состоянии родового быта = природового, с нею слитого и от нее, природы, зависящего, у Бога за пазухой, нахлебниками Бога-Отца и Природы-Матери.

Следующая фаза — “грехопадение” во зло, а не просто искушение страданием (как в прежней фазе). Тут субъект испытания (народ, человек) становится сам виноват. Человек и народ переходят из состояния “нахлебника” у Бого-Природы в состояние **наемника** — у чужого дяди, у Социума (ад и трон Сатаны там), пока не заработает себе срединное состояние “чистилища” как бы, в кое и пришли ныне жить цивилизованные народы — разных причем цивилизаций: и Китая, и Америки, и Европы, и Индии, и Ислама... Казахстан находится накануне перехода в эту фазу, но пока ему еще кровоточит описанная Сейсенбаевым стадия Блудного сына (в сравнении с сыном Послушным, что всегда при Отце), который сдвинулся в существование на свой страх и риск, стал экзистенциален. И вот для умного образования присущей Казахстану цивилизации в своем Пространстве и Времени и полезны, и актуальны те самоанализы Казахстана, что даны и в “Книге слов” Абая, и в романах Сейсенбаева.

Во-первых, очевидно становится задним числом (как в математике при “доказательстве от противного”, а тут на собственном горьком опыте, что казахам учинила История), что кочевье есть мудрое установление. Тут ведь — **свобода** от тяги Земли, непривязанность к месту, к его воле и полю силовому, что приконопачивает к вертикали радиуса Земля — Небо. Можно сняться всем народом с места, коли там кончилась трава или рыба (как вот в высыхающем Аральском море), и спокойно переселиться на другое место. Благо культура Поля не опредмечивает себя в сооружения на земле — там города и обстановка статуарная, — но у них все съемно, легко подъемно: и жилище-юрта, и ее скарб минимальный, нехитрый, в мудром минимуме потребностей, в их ограничении. Кочевник — как

мудрец, философ, принцип которого “все мое ношу с собой” — и не завишу, значит, от окружающих условий. И души казахов относились легко к местам и землям, пока обитали внутри ритма кочевья. И, кстати, недаром такой стиль культуры возник в пространстве Поля — степей маловодных, пустынь: там даже сама вода кочует, как реки, что меняют русла и усыхают (река Узбой, к примеру), да и как само старинное великое море от Каспия до Балхаша кочевало. Тут надо уметь сообразовываться с этим кочующим стилем жизни поверх смерти (= воды поверх песков или под ними, где колодцы). А вот перестали, забыли, поддавшись чужой дхарме земледелов и мещан (=горожан) с Севера, себя по глупости разумея глупыми. И в этом — глупость мудреца Абая (“на всякого мудреца довольно простоты”!): не усматривал ценности и культуры в быту народа и мечтал переделать его на оседлый лад. Не мог он, конечно, предвидеть того ужаса, что проистечет от этих перемен и что описан уже его потомком:

С насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Но ведь в трагедии Арала — в плане естественной на поверхности Земли смены климатов, периодов воды и суши, оледенений — ничего тут особенного не произошло! Пересыхание же происходило, шло своим чередом на этом пространстве. А проекты и действия человека, предложенные его частичным разумением планы каналов и переброски рек тут на правах сил Природы и ее агентов выступают.

Причем Казахстану как раз “с руки” такая оптика — многотысячелетний контекст, в каком ощущать-понимать эпизод своего существования. Ведь рядом — древнейшие цивилизации, которые в своем распространении захватывали и Казахстан. И в романе Сейсенбаева множество исторических реминисценций: и о персидском царе Дарии, и о Тигре и Евфрате, как вавилонских двух Дарьях, как наши Аму- и Сыр-..., и о подземных водах, как их использовали в той цивилизации. И о Римской империи. Подобный широкий кругозор и у поэта Олжаса Сулейменова: в его историко-культурном труде “АзиЯ” культура Поля исследована в контексте древних цивилизаций той Азии, что южнее Средней: Шумер, Вавилон, Иран, Туран... Понятно, что сама ориентировка такая: перемена вектора интереса с Севера на Юг показала раздражающей в период всепоглощающего влияния и давления России в составе

советской цивилизации. И тем более — оттуда, с Юга, суметь прояснить темные места в “Слове о полку Игореве”, в сей словесной святыне северян!..

И в романе Сейсенбаева этот исторический фон древности бросает успокоительный, укрощающий свет на ужасы и истерики современной текучки. Имея в виду такой широкий философский контекст, можно перейти и к более подробному рассмотрению того, что происходит в романе. А происходит — **жизнь**: в любых условиях, благоприятных или нет, а совершается у человека его единственная жизнь, и в ней он получает сполна, что ему положено: и радости, и страдания, любовь и красоту. Окружение и обстоятельства могут быть разными, но **живут же люди** везде — и в раю, и в полярном краю. Те же радости, страсти и горести имеют. И потому эта жизнь любима. Любима она и такая — в отчаянии и бесперспективности быта некогдашних кочевников, потом рыбаков, а теперь растерянных и никчемных, населяющих убегающие берега Аральского моря. И как в этих, уже противожизненных условиях, а все же **жив человек!** — особый интерес повествования Сейсенбаева.

Но ужасов пересыхающего Арала ему мало: давай еще взрывы атомной бомбы — ее испытания на полигоне Семипалатинска. Да еще Байконур тут. **Куча мала** этих испытаний его народу. Они — как чудовища: Немейский лев, Лернейская гидра, Минотавр и пр. для Геракла и Тесея, для подвигов этих героев, расчистивших поприще для культуры и цивилизации Эллады. Это и Казахстану предстоит. А уж работа эпоса, романа эти условия и чудищ воспеть. Что и делается: эти страшные сказки сказываются в книгах Сейсенбаева. Что там Хичкок и триллеры, где искусственно выдумываются ужасы! Тут — жути естества, в которые попадает искусство человека. Вон смерч, в который ввинчивается вертолет: “Вертолет не падал, а совершенно без определенного направления носился в воздухе, как пустой спичечный коробок по ветру. Этим же чудовищным порывом ветра с земли, с клочка ее поверхности, составлявшей в диаметре километров восемь-десять, внезапно слизнуло и лошадей, и сайгаков, и волков, и лисиц, и редкие деревья, что еще оставались по-над бывшим руслом Сырдарьи. Слизнуло, но тут же скопом ударило все это скопище живых тварей оземь — и снова подняло, и завертело вместе с вертолетом будто бы в одном котле. И живые еще! — и мертвые твари теперь носились в воздухе, сталки-

ваясь друг с другом, шкрябая по обшивке вертолета безвольными копытами...” (с. 511).

Да, соизмеримы эти стадии — кануны обеих цивилизаций: совершившейся уже цивилизации Эллады и вот предстоящей к образованию (так полагаю) собственной цивилизации Казахстана. Ибо до сего можно было говорить о “культуре Поля”, о “Казахстве” — как целостности быта и духа на основе этноса, народа. А “Казахстан” — это уже СТАН = стояние, привязка к месту. И это устанавливается долго, и ныне — в процессе образования.

Роман личности или народный эпос?

20.VI.93. Вот уже превращается милая заброшенная деревенька моя Новоселки в садово-дачный поселок, где дети пенсионеров крутят во всю транзисторы, и рев рока вместо щебета птиц вторгается в слух. Что делать? Подойти ли к дому, где на всю катушку ревет звук, и попросить умалить — или потерпеть, — тем более что днем уеду сегодня, а на следующей неделе, может, и не будет такого? Ведь подойти значит вступить в общение, принять чужой образ и тон в себя, и даже если умалит звук, стану прислушиваться: достаточно ли приглушил? А если нет — снова идти, давить? В итоге себе же хуже: как раз привязан станешь к процессу освобождения от неприятности = рабом неприятности этой станешь, тогда как коли сам научусь не обращать внимания (ну, уши заткни ватой) — просто аннигилирую присутствие сего мучения в моей жизни.

Кстати, такова всякая **борьба за свободу**: то препятствие, которое хотят одолеть (монархия, буржуй, бюрократ, женщина, своя слабость какая или недуг...), как только нацеливаешься на него, разрастается в объеме и важности в твоей жизни и из **цели** становится **целым** Бытия. Так что для освобождения (как процесса) эффективнее обратная установка: занять сознание иным и отодвинуть это на периферию. Вот и сделал так, включив у себя на крыльце радио “Орфей” с классической музыкой: это ближе мне и оттесняет тот крик.

Задумался сегодня: а как с Эросом, с сексом у кочевников, у казахов? О, тут, наверное, стремительный точечный натиск — СТРЕМ-ГЛАВ! — как и у животных их в случке: жеребец на кобылу набрасывается (или бык на корову) уже полный страсти, и ему незачем разогреваться в процессе долгом, и он рвется скорее освободиться, излиться. В кочевье соитие — орган

Рода, а не наслаждение Личности. Главное — не сам процесс соития и его сласть, но результат: рождение детей (=умножение стада), и прежде всего сына мечтают иметь от жены. И в романе Сейсенбаева лекарь Откельды несколько раз женится, пока нежная Марзия не родит ему трех сыновей.

Вообще все любовно-семейные истории в романе — как вставные легенды, инкрустации в социально-хозяйственный и экологический сюжет, и они выдержаны в эстетике фольклорной: умыкание, стихи-песни любовные и воспоминание об умершей жене. Так что, строго говоря, перед нами еще не роман, а просто длинное повествование, где можно нанизывать персонажи на персонажи и встречи-разговоры на разговоры. И плюсовать беду за бедой: высыхание Арала к отравлению детей и рыбы водами, выпущенными химкомбинатом в Сырдарью, одичание собак в волков — к ядерным испытаниям в Семипалатинске, рождение там детей-дебилов — к выветриванию почв от распахивания пастбищ, адвективный туман — к кислотному дождю, смерч — к пожару и т.д. Как семь печатей снимаются с Бытия в Апокалипсисе (вот модель книги Сейсенбаева). И насчет всего этого разговоры, встречи: бьется джигит-батыр социальный Кахарман, защитник народа, пишет письма в Москву, встречается с учеными, с секретарем обкома, даже Горбачеву передает письмо. Тут канва — путешествия, как в античном и авантюрно-бытовом романе, канва обзора-панорамы. Экстенсивность: развитие во вне, захватывая все новые пространства, а не интенсивно, когда идет погружение внутрь души, рефлексия, как это уже в собственно романе нового времени, где не герой для обзора объективного состояния дел и описаний, а внешнее вверчивается во внутренний мир персонажа и там субъективно переживается и передумывается. Так это у Руссо уже (“Новая Элоиза”, “Эмиль”), кто аналогичен Канту, который не Пространство, а Время определил как главное поприще “я”, внутренней жизни личности. И не надо объективной действительности быть такой сильной, как тут: смерч, буран, ураган! Они своим масштабом забивают интересность “я”, внутренней жизни души. В казахском “романе” не усложняется внутренняя жизнь героя (тут Кахармана, да и то условно: просто о нем больше...), но набор одних и тех же ситуаций: мезальянская влюбленность, противление родителей, умыкание невесты, недолгая счастливая жизнь, гибель возлюбленной — и долгая память о ней в песнях стихотворца-жырау Акбалака. Или верная жена, мно-

готерпеливая подвижница-сопутница в бедствиях персонажа. И такое же самое прокручивается просто еще на одном герое. Но в этом — не индивидуальная “слабость” Сейсенбаева-романиста, а стадильно-историческая в нем черта: его народ еще близок к родовому быту и ценностям, и мало развита личность — так это в эпосе. В книге Сейсенбаева поэтика — переходная от Запада к Востоку. Она близка к восточному типу “романа”-эпопеи, чья структура — плюсование односторонних персонажей и эпизодов. А по ходу — много умных бесед, мыслей, афоризмов и красивых стихов. Сейсенбаев применяет прием монтажа, умело сплавивая сюжетные ситуации, газетные вырезки, легенды.

Но я ушел от рассмотрения казахской специфики. А ее я вижу в характере образов-символов, играющих тут роль моделей. Например, несколько раз, как образец жертвы за друга, проходит легенда об Иманбеке.

21.VI.93. Задумался: вот в “Книге слов” Абая всеобщие нравственные правила на все времена: не стяжай, учись, не предавай и т.п. — и никакой картины реальности. У Сейсенбаева пульсирует жизнь наша, материал действительности насыщенный: жизнь рыбаков, молитва муллы и легенды певцов, поход школьников, заседание обкома, полемика ученых... И все те же вечные игры коварства и любви, волков и овец. Но тут и волки — в роли овец: сильные джигиты-казахи вовлечены невидимыми силами механической власти в не-естественную им реальность, где теряют ум и гибнут в пустых схватках.

Как бы в отношении дополнительности эти два типа употребления слов и письмен: Мысль и Жизнь, Правила — и к чему их применять. Накат волн действительности на душу и ум человеческий, что теряется в многообразии сил, мотивов, аргументов и вроде бы обоснованных понятий и планов. Ведь и те, кто хотели, вынашивали планы переброски северных рек, и кто воды рек на поля хлопка устремлял, и кто ядерный полигон построил, желали блага стране, людям, тем же казахам. И как же из этих частных благих идей и дел возникает, как их сумма и интеграл, — погибель и ужас?.. И, может быть, нечего особо и ужасаться, ведь не всеобщая то погибель, но частичная, как частичным было добро — так и зло. Ну гибнет Арал и никчемны теперь рыбаки там, не убравшиеся от туда вовремя. Но это ж — в порядке функционирования природы и труда: меняется климат, кончается жила угля — и не нужен здесь труд более. Переселяться надо, и добродее-

тель кочевья как раз в этом: непривязанность к земле, но большая приверженность надземью, воз-духу и ветру. Легко-съёмные былинки, птички — вот кочевники. Не обременены лишним материальным, но избыток сил влагают в слова, в айтыс-спор поэтов, в песнь, в интриги и дипломатию и политику межлюдских, межклановых отношений — там страсти, хитрости, замыслы... Это же — как изделия в мире Психеи. Если земледелец или горожанин излишек ума и рук тратит на изготовление предметов — дом, домна, театр, — то кочевник более свободен от вещиности, и время у него есть на думу в седле, на песнь, слушать долгие сказы, на хищность и похищения невест, стад, джигитовку, игру...

В романе Сейсенбаева счет к Северу и России: послушались мы вас и, предав свой принцип кочевья, перешли к оседлости — и что же? Пропадаем теперь! Зачем стали вкладывать в нас свой ум, а мы поверили? А им русские и советские могут ответить: а зачем слушались? Сами ведь поверили — вот и ваш Абай к нам вас звал!

Так что трагедия легковерия запечатлена в книге Сейсенбаева. А теперь обратно — подозрительность ко всему чужому у казахов:

Боюсь данайцев, и дары приносящих...

Но ведь новую радость жизни вкусили казахи-горожане — тот же Роллан Сейсенбаев и его сверстники: студенты, ученые, писатели. И не загонишь назад в седло. На лайнере реактивном привыкших летать...

Что же в них от Казахстана осталось? Кроме этноса (физики, крови) еще и Память. Вон как модели прошлого обитают в сознании современных казахов:

“Звонок сокурсника и друга он (Кахарман. — Г.Г.) принял как добрый знак — голос Султана вселил в него надежду. Сейчас ему помощь друзей нужна, как воздух. Не зря, наверное, существует эта старинная легенда про молодого, отважного воина Иманбека, который, чтобы вызволить друга из плена, согласился на то, чтобы ему выкололи глаза. Рассказывают, что в роде Иманбека оказалось потом много ясновидящих, много искусных целителей и вдохновенных домбристов. Иманбек, оставшись без глаз, говорят, взял в руки домбру и очень скоро прославился. Все лучшие походные кюи, говорят, придуманы им. То было время, когда люди ценили дружбу и, даже враждуя, не роняли человеческого достоинства.

И снова Кахарман возвратился своими мыслями к сегодняшнему заседанию бюро” (“Отчаяние”. С. 136—137).

Тут — инкрустация легенды, приносимой памятью, в сегодняшнюю будничную жизнь: “сокурсник”, “заседание бюро” — вот новый быт и его приметы. Но критерии-то ценностей — контактные: дружба, достоинство и при вражде, как необходимо для игры Бытия разделении людей на группы, кланы, роды. Потому относительно легко переходят казахи от одного единодушия к другому, от верности одному клану и роду и баю — к другому, без особых личностных мучений совести. “Кахарман оглядел членов бюро. Дрожат, **как ягнята**, каждый боится за свой партийный билет и должностной стул” (с. 127). Овца, волк, лошадь — основные животные модели, с животным сверяет себя казах в Логосе национальном.

Но вот еще важное: Иманбеку выкололи глаза, а в роде его стало много ясновидящих. То есть субъектом является не индивид и его судьба, но род как коллектив в пространстве и времени. Так что тут не христианская концепция единождыной личности и судьбы, и не метемпсихоз, переселение **одной** души в последовательность существ (человека, слона, шудру, брахмана...), как в индуизме, но “род Иманбека”, где один, родоначальник, его как бы хан и начаток, и идея, дает имя и сюжет существования всем членам клана: все перешли от грубой джигитовки, когда они были с глазами, от тупого батырства к духовной деятельности — певцы, гадалы, целители...

Так что и текущий в Казахстане ужас может обернуться переселением в новые ареалы быта и новые поприща деятельности, как и у Иманбека после выкалывания глаз проснулся талант певца.

Но сама легенда интересна в своих подробностях. Она рассказана в другом месте романа, еще раньше: Море Арала рассказывает эту легенду Насуру — аксакалу и мудрецу здешних мест:

“Персы завоевали мой народ, чтобы превратить его в рабов, угнали скот, пересекли Дарью и уже приближались к белоглавой горе, когда на моем берегу раненый, истекающий кровью джигит добрался до моей воды, омыл ею раны, надел на голову шлем, сел на огненного жеребца и поскакал вслед за вражеским войском... Он нагнал врагов и сказал им, что желает говорить с персидским царем... “Хорош жеребец! — воскликнул царь. — Не хочешь ли ты подарить его мне?... Говори свое желание — оно будет исполнено!” — приказал царь. “У тебя

в плену оказался мой лучший друг. Оставь ему жизнь, а взамен возьми у меня все, что пожелаешь...” — “Все, что пожелаю? — усмехнулся царь. — А если я пожелаю взять у тебя глаза?” Воин, никогда не отступавший от своих слов, отвечал: “Я согласен, царь!” Царь отпустил на волю пленного джигита, а смелому воину выкололи глаза. Два воина, поддерживая друг друга, с трудом добрались до меня, вновь омыли свои раны. Огненногривый тоже не дался врагу — через несколько дней он вернулся к морю. И не один, а привел с собой целый табун лошадей. Обнял верного коня храбрый воин и спросил друга: целы ли у огненного глаза? “Целы”, — ответил друг. “Если у вас обоих целы глаза, мне не о чем печалиться, друзья мои! — ответил храбрый воин. — Живите, будьте счастливы!” (с. 109—110).

Здесь жеребец — брат. А глаз — субститут коня: вместо него — в жертву. И — взаимозаменяемость существований, не исключительность “я”, личности.

Экологическая трагедия

24.IX.93. Вчера дочитал книгу Сейсенбаева “Отчаяние” и могу оценить, какая это крупная вещь. Народный эпос. Сначала меня раздражала его куча мала: вали и то, и се — и разные места Казахстана: Арал, Алма-Ата, Балхаш, Семипалатинск; еще и Москва, а через газеты — и весь мир: и Америка, и Индия, и Румыния... Еще и эпохи разные — через стили повествования: нынешние рассудочные споры ученых и предания прежних времен, выдержки из газет — и стихи... Пестрота персонажей и профессий: рыбак, мулла, поэт, секретарь обкома, ученый, наркоман, пьяница, безумная пророчица, жена-хозяйка... А главное — стихии природы: пески, песчаные бури, ливень и засуха, капризы небес, ледников, рек, птиц, рыб — их, мирных, хащное остервенение, когда в бешенство от безводья и солончаков приходят (как души людей в невыносимых условиях...).

О, это универсум — этот роман. Еще и политика, и разные ее контрадикторные устремления, и ее буффонные персонажи-лицедеи на арене масс-медиа. Роман-панорама Бытия. И главный персонаж тут не личность, а народ в лицах разнообразных — в теснине между Природой и Историей, между этими Симплегадами: как между Сциллой и Харибдой пройти каравану народа и не быть размолоту и проглочену? Ибо стал безумен и шизофреничен тут человек, не в силах совладать и

ориентироваться в навалившейся со всех сторон и так сразу требующей реакции многослойной действительности, в которой одно противоречит другому, и как согласовать все? У всех вроде своя частичная правда: и в аргументах “партии и правительства” орошать земли, и в установке экологов: не трожь Природу, она саморегулирующаяся система и мстит за некомпетентное вторжение, что и случилось как раз на территории Казахстана: его народ стал жертвой рассудочных экспериментов — и политиков (построить социализм-коммунизм), и ученых (преодолеть природу!) и т.п.

И возникает, естественно, ностальгия по прежнему, отлаженному кругу жизни в ладу с природой, приноравливаясь к ней, а не насилуя. Тогда и человек был гармоничен: джигит, певец-жырау, аксакал... Да и теперь самые хорошие люди — те, что из прошлого, с закваской оттуда: Насыр, мудрец-мулла, Откельды, народный врачеватель, Акбалак, поэт, и милые плавные женщины: поэтическая Карашаш и мудрая Корлан... Но их сын (Насыра и Корлан) Кахарман родился уже в чумное время, ошалевшее среди вихря взаимоисключающих ценностей. Он ищет правды и блага, желает служить народу и жить по совести — и непрерывно наталкивается на путаницу мира сего, барахтается в его сетях, запутывается еще более в попытках вырваться сразу и добиться... — устает, пьет, впадает в отчаяние — и кончает с собой, как перед этим — символически и прообразно — выбрасываются на берег от невыносимости сверхсоленой (=переогненной) воды Арала его священные рыбы: Белуга и Сом. Так и Кахарман: удушив растленного анашиста, изнасиловавшего женщину (кстати, за аналогичный самосуд попадает в тюрьму герой и предыдущего романа Сейсенбаева “Трон сатаны” — постоянный это у него сюжет), самосжигается.

Да, опасный путь и “выход”. Отчаяние — великий грех и приводит к самоубийству, а это деяние греховнее убийства даже, в котором человек еще имеет шанс покаяться... Усталость и безразличие — предтечи отчаяния. Вон как размышляет Кахарман, везя тело матери в цинковом гробу: “Что за время такое теперь наступило? Два самых глубоких таинства — рождение и смерть — потеряли ореол святости, мы смотрим теперь на них обыденно, даже если они имеют отношение к людям очень нам близким. “Это следствие твоей усталости, — спрашивал себя Кахарман, — или причина? Впрочем, не все ли равно? Следствие это или причина — в первую очередь это

факт. Что нам смерть близкого человека? Что вообще нам *умиране*, *смерть* как таковые? Словно все мы давным-давно превратились в маленьких дьяволов — совершенно равнодушно смотрим на то, как мрут наши ближние, как умирают моря вокруг нас, природа...”

Перипетии бытия вгоняют его в Мысль — единственное пространство простора и свободы, что человеку осталось. Но и тут он упирается в ограниченность смертного ума: “Кахарман сидел в купе и тупо смотрел перед собой. Зло ухмыльнулся: “Все размышляешь, раб божий Кахарман. И не надоело тебе? Вот задумался ты сейчас о жизни и смерти. Конечно, это два разных понятия. Пока ты живешь — ты мыслишь. А вот ответь: что случится с твоими мыслями, когда не станет и тебя? Уйдут с тобой в сырую землю или полетят в небо вместе с душой? Нет, не ответить тебе, человечешко, на этот вечный вопрос. Не дано. Потому что не умеешь ты мыслить, а умеешь только разрушать, осквернять. Сказано: есть предел человеческому уму, а вот глупость его безбрежна... Так что сиди, молчи в тряпочку, мыслитель...” (с. 495).

И Кахарману — по доброй традиции умников европейской и русской литературы, кому черт является (Фаусту, Ивану Карамазову, Адриану Леверкюну...) — является свой национальный дьявол, джинн — мелкий бес, с забавными восточными приметами и колоритом. Плагиат? Нет, цитированье и парафраза, вариация на вечный сюжет, что постоянно во всех литературах (вспомним использование античных мифов, сюжетов и персонажей). И вот как оригинально подан взгляд джинна на человеческий род, на ад и их там, бесов, службу:

“По мне, я бы весь этот мерзопакостный род человеческий подпалил на адовом огне — слегка, для порядка, чтобы напомнить: вот вам цветочки, подождите — будут ягодки... Вы уничтожили на земле все, что можно было уничтожить. Когда бог всех вас за грехи изгонит в ад, он прикажет нам, бесам, сойти на землю. Он прикажет: оживите на земле все ручьи и речушки, все озера и моря, которые погубил идиот-человек! Оживите зверей и всех остальных тварей, которыми когда-то наполнил я землю! Из-за вас придется нам впрягаться в это ярмо! Думаешь, легко это будет? Да мы захлебнемся в крови, задохнемся, когда будем разгребать после вас горы дерьма! Так вот, дружок: люди — это звери, не даст им бог милости, так и знай...” (с. 506).

Такой сюжет — экологический — неведомо было поднимать ни Гете, ни Достоевскому, ни Томасу Манну... Но тут эта тра-

гедия — природы и истории — еще и трагедией ума усилена: невозможность разуму разобраться что к чему, найти правильный путь и мысль: все предательски подводят и оборачиваются ложью и злом (как вон вроде бы идеально-прекрасные принципы “свободы, равенства и братства”, или идеал коммунизма как счастья для всех...). Стадия “несчастливого сознания”, как обозначил Гегель таковую в “Феноменологии духа”. И она прейдет, но вынести ее человеку, на кого она пришлась, эта фаза в развитии его народа, неимоверно тяжело, и вот наш казах сокрушен...

Однако выход, и благой, намечается. Кахарман перед своим концом напрягает ум, чтобы передать сыну Берিশу, к чему пришел:

“Что ж, надо проститься, надо сказать последние слова, пока есть время. Сколько у него: минуты две? три?”

— Сынок! Хочу тебе сказать об одном: **не смей уставать!** Не будет пути — иди по бездорожью! Из последних сил — но иди!” (с. 532).

Что ж, это тоже “конечный вывод мудрости земной”, как и в “Фаусте” Гете, достойный его вариант. И тоже — неустанность завещается человечеству:

Лишь тот достоин жизни как свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

(Гете. “Фауст”. Пер. Н. Холодковского)

Еще и национальный акцент расслышиваю, процитировав: у германца, земледельца и горожанина, акцент на Времени (“каждый день”), тогда как у казаха-кочевника — на Пространстве (“путь”, “дорога”, “бездорожье”, “иди”). И там вертикаль Бытия подчеркнута: *egobern*, что переведено у нас как “иди на бой”, буквально значит: “преВЫСить”, усвоить себе то, что НАД — Ober. А казахский Логос ориентирован на горизонталь мира, как и естественно быть в космосе кочевника.

Важно и продолжение последних слов Кахармана:

“— Мы рабы с самого рождения, и таким наше поколение останется до конца. Но вы-то! Вы-то будьте людьми — слышишь, сынок!” (с. 533).

Таков Логос Рода и преемственности поколений: следующее поколение да выполнит то, чего не смогло предыдущее. Это — Логос животный, стада и приплода. Логос Судьбы. Трудно тут родиться Логосу Свободы, Личности, что так мощ-

но развился в Европе и России. А почему? Благодаря христианству, а в нем — принципу ПОКАЯНИЯ, в силу которого и великий грешник, разбойник, блудница могут вмиг переродиться, стать на новый путь самосозидания, ломая Предопределение.

В романе Сейсенбаева персонажи все более обращаются от гнусной и нелепой жизни сей к сверхценностям: предания, легенды, песни, что из народной сокровищницы фольклора и из древности протягиваются, но и еще выше — тянутся к Богу, Аллаху, Корану. И цитируются из этой книги прекраснейшие стихи — о сотворении благого мира и дивной природы. Более того, принимается интернационализм в религиях: Библия тоже читается. Правда, оттуда берется, из Нового Завета, самая “языческая” его книга — Откровение Иоанна, или Апокалипсис, где чуть ли не адекватно описывается то, что совершается вокруг Кахармана.

И все же вот предел в Духе: послушание Корану, заветам отцов. Ну а если я такой блудный, сорвался уж с путей, как вон джигит Кахарман и многие персонажи Сейсенбаева из его поколения, — им-то как быть? Нет в них той закваски и мерного ритма, что в их отцов вложены патриархальным бытом. Они уж расшатаны изначально — и как собраться в целость, личность? Или так и оставаться ареной противоборствующих импульсов и понятий, в шизофренической ситуации распада, раздвоения и разумножения личности, как наш Кахарман, с умом, не развитым культурой, но с сильной натурой, рвущейся действовать? Самочинно взятый им на себя долг вершить правду-справедливость приводит его к убийству, а совесть — к самосуду = самоубийству. А улучшение рода, породы и развитие в личность предоставляет сыну, МИНУЯ СТАДИЮ ПОКАЯНИЯ. Но как же сыну улучшиться, коли он снова по тому же кругу будет идти и не получил в отце опыта-примера: осилить отчаяние, переступить преступление даже свое с помощью раскаяния — и так выйти на второе дыхание, на следующие ступени восхождения в Личность? Ведь и наш добрый Кахарман в общем пребывает в убеждении, что это мир — зол, а сам он хорош, и если стал дерьмом, то это от условий мира, а не от себя. И в этом плане высший (даже по сравнению с Кораном) казахам уровень подан Абаем, к кому в книге Сейсенбаева не раз обращаются. Абай ведь устремлял вектор казаха внутрь себя: как вылечить свое зло и пороки.

Вслушаемся в контекст, в котором появляется образ Абая. В районе Синеморья (их Арал) седьмой день бушуют соляные ураганы. “Ураган часто меняет направление и способен уничтожить весь урожай в целинных областях, не пощадив и хлопок Узбекистана. Тогда и над Иртышом пройдут соляные дожди... “Значит, беды наших родных краев могут сказаться и за тысячи километров?” — простодушно удивлялась Айтуган (жена Кахармана. — Г.Г.). “Да, недуг, который случается в одном конце Земли, обязательно даст знать о себе совсем в другом. Таковы закономерности природы. Вот бы так было и в человеческом обществе! Увы, нет этого”... “Ты все о том же печалишься, Кахарман, — мягко ответила Айтуган. — Раньше я не понимала строчек Абая: “Не будь сыном своего отца, а будь сыном своего народа”, — думала: как же такое может быть? А теперь знаю: есть такие люди на земле, и один из них...” — Она не закончила, отвернулась, зарделась...”

...Мчатся годы, все чаще и чаще человек задумывается о своем предназначении, и если ты мыслящий человек, тебе невозможно пройти мимо великого Абая. Кахарман издавна не расставался с книгой Абая. Он страдал над ее страницами. Ибо была она и правдива, и горька. Но и черпал в ней силы, оттачивал ум... Он понял, что Абай — разный. И еще — что у каждого свой Абай” (с. 188—189).

Вот это, *личность* Абая в каждом, — уже переход от Судьбы к Свободе, от Рода — к Личности. (Не могу еще добавить: от фатализма ислама, с его акцентом на Предопределении и судьбе, — к христианскому творчеству личности в свободе...)

А ведь загадочно звучат эти строки Абая, как коан дзен-буддийский. “Не будь сыном своего отца” — это прерыв цепи Рода и его рока (подобно и у Христа: да оставит человек отца и мать и пойдет за Мной...) и означать может свободу выбора человеком своего пути и возрастания в Личность, становясь членом более широкой общности — *народа*. Но тут подстерегает еще большая взаимозаменяемость индивидов, джигитов, как особой *природных*. Так что как “сын своего отца” — более в этом может быть индивидуальности и ближе переход к личности.

(Миросозерцание горца)

Космософия — это “мудрость космоса”. Что это значит? Это значит, что Природа, в которой живет Народ, есть не просто вещество, “территория” ему, а некий завет, некий смысл, скрижали завета, которые нужно народу рассчитать и понять. Понимает он в процессе всей своей истории. И вот три с половиной года назад я сделал свое интеллектуальное путешествие в Грузию. То есть сначала обложился книгами, читал несколько месяцев, потом, по любезности Отара Филимоновича Нодия, приехал в Грузию с дочерью, как странствующий космограф, общался, спрашивал, видел, думал, писал. И вот в результате у меня образовался текст книги: “Грузинский Космо-Психо-Логос”. Ее резюме и изложу тут.

Главная интуиция — это **горы**. Грузия прищиплена горами; горы — это спасение (оборона) и казнь Грузии. Потому что горы, во-первых, отняли полнеба. Во всем мире Небо — это Отец, архетип Отца, Бог-Отец, а земля — Мать. В Грузии ж горами земля вздыбилась на небо и отняла большую часть его. И, собственно, поэтому и в культуре: когда я анализировал национальный образ божества, то понял, что из христианской Троицы в Грузии Отец слабо чувствуется, верх берут другие ипостаси.

Далее: горы — это неизменность, недвижность. И это — твердь. Одно дело, допустим, Русский Космос: “мать-сыра земля”. Она мягка, сдобна, рассыпчата, как тело человека. Человек вообще — срединное существо между небом и землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом — братом человека по срединности является **дерево**. И модель Мирового Древа руководя-

ща в Логосе равнинных народов, так же, как животные — в космосе пустынь, кочевья (Конь, Верблюд и др.). Здесь же аналогичную роль играют *горы*. В Грузии недействительна модель Мирового Древа — ее замещают Горы.

Далее: дерево мягко, растет, умирает. Над ним властна смена времен года, оно несет в себе идею *изменения*. Горы ж — неизменны. Идея *круговорота*, облегчающая существование и понимание (надежда, выход), здесь не так действует. В космосе Грузии *все остается*, пребывает, потому что некуда деваться: камениста почва. Остается и добро и зло, грехи. Космос *совести*.

Сравните равнинный народ, Россию например. Это ж космос переселения: нагрешил здесь — переехал туда, никто тебя не знает — и все списано. Потому Достоевский мог задаться метафизическим вопросом: если бы вот ты там, на Луне, нагрешил, а живешь здесь, и никто об этом не знает, — каково б тебе было? В России это решается просто: а ничего б не было. Ну не для всех, конечно. Но сколько мы имеем случаев: нагрешил где-то на Дальнем Востоке, а потом живет себе в Центральной России и возделывает на пенсии свой вольтеровский садик.

В Грузии такое невозможно. Человеку некуда деться. Ему жить там же, где и грех совершил, — всему здесь и память. Значит, тут какой выход? Во-первых, в человеке неизбежно развивается сознание вины, раз ее некуда расплескать. Помните “колодец совести” царя Аэта в романе Отара Чиладзе “Шел по дороге человек”? Как царь опускает туда бечеву и чувствует, что там колхи, которых он изгнал. Все отразится — и с этим надо считаться.

Равнинные народы могут быть беспамятны: рвется традиция через переселение или кочевье, напряжение греха ослабляется. Я не вижу убийцу отца — он переехал, а я переселился. И дело с концом. Ни у него нет долга совести, ни у меня нет долга отмщения. А в горах — **вендетта**. Никуда не девается добро и зло, действует их накопленная энергия. Но зато тут и *милость прощения* требуется. А также — *юмор*, ослабляющий напряжение на месте... Это очень хорошо видно в повестях и рассказах молодого прозаика Годердзи Чохели. В его “Гудамакарских рассказах” все проблемы Бытия в одной деревне. Нужно провести межу, чтобы по ту сторону поселить нагрешивших, а здесь чистых оставить. В общем развертываются своя книга Бытия и мифологема мировой истории.

Так вот, о милости и прощении. Я вспоминаю, как Алико Гегечкори показывал мне семейную фотографию 1936 года, на

которой изображен и Георгий Димитров: “Вот мы, наша семья. А вот видишь, этот старик осанистый — это убийца Ильи Чавчавадзе”. Этот человек 30 лет спустя покаялся сам, и он благодаря покаянию¹ имеет права. Поразительная нравственность. Но, с другой стороны, грузин вне Грузии может утратить удерж и стать гением бессовестности...

В этом космосе камня единственно трепетное, живое — это человек. Поэтому на него особо ложится эта нагрузка чувствительности, изменения. Грузины вообще — очень хрупкие и чувствительные сосуды. Это не всегда чувствуется, понимается, ибо они забронированы ритуалами, воспитанностью своей родовой, системой общения, выработанной веками, за которой легко прятать свою суть. До нее трудно добраться. В отличие от русского, который готов душу свою распахнуть, грузин — нет.

У меня, простите, такая ассоциация: грузин — как то хачапури, что подают в погребке на проспекте Руставели. Что представляет это блюдо? Твердь лепешки, крепость лепешки — с жизнью внутри: яйцо в сыре плавает, как озеро в берегах. И все искусство так есть эту ватрушку, чтоб обламывать стены городские из хлеба и макать эти кирпичи в гущу жизни внутри, умудрясь не расплескать, не вылить жизнь наружу, надрезав брешь, проход, туннель. Так и Грузия: тоже не само-держлица, а народом держится, как стенами, имеет стыд и уклад, ориентирована на суд и взгляд со стороны рода и села, и памяти из прошлого. Грузин тоже есть хачапури: жизнь души в стенах крепости: одет, вышколен, глядит воинственно, а в душе чувствителен, даже плаксив. Моя дочь поразила, как непрерывно плачут витязи в поэме Руставели. И если вспомнить стих Лермонтова “Бежали робкие грузины”, то тут, увы, даже наш любитель Кавказа по русской, равнинной модели “поля Бородина” храбрость вообще оценивает. Но ведь они не “бежали”, а скрывались в горы, которые их стены и космос и помогают, дома-то.

В истории Грузии невольно обращаешь внимание на прозвища: Давид — **Строитель**, Димитрий II — **Самопожертвователь**. Потрясающа эта история, когда Димитрий во избежание вторжения монголов сам поехал к хану и был казнен. Про это есть и поэма Ильи Чавчавадзе. Внешняя, политическая история Грузии сама по себе однообразна: расширились — сузились, снова расширились — опять какие-то земли потеряли. Не в этом смысл истории здесь. А в накоплении нравственных, этических цен-

¹ Фильм “Покаяние” Тенгиза Абуладзе об этом.

ностей, которые создавались в этом шевелении. Собственно расширение Грузии при царице Тамаре, быть может, и совершилось главным образом для того, чтобы была создана Библия Грузинства = поэма Руставели. Ценности Грузии в другой колодец складываются — нравственно-художественной памяти. Идея величия Грузии чужда. Тут “Строитель”, “Самопожертвователь”, Георгий **Блистательный**: “блеск” — красота, эстетическая категория. Этика и эстетика, категории невоинственные, несолдатские, здесь в почете. А если и воинские категории чтутся, то ценна тут не победа любой ценой, а нравственное поведение в битве. Честь важнее славы и победы, достигнутой коварством. В Грузии цель не оправдывает средства.

Как видите, я все время докапываюсь до Логоса, до неких ценностных ориентиров, которые у каждого народа свои. В Грузии средства важнее цели, ибо внешней цели, собственно, и нет: некуда развиваться (по территории), стремиться. К чему? К расширению земель? К величию, славе? К мировой политике? К власти над соседями?.. Но Грузии извечно даны ее земля, горы, космос; ей не расширяться, а сохраняться надо, расти не в ширь геополитическую, а в глубь экзистенциальную. Такова, я чувствую, “энтелехия” народа, целевая причина, его призвание. Тут нет цели, но есть Целое. Его себе сохранять, осваивать — вот это задача. Потому тут — самоудовлетворение. *Космос самодостаточности*. Фаустовское стремление к эфемерному идеалу, чем так гордится “германский гений”, тут чуждо. Эта стремительность опасна уничтожением народа и природы, как основных живых ценностей. Или русское стремление: все переделать, все переменить, начать сначала! Для этого здесь есть космо-психический шанс: простор дает возможность уйти отсюда (“от самой от себя у-бе-гу!”) и где-то начать новую жизнь. Тут же переделать все на новый лад равносильно самоуничтожению, самовыкорчевыванию. И потому нравственный герой Дата Туташиа в итоге приходит к принципу Дао, недеяния, воздержания от всяческого действия, ибо у него все хуже получается в итоге.

И вот к такому я подхожу предуразумению. Есть три варианта Абсолюта: Истина, Высшее Благо (Добро), Красота. Так вот, для Грузии именно Красота есть та ипостась Абсолюта, которая наиболее реализуема. Сюда устремляется духовный потенциал нации. И именно потому, что Красота есть чувственный и конечный вариант Абсолюта, дух тут воплощен, телесен. Чистая спиритуальность, рассудочность — это не внемлется грузином. Недаром и в философии за своего приняли именно

Дионисия Ареопагита, христианского неоплатоника, кто в сочинении своем “О небесной иерархии” божество представил многоярусно — как *гору*. Идея *бесконечности чужда* здешнему Космо-Психо-Логосу.

Тут — оком всего. Небо могло бы быть образом бесконечности, но ведь оно уловлено зубчатостью гор. Море могло бы быть таким образом бесконечности для приморской Грузии, Абхазии (кстати, если посмотреть по карте, Абхазия и Грузия находятся в перпендикулярном друг к другу отношении, как в электромагнитной волне, и они создают особый сюжет грузинской истории). Так вот, море могло бы стать образом бесконечности для приморской Грузии и Абхазии, но последняя чувствует себя скорее как Колхиду, место *при-бытия*, берег, *конец* странствия тех же аргонавтов, приход к цели, осуществление, свершение.

Если для русского пространства-времени, как я чувствую, архетипы — это **берег, порог** и **канун**, причем берег не как *приплывтие*, а наоборот, как *отплывтие*; порог — не как *приход*, а как *выход* из дома в путь-дорогу (ибо место Абсолюта на Руси — в Дали, и Бог — вдали, а не наверху¹); и канун: душа русского вечно накануне, в ожидании главного события и разрешения всех мучительных проблем, она эсхатологична, а символическим изображением ее может служить геометрический “луч”, однонаправленная бесконечность, то в Грузии мы имеем скорее пункт прихода Бытия к своему осуществлению, к цели, свершению. Тут пункт *при-бытия*, *при-сутствия*. Тогда как на Руси вечный ток в даль, от-сюда, куда-то. Психокосмос *от-бытия*. Вечная неудовлетворенность. “Не-присебейность”. А в Грузии — самодостаточность.

Теперь перехожу к грузинскому Логосу поближе — и прямо упираюсь в **Логос застолья**. *Тамадизм* — философия застолья. То, что совершается за грузинским пиршественным столом, — это совсем не просто насыщение. Это национальная литургия, домашняя церковь. Тамада — это первосвященник. На столе распластана сама Грузия, ее плоды. Происходит таинство пресуществления материи в дух, в логос — речами, великолепными речами. Застольный Логос Грузии продолжает, конечно, традицию Платона: “Пир” — “симпозиум”, когда происходило это же пресуществление вещества в дух. В тамадиз-

¹ Хотя по пословице “до Бога — высоко, до царя — далеко”, по понятию царя здесь потеснило Бога — отчасти и потому, что архетип дали здесь иптимпсе выси.

ме происходит евхаристия “Цисхари” — “дверь в небо”, как назвал свой журнал Илья Чавчавадзе. В застолье непрерывно пробивается материя к духу. Раскрывается эта дверь.

Что происходит в застолье? Речи — беспардонное ласкательство. Гиперболическое восхищение. Это тип слова безусловно восточный, не христианский: не подобают человеку такие похвалы. Человек-гость тут играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога. Земной бог! — и каждый поочередно в этой роли выступает. О дурных качествах умалчивают. Человеку преподносится возможный идеал, икона его самого, как бы платоновская идея тебя в наилучшем твоём виде. И получив такое в речах, в застолье, человек и в будни как-то будет подтягиваться, стараться соответствовать этому идеалу.

Русское застолье имеет совершенно иной вектор. Когда собираемся мы, если нас мало, так начинается тяга к покаянию, к исповеданию. Если грузинское застолье — это “аллилуйя” = “хвалите господа”, то русское застолье — это “Господи, помилуй!”, печалование, покаяние, биение себя в грудь со слезьми. Но это еще вопрос: что лучше воспитывает человека? Говорить ли ему, что он хороший, как говорит Грузия, или говорить себе, что я плохой, а другой бы меня утешал и говорил бы: “Ну не совсем уж ты такой плохой, Гоша, ты еще не знаешь, какой я мерзкий бываю!” — и так мы взаимно почистимся?..

Грузинский Логос моделью своей имеет **тост**, слово застолья. Это совершенно очевидно в грузинской поэзии. Но так оно и в философском умозрении. Я с большим наслаждением хаживал на лекции Мамардашвили, грузинского философа. Это действительно философ-тамада: он держит перед очами ума некую идею, как икону, и описывает ее так витиевато, красиво, артистически, ходя кругами в слове, применяя все изощрения диалектики. В Москве двух я таких разных противифилософов слушал: Библера и Мамардашвили. И так себе я сформулировал: у одного — талмудизм, у другого — тамадизм.

В философской традиции две главные матки: Платон и Кант. Кант — это рассудочная аналитика, диалектика; Платон — это умозрение. Грузинский Логос склонен к платонизму, умозрению.

Теперь я начну заход к Логосу с другого конца — с *языка*. Я был поражен в грузинском языке такой категорией глагола, как “кцеба”, т.е. “версия”. Я немного изучал грузинский и был удивлен в языке субъектно-объектной формой глагола. Это значит, что не просто “пишу”, не просто “я пишу”, но “я пишу лекцию для

тебя”. Особая форма, которая учитывает косвенный объект: “пищу тебе”, “шью платье — для тебя”. Здесь воплощена идея *взаимности* и возврата. Субъект зависит от объекта. Это есть хоровой, общинный Логос. И в этом мне увиделось что-то очень философически важное. То, что резко разрубил европеизм: “Я” и “Не-Я”, субъект и объект, и никак из этой оппозиции не может выйти, — здесь же гармония и имеется способ мыслить Единство Целого. Это подтверждает ту мою интуицию, что грузинство располагает-ся как бы в Бытии, в центре Целого, в космосе совершения, и поэтому никуда не торопится от себя: переходить и транзитировать...

Еще это и в такой черте грузинского глагола, как его “*полиперсонализм*”, т.е. многоличность, сказывается. Не просто множественное число “мы”, где снивелированы всякие “я”, “ты”, “он”, а встречаемость лиц и душ в одном действии, их взаимосотнесенность, увязка. Такое многоличие глагола должно иметь глубокие субстанциальные корни в национальной сути Грузинства, образует важнейшую черту Логоса. Нет такой жесткой, резкой тяги у грузина обособиться в чистый субъект, стать личностью, стать абсолютно свободной личностью.

Это, между прочим, важнейший момент для прозы и мышления. Главный вопрос для Грузии — развитие личности, а отсюда и личностного сознания, и рефлексии, чем и рождается проза. Я вижу, что здесь нет европейской тяги стать абсолютно свободной личностью, потому что личность грузина связана с родом; и самый свободный из известных мне образов, Дата Туташиа, весь — в перекрестных отношениях, считаниях, ориентировках на людей: как бы не принести зло своим, пусть и нравственным вмешательством в ситуацию, которая всегда ведь многоперсональна, не учитываемая в своих причинах и последствиях, но каждая ситуация хороша по составу и сути, так что лучше и не вмешиваться...

Хочу обратить внимание на *отсутствие родов* в грузинском языке. Что это значит? Дело лингвиста и науки — как это появилось. Но *что бы* это могло значить? — дело мыслителя. Еще и в английском языке, мы знаем, стерты историей родовые различия: нет ведь ярого Эроса в Космосе Англии — андрогинен Альбион. Например, в семитских языках, в древнееврейском например, столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь генитален — мощен тут Эрос и противостояние полов. И у арабов, турок, персов, вообще в зоне ислама и иудаизма, резко означены мужская и женская половины, огромная разность потенциалов, ярое влечение.

В Грузии ж, в сравнении с ними более суровой и аскетичной по природе, где горы, камень, снег, — Эрос не ярок. *И не случайно Дружба тут पहले Любви*. “Витязь в тигровой шкуре” — ведь это есть не поэма войны, как “Илиада”, не поэма любви-страсти, как восточная “Лейли и Меджнун”, это, конечно, эпопея Дружбы. Или, например, повесть Казбеги “Хевисбери Гоча”. Там обратный случай: герой, который возлюбил невесту своего друга, оказался преступен и грешен и отлучен, потому что он любовь предпочел дружбе. А в “Витязе” недаром Таризелу, сыну условного Индостана, придано свойство “меджнуна” (= “исступленного”, “неистового”, “одержимого”). Это он безумен и юродив от нестерпимой любви к женщине, любви метафизической. А вот наш Автандил, сын условной Аравии, а по сути страны христианской, более северной, как Грузия, — он “меджнун” не от страсти к женщине, а от страсти к другу. Любовь же его к Тинатин — более покойная, разумная, как и ее к нему. Она скорее — сестра ему: не по внешнему положению, а по сути их отношений, не пылких.

Откуда же это? И как связано с Космосом Кавказа? Чтобы понять это, вникал в символику стихотворений Важа Пшавелы. Вот “Гора и долина”. Естественно, гора выступает как мужское начало:

Но взгляни в долину, на дорожки,
На сады, что зреют впереди, —
Это ль не жемчужные застезки
На расшитой золотом груди?

Я уж пишу карандашиком себе на полях заметку: “муж.-жен.” — имея в виду половую парность, брачную: Гора = муж, Долина = жена: тут низ и лоно, и даже грудь под лифом застезек жемчужных. И вдруг:

Не тебе ль сестра (!) она родная —
Та долина, полная плодов?

Значит — не жена, не возлюбленная, а сестра. То есть не прямо противоположное, не полярность, а некая скошенность вбок, умягченность Эроса. Не лют он тут и рьян, как там, где прямопротивостояние. Даже графически это можно изобразить. Допустим, если в Космосе Ислама, в Аравии, где земля = равнина, прямолинейно-молниенный Эрос между Небом-Отцом и Землей-Матерью, перпендикуляр, то в Грузии по скатам гор получается некая всемоделлирующая **наклонная плоскость**. Так что здесь Эрос мягче, ослабленней. Кстати, и лицом, и статью гру-

зинка сходнее с женщиной: горбоноса и сухошава, не разнежено-кольшущаяся ее плоть, как широкие бедра и осиная талия персиянок или индианок, жриц чувственности. Подруга она, ум мужу и воля, как Тинатин Автандилу. Энергична, как властная, мужеподобная Дареджан в одноименном рассказе Пшавелы.

Так что если в послании Иоанна “Бог есть Любовь”, то для Грузии надо переформулировать: “Бог есть Дружба”. В “Витязе в тигровой шкуре” что происходит? Автандил-полководец во время Отечественной войны покидает войско, действует как предатель родины и едет исполнять любопытную волю своей возлюбленной Тинатин: узнать, что это за странный витязь там? Долг побратимства и дружбы превышает для него и отношения любви, и интерес политики. Императив Дружбы и побратимства здесь абсолютный, категорический. Об этом свидетельствует и поэма Важа Пшавелы “Гость и хозяин”, где Хозяин идет против всего своего села на бой и защищает врага своего народа и убийцу своего брата только потому, что тот в ночи, неузнанный, попросил приюта у очага и принят под кров дома его.

Если для Запада есть такая формула: “Платон мне друг, но Истина — мне более подруга”, то для Грузии это не действует. Друг дороже Истины. То же самое, кстати, и Достоевский говорил: “Если бы так случилось, что истина разошлась с Христом, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной” (примерно, по памяти передаю мысль. — Г. Г.).

Горы есть также основа грузинского *Этоса*. **Горное право** — что это значит?

У Акакия Церетели прочел: он, княжич, был отдан в детстве не просто крестьянской кормилице на грудь (это и русские баре делали), но прямо в семью крестьянки и до шести лет рос там. Князь воспитывался в крестьянской семье! И он говорил, что “обычай отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы издавна повелся в Грузии: царские дети и дети владетельных князей воспитывались в семьях эриставов”, эриставы — в семьях дворян и т.д. Возникали молочно-побратимские узы.

И вот тут мне видится *закон обратной связи*. Гора (= князь) добровольно идет вниз на поклон в долину, склоняется на смирение-отождествление-породнение с ней, с низами общества, с народом простым, тем, что самое свое дорогое, наследника, доверяет долине, народу, женщине-кормилице, Матери-Земле: на наполнение соками и смыслами вещими. А потом, когда воздымается вверх княжич и становится властителем, он уже никогда не

будет жесток к народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, и узы эти сильнее даже родственных в Грузии.

А в равнинной стране как? Здесь действует естественная тяга ее космоса к поравнению всего, к нивелировке, к смеси-тельному упрощению. И для того, чтобы возникло здесь творчество культуры, цивилизации, Истории, необходимо искусственно создавать разность потенциалов, сословные перегородки, барьеры. Тут История воздвигает каскады, на равнине космоса строит **горы социальные**, духовные, чтоб возжизнить склонную ко сну и энтропии Природу, чтоб возникла напряженность силово-магнитного поля в Духе: надо вызвать искусственно динамизм страстей, яростей, что утепляет космос. В Грузии совсем иное: самой природой, естественными условиями хребтов все партикуляризовано в ее космосе. Противовесное космосу движение Истории должно быть направлено на склеивание сословий в общей жизни, Психее, преданиях, обычаях. Русские дворяне, например, даже добровольно чужеземное иго французского языка приняли — для разговора в свете, лишь бы от народа своего отъединиться-различиться. Как у физика-атомщика Ферми, это “уровни энергетических состояний”.

И тут важный *закон Всеобщей Истории* вообще нащупывается: вектор (направленность) Социума (типа гражданско-общественного устройства), его строительства и склада, не просто гармоничен и в резонансе с национальной Природой, но направлен и дополнительно к ней: противоположно к строю местной природы, складу Космоса образуется.

Еще я хотел сказать, что горы также блюдают **права меньшинств**, ведь непрерывны войны в истории Грузии, а в каждой долине — особый народ... В войнах что происходит? Умыкают стада, но не вырезают население и не переселяются на земли побежденных. Вот и в поэме “Гость и хозяин” тоже умыкают стада, но земли остаются. И в сказке “Цветок Эжвана”: муж и красавица попадают в чужое царство, выполняют там все задания, и им, собственно, царство достается. Казалось бы, жить, поживать, добра наживать. А они — пошли к себе домой. Не надо им чужое, не жизненное это им, грузинам, пространство, как бы злочно ни было оно, а у них пусть и горно, и трудно, и каменисто...

Горы доставляют и *эстетическую* модель. Есть такой термин: “гадаврдня” у Тициана Табидзе. Это — “очертя голову”. Так поэт обозначил вдохновение — как каскад.

(Записал 12.III.84)

(Мировоззрение кочевника)

“Песни гор и степей”, “Повести гор и степей” — так называют сборники своих повестей и рассказов писатель Чингиз Айтматов. Одновременно почти каждое произведение обрамлено образом рассказчика, который ходит по комнате и думает, думает... наконец распахивает настежь окно и отдается потоку воспоминаний, рассказу бесхитроственному, а вы уже судите сами... *Помещение и пространство* — вот полюсы им ощущаемого мира, к которым тяготеют все бесконечные сложности, конфликты бытия.

Это прямое отношение и ощущение человеком открытого пространства, эта помещенье-боязнь, вероятно, связана с кочевым прошлым киргизского народа. В одной из сказок о популярном народном герое Алдаркосе (“безбородом”), плуте и обманщике богатых, рассказано, как он перехитрил глупого сына бая. Тот приехал на базар продавать баранов. Алдаркос пригласил его на ужин и оставил ночевать. Когда же наутро сын бая проснулся, он увидел над собой открытое небо: оказывается, Алдаркос с женой ночью сняли юрту, взвалили все пожитки на байского коня и уехали в степь, уведя его стадо.

Вот эта призрачность помещения, мнимость, необязательность, так сказать, факультативность крыши над головой, так что в любую минуту она может исчезнуть, как мираж, и опять

¹ В одной из пародных песен джигит поет: “Ветер сдул мою кибитку, как верблюдицу верблюду”. — В кн.: *Глоба Андрей*. Песни народов СССР. М., 1947. С. 447.

человек прямо в открытом космосе оказывается¹, — коренной устой мироощущения киргиза. Этому соответствует и его жилье. Такое воздушное и легко снимаемое помещение, как юрта, не создает у человека ощущения закрытости, защищенности (как дом, изба, камин и кружка, при том что ветер остается за окном — у северян): он и в помещении ощущает себя раздетым — лучи мирового пространства, беспрепятственно проникая сквозь “стенки” юрты, всегда облучают человека: он кожей и нутром чувствует эту свою пронизанность.

Это значит, с другой стороны, что почти не найдешь осязаемых следов прошлой жизни кочевого народа. Кочевой народ, принцип жизни которого “все мое ношу с собой”¹, не может опредмечивать себя ни в городах, ни в храмах, ни в статуях, ни в письменности, ни в удобренной земле, ни в ирригационных системах. По отношению к этой, вещественной, форме опредмечивания кочевой народ играет отрицательную роль. Это — народы-ферменты, движущиеся в порах истории. Они — орган и орудие развития, исторического движения. Но сами почти не развиваются именно потому, что их движение уходит в пространство (смена мест), а не во время (смена обществ на одной земле).

Отсюда уже априори можно сделать важное предположение о мировоззрении кочевых народов: понятие *пространства* у них должно превалировать над понятием *времени* (у земледельцев, очевидно, — наоборот). И наибольшее разнообразие и расчленение имеют, вероятно, пространственные отношения в их космосе.

При том, что мал, не плотен предметный посредник между людьми и миром, более тесны и активны их прямые, непосредственные связи. Жизнь мироздания прямее переливается в жизнь, поступки и мысли человека. Человек здесь космичнее. Особой жизненностью, населенностью обладает для кочевого народа “пустая территория”, где вроде “ничего нет”: киргиз не

¹ В эпических сказаниях киргизов животное фиксируется с поклажой, а человек — с одеждой. Вот описание Ак-Кула — коия Маюаса: “Расстояние между его задними ногами подобно ущелью Чакал: под ними свободно может пройти верблюд, **нагруженный до предела**”; “в его поздрию без труда могут вскарабкаться современные люди со **всей их одеждой**”. О самом Маюасе сказано: “Кости его — литые, голова — самородок, даже самое малое количество его одежды составляет груз одного верблюда” (Киргизский героический эпос Маюас. М., 1961. С. 122, 125). Это — зрелище кочевника, который мыслит не “голового” человека, но в его тарс, упаковке, что каждый раз сбирать и переносить приходится.

осязает в степи следов своих предков, но *помнит*, что они здесь витают, ощущает их присутствие, видит внутренним зрением. Это рельефно выявлено Ч. Айтматовым в повести “Верблюжий глаз”. Людей послали осваивать целинную землю. Но ведь “целиной” назван Анархай! — “колыбель” (если можно таким домашне-земледельческим предметом обозначить “корень” — опять земледельческий термин) Киргизии, точнее — киргизского народа. “Вот он древний, легендарный Анархай!..

Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали”¹. Пустая земля. Ни души.

— Как ни души? Не слышишь разве, что она обитаема? “Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом”.

— Вот они, первые живые обитатели пространства: “всхолмленная зеленеющая степь”, “голубоватый туман”. Но слушай дальше:

“Земля еще дышала талым снегом. Но в волглom воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты”.

— Какое пестрое население из стихий космоса оказывается здесь, какая интенсивная и бодрая жизнь идет!² А что, думаешь, только силы природы здесь обитают?оборотись в измерение времени, и ты услышишь, как затаилось прошлое: пути народов пролегли здесь.

¹ *Айтматов Чингиз. Повести гор и степей. М., 1963. С. 199.* — В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию.

² Чуткость бывшего кочевника к травам, запахам, покровам степи связана с тем, что он через своих животных, которые есть продолжение его существа, прямо поглощает волосяно-растительный покров земли, а потом спимает его шерстью и мясом. В пародных песнях об овце, верблюде любовно перечисляется, что они едят, т.е. как понимают (т.е. поднимают, вбирают в себя) окружающий мир: “Расскажу тебе о той, что жуст. Не чипяшь, стибелск волчца, Подорожник, побег чабреца, Сухой василек — что пайдет, — Чтоб кормить в свой черед парод. Мой друг, се имя — **овца**”.

А **верблюд** уж вообще предстает как космическое животное — тот “кит”, на котором держится мир по понятиям мореходных народов; а здесь точнее

“И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я (это юноша-рассказчик въезжает в Анархай. — Г.Г.) тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, **неведомо откуда и неведомо куда...**” (образ неограниченного космоса. — Г.Г.)

Вот ведь какая полная цветущая жизнь бывала здесь. А ты говоришь, “целина”!.. Ты, самоуверенный современник, мнишь себя первым существом, одаренным разумом, что вступает на эту землю, и едешь “осваивать целину”. А еще неизвестно: это, может быть, Анархай, выдавший виды, осваивает тебя и вас — новое племя и поколение людей: а ну-ка, покажите, на что вы способны? И это, может быть, Анархай призвал вас, чтобы вами, как орудиями, возродить в себе жизнь...

Словно чуя эту притягивающую власть одушевленного космоса, юноша-рассказчик и себя, и современность начинает видеть со стороны, как бы глазами Анархая: “Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, **паровоз** уходил, **словно конь** на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом”.

Да это же “конь-огонь”! Нас подвело к первой конкретизации нашего исходного общего положения: “пространство” — “помещение” теперь предстает в своих атрибутах: “**конь**” —

сказать: он есть образ мира, *внутри* которого живет кочевник. “Две **чашки** — глаза его. Шея гибка, как **лоза**. Как **плетка** верблюжий хвост. Большой у верблюда рост — **Дерево** верблюду под стать, Может верблюд его обглодать, До верхних ветвей достать. Любит он колючку сжевать, Лебедой репей засадать, Повалиться любит в золе, Отоспаться любит в тепле, Почесаться любит в арбе”.

Очень интимно ощущает кочевник верблюда, и любит он то же, что человек, мечтает о доме (атрибуты дома: “чашки”, “зола”, “тепло”...), но надо все идти: “Колченок, шея крива, Пучеглаз, в репьях голова, Расплюется — все бегут! Вот каков красавец верблюд! Хоть юрту на него взвали, Нипочем сму встать с земли, — Пойдет, куда б ни повели” (Антология киргизской поэзии. М., 1957. С. 109—111).

“железная дорога”; подробнее — образность, связанная с конем и миром железной дороги. Пространство (физическое и духовное), в котором происходит действие в повестях Айтматова, имеет четкие границы: там, где гуляет конь, и там, где он шарахается. Черта железной дороги обозначает край айтматовского света. И действие происходит в этих пределах, от сих до сих, до железной дороги — исключительно. Что там, за ней, в ее мире, уже словно не нашего ума дело. Она буквально как *deus ex machina*, как сила судьбы, все узлы разрешающей, точнее разрубающей, выступает. На станцию, на разъезд спасаются от погони из аила Джамиля и Данияр. Лишь в обрамлении, в эпилоге повести “Тополек...” есть поезд и купе, везущие героев в куда-то...

Анархайская жизнь в “Верблюжем глазе” начинается в тот момент, когда люди “пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...” Железная дорога уводит одного за другим детей Толгонай на войну, и она вместо сына может лишь рельсы обнимать. В повести “Свидание с сыном” самая впечатляющая сцена — скачки между поездом и конем: отец догоняет поезд, чтобы увидеть сына.

Но обе грани: пространство и помещение, конь и железная дорога — необходимы, без них нет магнитного поля, в котором могло бы состояться действие. Ибо это не просто предметы, но предметы представительственные, из них излучаются целые системы мировоззрения и принципы жизни. Железная дорога представляет собой мир цивилизации, новое, будущее, идейное, духовное, то неведомое, *x*, открытое, беспредельное, куда будут уходить герои. Она нужна — чтобы было, куда уходить. Конь представляет собой космос естественно-природный, ведомый, несомый в крови, исходное состояние мира. Киргизу словно врождено, предначертано ощущать и мыслить мир конем и о себе через коня рассуждать.

Каково же гносеологическое, так сказать, содержание этого мышления о мире через коня? В одной из народных песен проводится параллель между кобылой и **коровой**: “Десяток коров — пустяк, Десяток коров никак С десятком кобыл не сравнить. От коровы молока попьешь — И пасешь ее весь день, — Кобылу в плуг запряжешь...”¹ — перечисляются все работы, которые на лошади сделаешь за день; и сама себя кормит, и

¹ Антология киргизской поэзии. С. 110.

то же молоко дает. Разница здесь такова: корова неподвижна, ты движешься и ее приводишь в движение. Лошадь же сама движется, а ты можешь с нею быть неподвижным. И это дороже, чем кто больше или меньше молока дает: корова, конечно, больше, — но это может быть дорого земледельцу, который, если сам не в силах поглотить все молоко, может его продавать или впрок и в запас откладывать в виде масла, сыра и т.п. Для кочевника же избыток молока — досада и обуза: доить еще, а девать некуда. Лучше бы меньше давала — лишь сколько на день нужно (бери пример с кобылицы, которая кумыса дает столько, сколько выпить можно, не больше) — зато хлопот бы меньше доставляла, сама бы себя кормила, неприхотлива была, как вон овца или верблюд, и сама бы двигалась. Конь хоть и прихотливее в корме, чем овца и верблюд, но меньше, чем корова. Да на коня и не грех человеку поработать, ибо он дает главное — движение.

Корова — это земледельческая скотина, растение. Мало подвижна, как земля. Только в ней не годовой и сезонный, а суточный (полусуточный) цикл посева — жатвы: утром и вечером урожай молока собирают. В ней добро (молоко) вырастает, как злак, который сеют в неподвижную землю и через некоторое время собирают урожай. То есть она — животное, работающее во времени (так же как вся жизнь земледельца в опоре и расчете на *время* протекает), тогда как от коня ожидается расстояние, а приплод во времени (кумыс) — вещь более второстепенная и побочная.

Свинья — уже земледельчески городская скотина. Когда люди стали стеснены в территории, а от интенсивного земледелия прибыток начал лавиной наваливаться и некуда стало загнивающее и отбросы выкидывать, тут уж свинья незаменима оказалась: так бы загрязнилась территория от гниющих отбросов, а теперь валится в эту живую ходячую помойку: свинья же **все** съест. Ее утроба — наиболее абстрактный мыслитель. Она производит в мире всеобщую уравниловку: уравнивает тыкву со своим же только что рожденным поросенком, которого ненароком съест, картофельные очистки — с курицей и т.д. Она приводит вещи к единому знаменателю, превращает многое, различное — в единое. В этом отношении свинья, стирающая качества всех растительных и животных явлений разных, аналогична другим всеобщим эквивалентам — таким как деньги, число, логическое понятие.

Свинья — чрево Земли, Аид продуктов, Тартар, куда жертвоприносится то, что нам негоже, — и глядь! — добром возвращается. К тому же она из животных наиболее неподвижна. На Кубани, например, вообще сажают поросенка в “домушку”, и, когда нальется в борова, его жнут, т.е. совсем как животное-растение произрастает...

Итак, для киргиза-кочевника главная добродетель животного и вообще живого существа (и человека) — самодвижение, а плодовитость, производительность, прирост — дело второе. Что это так, видно и в гимне **овце**: “Не пропадешь нигде с овцой: Не замерзнешь в мороз зимой В юрте, покрытой кошмой, Или в пути под пургой. Не пропадешь нигде с овцой. Голоден будешь, овцу зарежь...”¹.

И перечисляются другие блага от овцы: жир — свет, курдюк — сосуд, молоко, каймак, масло, шерсть. Овца — как передвижной амбар, сусек, погреб и сундук с одеждой. “Все держится в доме на ней”.

Но, конечно, в иерархии животных **конь** держит первенство. Все остальные только служат человеку, перед конем же человек не считает за унижение согнуться и быть ему слугой. Потому что это — живой образ божества, его отблеск, вечно поражающее чудо: “Быстр, как ветер, горяч, как огонь (скакун — как единство космических стихий. — Г.Г.), И легче блохи в прыжке (в нем и макрокосм: ветер, огонь, — и микрокосм: блоха — из круга домашней жизни. — Г.Г.); Перепрыгнет любой арык (и стихия воды зачерпнута. — Г.Г.). Как **шомпол ружья**, нога, Пряма, стройна и тонка. Как **бархат**, шерстка гладка, **Зеркала** блестят бока. ...Ямки на бедрах — две **пиалы**”.

Все это — область быта, производства: человеком, трудом сотворенных вещей, — все в дар коню приносится; в нем, его членах, видится для всего образец, идеал всех качеств: прямоты, гладкости, зеркальности и т.д. Так что не только стихиями космоса стоит он сотворен, изукрашен и увешан, но и, как амулетами, продуктами человеческого производства. Он — посредник между естественным миропорядком и искусственным, сотворенным человеком, модельер всех вещей в этом творчестве человека. А так как человек — тоже существо срединного царства, творенье природы и искусства (в старом смысле слова — как дела ума и труда), то конь наиболее родно, интимно ощущается: “Грудь — как из гранитной скалы (теперь последняя

¹ Аптология.... С. 109.

из стихий явилась: земля, горы. — Г.Г.). Не угнаться за ним борзой. Тысяча овец — вот цена За такого скакуна”¹.

Последние стихи рассматривают коня с точки зрения главной добродетели в мире кочевника — движения, а также устанавливают его в иерархии человеческого миропорядка через отношения к другой вещи и числу.

Итак, конь — космос кочевника, его единство, божество, увещанное всеми атрибутами бытия и мироздания (городской термин и сюда лишь условно подходящий). Выше подобное же указывалось в верблюде. Но тот *комический* вариант космоса — коммос. Скакун же вызывает в человеке пиетет, благочестие².

Есть у него и эпитет: “Конь — огонь”.

Потому конь и может стать для киргиза наиболее всеобъемлющим “телом отсчета” и в мире нравственных максим и абстрактных понятий. Среди пословиц и поговорок коню принадлежит “контрольный пакет”.

“Не умеющего ценить лошадь — дорога научит, не умеющего ценить пищу — голод научит. Хорошо накормить — плохой конь будет скакуном. Хорошая лошадь от смерти не избавит, а от несчастья спасет”³.

Конечно, по пословицам можно лишь предполагать, а не утверждать (ибо, как сказал о пословицах современный остроумец, каждой пословице есть противоположная — в этом и состоит народная мудрость), все же обращает на себя внимание акцент, поворот: пища — для движения, а не движение — для пищи (у земледельческого народа поворот пословиц иной: движение, труд — для пищи, достатка)⁴.

“Коня подковывают, а осел поднимает ногу”.

¹ Аптология... С. 110.

² Конь Манаса Ак-Кула — как раз телесный образ космоса (расставим иные акценты в уже приводившейся цитате): “Расстояние между его задними ногами подобно ущелью Чакал: под ними может свободно пройти верблюд” (буквально ниже и ниже по иерархии. — Г.Г.), нагруженный до предела; икры его подобны туловищу быка (тоже ниже по иерархии: вообще копь воздвигается, как из строительных материалов, из стихий неорганической природы и из других тел животных. — Г.Г.), бег подобен ветру горных перевалов” (Манас. С. 125).

³ Пословицы разных пародов. Новосибирск, 1959. Киргизские пословицы. С. 208 — 209.

⁴ “Наши откормленные копи стоят неподвижно, а воины тоскуют без дела” — такова, по наблюдению В.М. Жирмунского, обычная формула, которой Манас или Семетей призывают своих дружишников на новые брашные подвиги” (Манас. С. 115). Здесь тоже очевидно, что идеал — движение, а не пища.

“Кто не спешит, тот и на телеге догоняет зайца”.

Конь везде выступает как аристократ в иерархии животных. И более отвлеченные идеи выражаются через коня:

“Не бывает языка без ошибки, копыт — не спотыкающихся”, “Если джигит бесстыдный болтун, он похож на коня без узды”. Везде здесь язык — атрибут головы человека, источника мудрости, приравнивается к мудрости и красоте движения, меру чего дает конь, его низ — копыта¹.

Наконец конь — это верхняя часть космоса. “Пища для человека — сила, лошадь — **крылья**”. “Упавший по своей вине не жалуется”. Все остальные животные земны, к ней тяготеют, в нее глядят. Конь — глядит вперед и вверх (грива = крылья) и отрывается от земли, преодолевает притяжение и взлетает. А вместе с ним и человек. Человек верхом уже член неба, верха мира: от земли и ее тяготений он уже освобожден, опосредован конем. В народных песнях постоянно рядом светила и конь. В колыбельной песне — а младенцу поется о самом прекрасном (либо о самом страшном, что есть в космосе народа, рассказывается), так что в этих песнях бытие подается в наиболее очищенном от побочного, наиболее абстрактном виде, — поется: “Мой **ягненок**,

¹ Вассальный Манасу “катаганский хан Кашой” (Эр-кошой), семидесятилетний старец, “отец народа”, согласно распространенному у киргизов сравнению — “подобный **воротнику** на халате и **подкове** на ноге лошади”. Голова человека, которую предохраняет воротник, здесь приравнена к копыту, что укутывает подкова. И то и другое — “главное”, пардон, “копытное”, ибо у кочевника-кыпчак самос важное может обозначаться равно головой и копытом.

Здесь видно, как осторожно надо обращаться с языком при описании национальных картин мира, ибо наш язык, которым я пытаюсь представить чужденациональное и иноязычное мировоззрение, незаметно может подкладывать на каждом шагу понятия и категории своей национальной модели (как это, к примеру, случилось в последней фразе, где слова: “подкладывать”, “на каждом шагу” — совсем не индифферентны, но источают уже из себя русский образ мира). Так что все время нужно делать поправку на ту *интерференцию* (наложение) национальных моделей мира, которая происходит при попытке передать одну на небеспартийном для нас языке другой. Структуралисты пробуют избежать такой опасности, создавая условный, искусственный, промежуточный язык. Но при этом многое теряется, проскакивает сквозь этот фильтр. И главное: теряется то преимущество *взаимного*, так сказать, *дрознения*, каким один живой язык зацепляет чужеродное себе в другом и тем самым оказывается не просто пассивным передатчиком, но и активным инструментом: искателем, выявителем и проявителем особенностей национальных мировоззрений.

мальчик мой... Звякнул **звонкой** конь уздой. Конь — как **месяц** под тобой. Месяц **тонкий** над **горой**. Конь — как месяц **золотой**, в **бок** ударь его ногой — Изогнется конь **дугой**. Понесется конь гнедой Вскачь над **степью голубой**¹.

Пока мальчик мал, он ягненок — низший в иерархии животных (но и самый домашний и интимный). А вырастет — его атрибутом станет конь: он будто человекоконь и небесен. Месяц уподоблен коню: на нем ездят, и эпитет “тонкий”, очевидно, от стройных тонких ног коня. Из рельефа мира, земли названы “горы” и “степь” (прав, значит, Айтматов, тоже их назвав патронами своих произведений); из цветов: золотой — цвет дня, солнца, и голубой — цвет ночи (не “темная”, не “черная” она); из линий — дуга, из сторон — бок (бок коня), из звуков — звон.

Не счесть уподоблений с конем и в художественном мире Чингиза Айтматова. И не только таких очевидных, как в словах Ильяса: “В те горячие дни не удержался я в седле. Не так повернул коня жизни”. В повести “Джамия” еще до того, как Данияр и Джамия почувствуют любовь друг к другу, пара коней Данияра и пара коней Джамии вместе пасутся в ночном на люцерне².

¹ Аптология... С. 116.

² О “симпатической связи” между батыром и конем пишет В.М. Жирмуцкий в работе “Введение в изучение эпоса “Манас”: “У кочевых и полукочевых народов роль коня как спутника и боевого товарища героя особенно значительна. Так, в эпических сказаниях среднеазиатских тюркских народов широкой известностью пользуются Байчибар — богатырский конь Алпамыша, Гырат — знаменитый боевой конь Гоголы, Тайбуруул — конь казахского богатыря Кобланды. Имена коням в большинстве случаев даются по их масти, а витязь в наиболее древних эпических сказаниях в свою очередь получает прозвище по своему коню. Например, в алтайских богатырских сказках: Кускул-Кара-Матыр, “сздящий на бархатном вороном коне” (“Кочутей”); “на кроваво-рыжем коне сздящий богатырь Кап-Толо”; “на бело-сером коне сздящий богатырь Альш-Манаш”; в “Китаби-Коркут” — Вамси-Бейрек, “владелец серого жеребца”, и другие” (Манас. С. 124 — 125).

Итак, имя героя — функция коня: конь рождает человека, есть причина, основание его (в буквальном и переносном смысле). Эта неразрывность единого существа — человекоконя — проявляется и в параллельности рождения богатыря и коня: “Манас и его конь Ак-Кула в варианте Орозбаева рождаются в один день: в то время как Чийырды в тяжелых муках рождает Манаса, ее муж Джайып принимает поворожденного буланого жеребенка Ак-Кулу у своей черногривой кобылы. Таким образом, симпатическая связь между богатырем и его конем устанавливается с рождения” (там же. С. 125).

Это просто. Но конем организуются невидимые силовые линии, напряжения в киргизском образе пространства. В этой “пустоте” ощущаются какое-то вихревое движение и устремленность. Вглядитесь в те зрительные представления, которые встают перед внутренним оком подростка, пока он слушает песню Данияра (в “Джамиле”): “То **проплывало** в журавлиной выси над юртами весеннее **кочевье** нежных, дымчато-голубых облаков; то **проносились** по гудящей земле с топотом и ржаньем табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и **ошалело обегали** на ходу своих маток; то спокойной **лавой разворачивались** по пригоркам отары овец; то **срывался** со скалы **водопад, ослепляя** глаза белизной **всклокоченной кипени**; то в степи за рекой **опускалось** в заросли чия солнце, и **одинокий далекий всадник** на огнистой кайме горизонта, казалось, **скакал** за ним — ему **рукой подать** до солнца — и тоже **тонул** в зарослях и сумерках”.

Ошибся бы тот, кто увидел бы в этом наборе только личные воспоминания подростка-персонажа или произвольные картины, вызываемые в памяти по пристрастию этого писателя. Нет, это, очевидно, типовые, народно-отстоявшиеся зрительные представления, и если бы пришлось снимать документальный фильм о Киргизии, эти картины вошли бы на правах национально-государственных, общезначимых созерцаний: картин-понятий.

Все предметы, атомы киргизского мира, которые здесь названы, одержимы стремлением — но не в даль, а *вбок,вширь*. Особенно это очевидно по всаднику, который летит, как на экране, “на огнистой кайме горизонта”. Кроме прямых линий (“проплывала”, “проносилась”, “скакал за”), обилие боковых, дугообразных движений: “ошалело обегали”, “разворачивались” — и переходных: “срывался”, “опускалось”, “рукой подать”, “тонул”. Есть и круговое завихрение — “всклокоченная кипень” и обратно отраженное движение: “ослеплял”. Средняя всех направлений движения — *отлого вкось*.

И на все космические персонажи (облака, весна, солнце, заросли чия, водопад и т.д.) — всего лишь один человек, да и тот — всадник, человекоконь. Вот простор-то и неограниченность! Безлюдье — да, но не безжизнье...

Взгляд на вещь не вплотную, а на как находящуюся среди вольного простора, где она не стеснена, сказывается в изображении человека. Он берется с дистанции. Вот Джамиля при-

ехала сдавать зерно на пункт “Заготзерно”: “В этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся охрипших людей Джамиля бросалась в глаза (“в глаза бросается” вещь не вплотную притертая, а та, которая на некотором расстоянии, та, что изъята из “сутолоки”, “толкотни” и смятения. — Г.Г.) своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе”. Джамиля — дочь пространства, и где она является, словно степь ореолом вступает с ней, ибо она своей фигурой присущую себе среду вносит: ее движения — не стесненные, но вольные — рассчитаны не на сутолоку, предполагают простор: “И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля **вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову** так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца **косы почти касались земли**”. Да это же кобылица! — все это жесты и позы, свойственные коню, и в нем они так же созерцаются: “легкая походка”, спина, шея, грива, изгибы. Это глазами кочевника воспринято, который вдруг остановился и созерцает остановившуюся плоть своего скакуна.

“Вот Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются ее крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком” (опять тело кобылицы: крутые мускулы, пружинистый корпус и круп). Земледелец, узбек например, не может так видеть женщину: она в чадре, закрыта вся, как растение корнями зарыто в земле, а наверху лишь цветок и плод.

И горожанин, глядящий на женщину из очереди, толчеи, не может ее так видеть: его восприятия даже не зрительные, а осязательные — касания (танец “танго” = касаюсь, по-латыни), утратившие от частоты ценность.

Джамиля в приведенном изображении видится не зрением живописца, а зрением *скульптора*, что обращает внимание на рельефы, пластические объемы, а не на цвета и линии. И это не случайно. Зрительные впечатления, которые за века и тысячелетия нагнетались в сознании кочевого народа, связаны в большинстве своем с движением, пластикой тел (людей и животных). Увидеть, различить цвет и линию можно уже на остановившейся предметности — и живопись возникает, как правило, уже у оседлых, земледельческих народов. Цвет и линия, как более отвлеченные способы представления про-

странства и тел, возникают и развиваются в Киргизии уже в наше время.

Если проследить, какие краски, цвета и в каких случаях использует Чингиз Айтматов, то это *золото* или *голубизна*; и относятся они не к вещам и людям, например в описании лица человека (кстати, лицо очень редко и мало обрисовывается), а к небу, степи утром, на закате, ночью — словом, к космосу, устойчивому фону, на котором движутся формы людей и тел. И родись в кочевой Киргизии философ, он, очевидно, высказал бы представление о мире, родственное демокритовскому, установив в нем как равно бытийственные атомы и пустоту. А различия в мире видел бы так же пластически — скульптурно. Так, по изложению Аристотеля в “Метафизике”, “они (Левкипп и Демокрит. — Г.Г.) говорят, что бытие различается только “очертанием, соприкасанием и поворотом”. Из них очертание есть форма, соприкасание — порядок и поворот — положение. Например, А отличается от N формой, AN от NA — порядком, N от Z — положением”¹.

Но это одна грань в мировосприятии современного киргиза. Другая — железная дорога, город. Их соприкосновение, взаимодействие и высекает искры драм и сюжетов в повестях Чингиза Айтматова.

Вот киргиз приезжает на станцию. Джамия, подросток, и Данияр возят зерно. “Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции”. Едут полдня по степи и ущелью — Киргизскому Космосу. Пространство и вечность. А там — теснота и спешка: “Солнце немилосердно палило (сперто вокруг: нет ветра, чтобы донес воздух в загон “Заготзерна”), а на станции толчея (вот первое, что бросается в глаза кочевнику, как архипротивоестественное: кругом простору сколько хочешь, а люди вдруг скопились в точку и толкутся. — Г.Г.), не пробьешься (теперь искусственные, самими людьми себе созданные препятствия преодолевать придется: сантиметры, черепашиим шагом, в очереди, а только что, за оградой, было: скачи, куда хочешь. — Г.Г.): брички, можары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. (Ярмарка, Ноев ковчег, всякой твари по паре — и здесь, в этом зеркале, состав киргизского космоса отражен: горы представлены навьюченными ишаками, степи — бричками. — Г.Г.)

¹ Материалисты Древней Греции. Собрание текстов. М., 1955. С. 55.

Пригнали их мальчишки и солдаты, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами. На воротах “Заготзерна” (диковинное существо с “заморским” именем. — Г.Г.) висело полотнище: “Каждый колос хлеба — фронту!” Во дворе (двор — это пространство земледельца, замкнутое: самозаключение земли и себя. — Г.Г.) — суতোлка, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом маневрирует паровоз, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли”.

Паровоз и Верблюд — вот два космических тела, и Верблюд чувствует: смерть ему приходит и, дух кочевья, всем нутром не приемлет и бунтует — итальянскую забастовку объявляет: не желает подниматься. Верблюд слюняв: “корабль пустыни”, воду в себе носит — жизнь; Паровоз огнист, жжет воду (“клубы горячего пара”). “На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирает дыхание”.

Вот модель киргизского природного и исторического пространства, как оно обрисовано в начальных строках повести “Первый учитель”:

“Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась **Желтая** долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами **Черных** гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт, на запад, через равнину.

А над аилом на бугре стоят два больших тополя”. (Последнее звучит уже завязкой — внесением нового, единичного, человеческого общественного в исходное состояние мира.)

Здесь террасами, сверху вниз, как климатические зоны на горе, расположились эпохи истории. Высоко в горах — самый стойкий, старинный родовой образ жизни, почти не доступный для влияний; ниже, на плато аила, — кочевники, что время от времени спускаются с гор в долины (подобно шумливым горным речкам, что набухают летом) и обрушиваются на мирное оседлое земледельческое население, — это уже третий исторический слой. И наконец железная дорога говорит об индустриальном обществе, горизонтах современной цивилизации.

Подвергнем, однако, этот силуэт космоса более подробному анализу. Нас интересует приуроченность духовных, мировоззренческих моментов к пространственным.

Это — срединное царство: между небом и землей. Оно возвышено, приближено к небу, по сравнению с ширию (ширью, а не далью) долины, где царит горизонталь. Нет, здесь она непрерывно перегибается, заламывается в вертикали, отрогами и предгорьями протягивается и ведет душу к небу, пока не станет чистой вертикалью — двумя тополями. Но это уже — смерть.

Недаром тополя стоят лишь как памятники бывшему, вверх-вниз ходившему, сталкивавшемуся, бурлившему — ну как эти шумливые горные речки, что стекаются на плато. Итак, схематически киргизский пространственный образ мира можно изобразить так:



Тогда как болгарский, введем для сравнения:



Это — от-кос. Важна ориентированность с боков. Ясно отсюда, что и глаза должны быть раскосые, чтобы отвечали тяготениям пространства: в ширь в одну сторону и в верх в другую. Но и ширь не горизонтальна, а слегка вниз скошена, и верх не вертикален: взор ползет по склону.

И это очень важно, как входит в нас свет: кругом (равномерностью, уравновешенностью) или эллипсом. Глаза круглы у жителей севера и южан. У северян — в глубь ушедшие, плоские, озерные; у южан — выпуклые, выпученные, вздутые, как плод, словно притянутые солнцем. Те же, кто живут меж гор и равнины, должны и то и другое пространство учитывать. Потому их глаз не кругл, а эллипс: они раскосы, глаза же миндалевидны. И недаром северяне, когда попадают южнее, жмурятся, щурятся от многого и резкого для них света (т.е. дела-

ют глаза косыми), переходя от северного к южно-прямому взгляду на солнце.

С чем же ассоциируются в сознании киргиза горы и степи, верх и низ? Горы близки по образу к человеку: стоят вертикально; и как индивидуальности — и в массе хребта, снизу вверх шапками, плечом к плечу, как народ. Недаром в эпических песнях естественное для киргиза сравнение: батыра с горой, а членов его тела — с деталями горного пейзажа. Вот Манас: “Его нос подобен целому холму, а переносица — горному хребту”; “огромен рот, подобны обрыву веки”; “как будто он сотворен из **подпорки между небом и землей**, как будто он сотворен из луны и солнца, земля выдерживает его мощь только благодаря своей толщине”¹.

Это для мореходных народов важно было, на чем держится **земля**, ибо они видели ее края. А вот для кочевых, которые видят лишь края неба, а земля незамечаемая, ибо неизменная субстанция, — важно, на чем **небо** держится. И здесь человек-гора — естественный образ. Ибо и тот и другая — срединное вертикальное царство, посредник, “подпорка” между небом и землей, к обоим мирам причастные. (Правда, у греков есть Атлант, но грекам вообще был дарован наиболее расчлененный космос: они и горцы, и земледельцы, и горожане, и мореходы...) Однако гора — в отличие от дерева, которое тоже является аналогом человека у лесных народов, — вертикаль мертвая. Дерево растет. Гора — мера для человека практически неизменная: лишь слегка выветривается и разрушается.

Если земледельцы хоронят человека в землю, роют могилу, то у кочевых, “срединных” народов виды “погребения” разнообразны: неглубокое плоское захоронение (ибо почва тверда, отталкивает от себя); подвешивание гроба (так хоронили шаманов в Бурятии); наконец и наиболее распространенное, сжигание — отослание в воздух, вверх. Если для земледельца ад находится под, внизу, и даже греки-полугоряне там помещали Аид, то здесь нечисть, черные силы живут в горах: там еще человек — полуживотное, дикарь (как для жителей равнины — леший или водяной).

Если Персефону увлакивали вниз, то девушку Алтынай в повести “Первый учитель” люди гор умыкают вверх; если Орфей за Эвридикой спускался вниз, то Дюйшен с милиционерами будет подниматься за Алтынай вверх. И Алтынай, по-

¹ Цит. по кп.: “Манас”. С. 122.

пав в горы, казалось бы, ближе к небу и свету должна себя чувствовать, однако ощущает себя в колодце и яме и слышит “сопение и беспробудный храп” — там вечный сон. И когда она хочет вырваться к жизни, символично, что она подрывает юрту, т.е. выход на свет земной — вниз (тогда как царевич Гвидон вышиб дно — хоть “дно”, но, очевидно, то, что наверху, — “и вышел вон”)¹.

Однако верх не так-то прост — не сводим к горам (да и горы еще многое другое выражают). Например, для земледельца, жителя равнины, плодородие (жизнь) исходит снизу: из земли все вырастает и родники бьют. У срединных народов, хотя и родники тоже чтятся, но плодородие, жизнь стекают, наплывают сверху, тальными водами скатываются. (В России — стекается вода откуда-то издали, из простора; кстати, “простор” — понятие горизонтальное, плоскостное.) Из стихий космоса как главный источник жизни, податель благ наиболее чтится не огонь, как у северных, лесных и промышленно-городских народов, не земля, как у земледельческих народов, но — вода. Для жителей российской равнины “мать” это — “сыра земля”, а вода — не замечается из-за всегда ее наличности, данности. Переходы кочевников — от воды до воды.

Вода воспевается в народной и литературной поэзии наравне с конем (ср. “Гимн воде” акына Клыча). Вот почему столь противожизненным показался на дворе “Заготзерна” (“Джамия”) именно **паровоз**, т.е. истребитель воды, тот, что превращает воду в воздух (пар) — то, что и без посторонней помощи делает здесь сам космос: жар и солнце. Здесь-то как раз обратное надо бы: жар и солнце ловить и из огня воду делать... Конечно, англичанам-островитянам можно было направлять свой ум на уменьшение воды и паровой двигатель изобретать, но, родись некогда изобретательско-техническая мысль здесь, уж ни за что водяной, паровой, а уж солнечный или ветровой двигатель сообразила бы...

¹ В народных причитаниях у киргизов указываются три точки, куда может уходить умерший: “там” это и горы, и земля, и долина — в итоге опять рельеф склона, откоса: “Дорогой Арпа-Куль-Ойроп, Что ты сделал, мой муж, со мной? В тьму глухую, почной порой Ушел, бросил детей с женой! ... Несчастна вдова, что живет, Когда взят любимый землей! **Пешком** она юность пройдет (вот образ несчастья для кочевника. — Г.Г.). Крутая гора, красный **склон**, Пускал с пес ястреба он. Улетел ли ястреб в Китай? Ушел за ним Куль-Ойроп? ...Быть может, ушел мой Арпа К любимой родис в Андиджан? В золотой пшенице **тропа** — Не по псы ли ушел Арпа?” (Антология... С. 112).

И недаром на паровоз в ужасе взирает именно верблюд — тот, кто как раз гений экономии воды — семени жизни.

Какой же вид и образ имеет здесь *вода*? Это важно выяснить, ибо образ воды — это представление о жизни, а режим воды — это ритм жизни, ее длительность и прерывность — словом, ток времени. Здесь это — “шумливые горные речки”, ливень (гроза) и родник. Все они играют в мире Чингиза Айтматова исключительно активную роль. В повести “Джамиля” страсть Данияра и Джамили выступает как заключительный акт притяжения космических сил, разверстых друг к другу, — и их слияние в ливневом потоке. “Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нее Куркуреу **вырывается из ущелья и несется по долине необузданным бешеным потоком**. Пора косовицы — это **пора половодья горных рек**”. О! — это очень многозначительное для ритма жизни явление. В России, например, разливы рек, половодье отделены от сенокоса: одно — весной, другое — летом. Значит, и жизнь души более плавно и равномерно протекает: весной на человека одно действует и высвобождает часть его энергии, летом — другое. Здесь же половодье чувств — то, что обычно проходит весной, — задержано до лета: пока стает с гор и дойдет до долины. А это значит, что к уже горячему зною лета добавляется весенний разлив. Отсюда — ошеломляющий наплыв. По Гиппократу, который распределял по сезонам полосы наиболее активной жизни жидкостей в человеке, в такой ситуации сливаются вместе кровь — сок весны, и желчь — сок лета¹.

“С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки”. И в человеке, строй которого в резонансе с космосом, начинают так же прибывать и прокатываться космические волны. Особенно если он не в помещении, а в пространстве, как здесь: у самого “пекла” — у реки ночует.

¹ См.: *Гиппократ*. Избранные книги. М., 1936. С. 202.

Когда родился Манас: “В первый раз пососал он грудь — **Молоко** пошло из груди. И опять пососал он грудь — **И вода** пошла из груди. Третий раз пососал он грудь — Быстро хлынула **кровь** из груди” (“Манас”. М.: ГИХЛ, 1960. С. 28).

Вот они, превращения, наплывы, слияния космических жидкостей. И все они есть в женщине. Кочевой народ неизмеримо выше чтит женщину, чем оседлый. И узбеки, и киргизы приняли ислам. Однако чадра и паранджа не вошли у киргизов в широкое употребление, женщина осталась гораздо более активной и самостоятельной.

“Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш (т.е. свод шалаша выводит прямо в небосвод — сняты крыши и шапки — весь верх сразу падает в душу, и она беспрепятственно вверх поднимается. — Г.Г.), порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревушая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас”.

Небо и земля здесь спят, спокойны — как полюса мира: они вызвали движение, но сами неподвижны. Движение возникает в срединном мире: ветер, вода, человек. Вообще срединное царство, “подлунный мир” роднее человеку, чем небо и земля. Точнее — **мироздание**, то, что есть “подпорка” **между** небом и землей, замкнутое (как и сам человек), а не бесконечное пространство и время. Здесь больше аналогии с людским зданием — творением: человечеством, производством, обществом. Греки под Космосом, очевидно, понимали именно организованное бытие как мироздание (в отличие от Хаоса). Все, что в “срединном царстве”, аналогично и созвучно человеку: и деревья, и облака, и птицы.

“Хотя мы находились не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно напал страх: а вдруг снесет, вдруг смочит шалаш?” Вода накатывается как истечение семени мира, и гроза в момент любовного слияния Данияра и Джамили — не просто метафора страсти — это было бы отчужденным от Космоса, “помещенским” толкованием со стороны непричастного, — но их тождество. А эта вырывающаяся из теснины река Куркуреу — как животворящая сила, через свои теснины (в том числе и стесненную душу Данияра, которого что-то распирает) прорывающаяся.

В народной песне есть такой образ: “Быть бы светлой мне водой — И чтоб мучил тебя зной”.

Любовь зарождается и совершается возле воды: озера, родника, на берегу, где утки, ива, камыши, стан-тростник; озеро — наша чаша: “Золотой стал пиалой Кызыл-Куль для нас с тобой”.

Сравните также встречу юноши с девушкой возле родника и наречение его (= порождение его, ибо дать вещи имя, слово равнозначно ее сотворению для людей, введению из небытия в круг жизни человечества¹) Верблюжьим глазом — в одноименной повести Ч. Айтматова.

¹ Возможно, и то Творение мира, о котором рассказано в книге Бытия, на самом деле было разданием имен, слов уже паличным небу, земле, свету, дню, воде, земле, суше, солнцу, звездам... человеку, что воспринималось людьми как равносильное их сотворению, т.е. превращению из Хаоса в члены Космоса, мирового уклада.

Итак, вода — не покойная гладь, но — наплыв, бурление, клокотание, кипение. Аналогичным образом струится и кровь по жилам человека в таком пространстве. Она то замирает, спирается (также и дыхание неровное в этом пространстве), долго задерживается, уж весна кругом, тепло — а кровь спертая: ведь не оттаяли еще высоко в горах ее источники, ледники небесные, а уж когда дойдут к лету — тогда ошеломление, и все страсти, решения, удары совершаются. И происходит это шумно (“шумливые речки”), враз и на виду, как переполох — как беркут в национальной охоте “беркутчи” с неба на зверя сваливается. Проявления киргизского характера — броские, а не в невидной глубине происходящие, как у более северных народов, где дела, как правило, тихо и медленно совершаются.

В отношении к источникам и направлению воды аил (расположенный на плато), как и в отношении всего пространства, есть и пуп (стан, средоточие) — и в то же время плацдарм для скачка: открыт как в горы, так и в равнины. И когда нахлынет потоками сверхсила, она, расплескиваясь в человеке, в роде, бежит то вверх, в горы, откуда истекли реки (ведь именно туда, в горы, бежит обуянный невероятным счастьем и тревогой старый отец Манаса в момент, когда жена должна родить. Он, кочевник, не может вынести, оставаясь на месте: в него дикий зуд вселился, разметывающий его), — то вниз, в долины, в набег, в кочевье. Кочевники в народах — как семя, как мужское начало: при притоке силы рек они нахлынут, рассыплются по земледельческой степи, которая “раскинулась”, как женщина со своей “Желтой долиной”. Зимуют кочевники в горах, спят себе в аилах (как в ячниках семя накапливают), а потом низвергаются в долину равнины неудержимыми потоками. Затем снова стягиваются к истокам, уходят в себя.

Таким образом, в отношении верха-низа действуют силовые линии скошенного, бокового движения: клубления, кипения, — подобные тем, что мы обнаружили и на плоскости (в анализе пейзажа — аналога песни Данияра, и в описании двора “Заготзерна”).

Теперь “Желтая долина” и “Черные горы”. Красок, цветов в киргизском мире мало: кочевник, как уже говорилось выше, лучше воспринимает пластику, объемы в мире, т.е. то, что охватывает движущийся глаз, а не цвета, представляющие остановившемуся взору. Но не даром именно эти два цвета отмечает Чингиз Айтматов. Это — наиболее абстрактные цвета, почти приближенные к понятиям: свет — тьма. “Желтый” в киргиз-

ском мире играет ту же роль, что севернее “белый”, т.е. абстрактный образ света, здесь равного солнцу и огню. (На севере “свет — белый”, недаром такое окаменевшее сочетание родилось, и с огнем его не сравнивают: огонь — не небесное, а адское детище — ср. “Нибелунги”.) “Черный” же имеет вариантом “синий”, “голубой”, т.е. Чингиз Айтматов называет те же цвета, что выше отмечались и в народной колыбельной песне: “голубой” и “золотой”.

Пространственное распределение черного и желтого тоже противоположно русскому, например, где черная — земля, а свет — с неба. Здесь же мир тьмы, ночи, черноты — горы (недаром, значит, мы там поместили ад), а свет — внизу: земля, уподобленная солнцу. Однако нельзя все это “железно” локализовать, ведь силовые линии киргизского пространства — клубление, т.е. предметы вверх-вниз по эллипсу носятся и меняются местами. Солнце встает из-за гор = сваливается с неба, заходит же в степи = в даль уходит.

“Когда мы погрузили последнюю жоюру, Джамия, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, **отверстием горящего тандыра** пламенело **разомлевшее вечернее солнце** косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт... Лицо ее (Джамии. — Г.Г.) светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее **полуоткрытые губы**”.

Отождествились три отверстия: дыра солнца в небе, губы человека и “тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в котором пекут лепешки”. Вот оно, клубление вещей в киргизском пространстве. Во-первых, космоизм быта кочевника сказывается, где юрта — призрачное помещение, и печь — тандыр — не очаг в помещении, а прямо на земле возле дома. А теперь это отверстие, что внизу, видится на горизонте. Оси координат космоса все заходили ходуном в косовицу — пору страсти и смерти (косить = умерщвлять), вертикали поменялись с горизонталями местами (как посеченная трава или падающая и отдающаяся в любви женщина).

А вот это мироздание по-киргизски в своем становлении. В повести “Первый учитель” находим следующее описание весны: “Зима **откочевала** за перевал. Уже гнала свои **синие** (рождается в мире цвет, а не тьма лишь и свет) **табуны** весна. (Русская весна гонит **птиц** — вспомним “Снегурочку”. А Дед Мороз? — Кстати, есть ли аналогичный образ у кочевников? — Г.Г.) С оттаявших набухших равнин потекли в горы

теплые потоки воздуха (= по откосу вверх. Небу — небово: дух, воздух. Земля испаряет, испускает дух и дарит небу. Но это земляной дух, влажный — **пар**; как у огня горький, от “горения”, дух — **дым**). Они несли с собой весенний дух земли, **запах парного** молока. (Дух земли — колоритный, не чистый, а напоенный — это запах. “Святой дух” — чистый снег зимы — не пахнет.) Уже **осели сугробы**, и тронулись льды в горах (близна и снег, атрибуты неба, “божьи” создания, вдруг обнаруживают свою земность: что и они подвластны тяжести — и удрученно оседают, склоняются), и **тренькнули** ручьи (= родился **звук**), а потом, схлестываясь в пути (киргизское клубление в пространстве и всеобщее мировое соитие в нем), они хлынули бурными, всеокрушающими речками, **наполняя шумом размытые** овраги (вода в страсти и изобилии пашет землю — так творится рельеф, формы мироздания)... Земля, словно бы раскинув руки (как птица — человек), сбегала с гор (земля = кочевник) и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные **дали** степи, объятые **солнцем** (солнце внизу: распластано в степи — “Желтой долине”) и легкой прозрачной дымкой. Где-то за тридевять земель (уже множественность миров открылась) голубели талые **озерца** (эта вода — уже круглая, как солнце, а не поток), где-то за тридевять земель **ржали кони**, где-то за тридевять земель пролетали в небе **журавли**, неся на крыльях **белые облака** (как посланники всеобщей связи — и все ждет “своего другого”: озера, кони — может быть, тебя?) **Откуда** летели журавли и **куда** они звали **сердце** такими томительными, такими **трубными** голосами?” Киргиза зовет космос, но не вверх и не вдаль, а вниз-вдаль.

Все эти элементы Киргизского Космоса допускают взаимное передвижение в клублении. Но одна его грань остается недвижимой и определенной — она очерчена “темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт, на запад, через равнину”.

Во-первых, это **дорога**, т.е. русское начало однолинейно направленной **дали**. Во-вторых — железная.

Дорога! Кочевье не знает дорог, а знает **пути** — как стаи птиц из года в год пролетают одними и теми же маршрутами — без того, чтобы они были оформлены в линию¹. Значит, это внут-

¹ Вспомним видение, что предстало юноше, когда он въехал в Анархай: пространство, полное памятью о прошедшей живой жизни, но никаких материальных следов за собой не оставившей — даже древних путей, как рассеяли по всей Европе свои тяжелые каменные дороги древние римляне.

ренне чуемая нить пространства. И кочевник обладает этим внутренним компасом пространства, которого оседлый житель равнины не имеет: ему для ориентировки нужны внешние пределы, очерченность направления¹ — до-ро-га — и обязательно должны быть **стороны** (чтоб хотя бы глазеть по сторонам и чтобы, “косясь, **посторанивались** другие народы и государства”). Кочевником же ощущается не сторона, а **бок** — то, что видят раскосые глаза.

Железная дорога теперь перенимает на себя и организует один край Киргизского Космоса: бесконечность как просто гладь — превращая ее в даль (тогда как киргиз скорее ощущал “гладь” как **ширь**: везде у Айтматова “широкая степь”² — ср. “дальняя дорога” — основной образ России). И сразу стала путем в иной мир: туда уходят и обычно не возвращаются.

Но, с другой стороны, **даль** — это естественный выход для тяги души к бесконечности: туда можно за ее зовом последовать телом, тогда как по горам к небу — нельзя. И потому тянущиеся к идеалу идут на железную дорогу, в иной, просторный мир. Так и в Киргизии появляется символический образ — дорога, путь к спасению души. Приглядимся, как все-таки выглядит этот путь к слиянию с бесконечностью мира. “Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я прикинула бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... (Удивительно: свет ведь вверху, а здесь будто низ, равнина излучает свет. И верно: горы, хоть они внешне и выше, но в них — среди стен, закрывающих полнеба и полсвета, — человек ощущает себя опущенным в глубь земли — в ее ущелья, бездны, пропасти — в дыры, откуда ад выходит наружу. — Г.Г.)

¹ На живом ощущении “пустого” пространства основана национальная игра “Ак-чолмок” = белый челнок — “молодежная почная игра, в которую, как правило, играют в лунные иочи. Игра является командной... Водящий, или капитан, одной из команд из копа бросает челнок, за овладением которым устремляются все игроки обеих команд. Направление полета брошенного челнока и ориентировочное место его падения чаще определяются слухом, чем зрением в темноте. Поэтому в момент броска стоит мертвая тишина, которая моментально сменяется стремительным и шумным бегом играющих к цели” (Омурзаков Д. Киргизские национальные виды спорта и пародные игры. Фрунзе. 1958. С. 7).

² Можно вспомнить и русское: “Уж ты степь моя, степь широкая...” — *Прим. ред.*

Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...
А через два дня Дюйшен повез меня на станцию”.

Как видим, это не просто спуск с гор вниз в равнину — это символический путь обновления, очищения души.

Как его представляют себе европейцы? А как раз наоборот: как трудное *восхождение* на гору, т.е. тоже для себя диковинным, “заморским” образом. Даже наш Державин оживляет этот международный условный образ, обращаясь к Фелице (кстати, царевне “**киргиз-кайсацкия орды**”), “...Которой мудрость несравненна Открыла верные следы Царевичу младому Хлору **Взойти** на ту высокую гору, Где роза без шипов растет. Где добродетель обитает...”

То же самое для Лермонтова и Пушкина горы Кавказа — это как раз те линии, те параболы, которые вздымают дух ввысь, к бесконечности света и мира.

Здесь же, для киргиза, таковым маршрутом выступает русская “даль”, “дорога”.

Так в этих сотах, порах мировоззрения: в представлении о пространственной структуре мироздания — происходит скрещивание национальных образов мира народов.

Удивительно, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум спросить ее природу: чего она хочет, какой бы истории она могла желать от народившегося на ней человечества? Все русские мыслители: от Чаадаева до Шафаревича — думали в рамках *историософии*. То есть брали некие схемы развития и устройства обществ, которые сказались на поверхности Земли за тысячелетия цивилизаций, и прилагали эти карты к России, раскладывали ей пасьянсы. “Западники”, “славянофилы”, “соборность”, “православие и католицизм”; “Византизм и Славянство”, “Россия и Европа”, “народ-богоносец”, “Развитие капитализма в России”, “Русская идея”, “Евразийство”, “Социализм”, “Русофобия”... — все берут некие надземные готовности вокруг России и принимаются ими соображать насчет нее. Так это и в нынешних страстных политико-публицистических спорах: “Что нам менять и брать?” Будто страна и ее природа есть некая пассивная безгласность и безмысленность и просто материал-сырье истории в переработку. Но ведь уже устройство природы здесь есть некий текст и сказ: горы или море, лес или пустыня, тропики или времена года — это же все некие мысли бытия, сказанные словами природы.

“Русь! Куда же несешься ты?” “Что пророчит сей необъятный простор?” Писатели-художники, поэты чуяли излучения воли и смысла от Русского Космоса и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак... Но чистые умники: философы, политики, даже историки (чуть малая есть о русской природе в начале “Историй” Соловьева и Ключевского...) как-то решали за Россию без хозяйки. Не

говоря уже о **мраксизме**, который будто уже **“материализм”**, а совсем не любит **“матушки-природы”** (слышу это в иронической интонации Э.В. Ильенкова, гегельянца) и попросту налагает схемы своих пяти всеобщих формаций и не ждет милостей от природы, а насилует ее.

Какую же мудрость излучает Космос России? Россия — **“мать-сыра земля”**, т.е. **“вода-земля”** по составу стихий. И она — **“бесконечный простор”**. Беспредельность — аморфность. Россия — огромная белоснежная баба, расползающаяся вширь: распростерлась от Балтики до Китайской стены, **“а пятки — Каспийские степи”** (по образу Ломоносова). Она, выражаясь термином Гегеля, — **“субстанция-субъект”** разыгрывающейся на ней истории. Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить **“воз-дух”** и **“огонь”**, аморфность должна быть восполнена формой (предел, границы), по Пространству должно врубиться работать Время (ритм Истории) и т.д.

Это и призвано осуществлять Мужское начало здесь. Природина, Россия-Мать рождает себе Сына — русский Народ, что ей и Мужем становится. Его душа — нараспашку, широкая, значит, стихия **“воз-духа”** в нем изобильна. Он легок на съём в путь-дорогу дальнюю. Русский народ — **СВЕТЕР**: гуляет, **“где ветер да я”**, летучий, странник и солдат, плохо укорененный. Неважно он, такой беглый, пашет свою землю, как мужик бабу, — по вертикали, так что его даже прищипливать приходилось крепостным правом, а то все в бега норовил...

Потому второго Мужа России понадобилось завести (уже не как Матери-Родине, а именно Женщине-жене) в дополнение, который бы ее продраил по вертикали да крепко обнял-обхватил обручем с боков, чтобы она не расползалась: заставой богатырскою, пограничником Карацупою, железным занавесом — бабу в охряпку... И этот мужик — чужеземец. Охоча холодноватая Мать-сыра земля до огненного чужеземца плюс к своему реденькому, как иная бороденка, Народу: он свой, родимый, любимый, да больно малый да шальный. Воз-дух и Свет (недаром и мир тут — **“белый свет”**, как снег) он ей подает; но ведь у стихии Огня вторая важнейшая ипостась — Жар, а сего недодает. Вот и вынуждена Россия варяга приглашать на порядок-форму и закон, из грек правосостояние *православия* (тоже прямая, вертикаль и закон — Божий), половца и турка с Юга притягивает, татаро-монгола — с Востока. Потом немцы с Петра правили, социализм западный с Ленина, грузин Джугашвили, в ком соединились Петр с Тамерланом (догма-

тический марксизм и талмуд идеологии Запада — и султан “секим-башка” с Востока). Уж он-то так продраил Русь-бабу, что бездыханная лежала... Потом полегче: хохлы-малороссы с Хрущева пошли, с выговором на фрикативное “гх” — и у Брежнева, и у Горбачева. Как бы в отместку за присоединение к России Украина в пору “застоя” своими людьми стала Россией править: куда ни глянешь в аппарат власти, армии, культуры — везде от всяческих “енко” рябило...

Даже **стратегия русских войн** — от охоты России-бабы на чужеземца. Она его приманивает (поляка, француза, немца), затягивает в глубь себя, никогда не на границах ему отбой, а взасос его вовлекает — и уж тут, во глубине России, самый оргазм битв: летят головушки и тех, и других, орошают ее топкое лоно огненной кровушкой, как спермою: им смерть, а ей — страсть да сласть. Так ведь еще в “Слове о полку Игореве” битва как свадьба описана, как смертельное соитие. Если германская тактика — “свинья”, “клин” = стержень, то русская — “котел”, “мешок” — как вагина, влагалище. (Кстати, французская тактика у Наполеона — “маневр” — изгиб, волна).

Да, в каждом национальном Космосе обитает и особый **национальный Эрос**. Он определен прежде всего вертикалью: Небо (мужское) — Земля (женское). Как жгуче прободание в тропиках, где семиты (иудеи, арабы), и нет среднего рода там в языках семитских, и все формы резко пополам распределены! А в умеренном и северном климате России: “Здесь, где так вяло свод небесный На землю тощую глядит...” — такой, не страстный Эрос отмечал Тютчев у нас, где вектор Выси переходит в тягу Дали-горизонтالي. Возлюбленным сулится дальняя дорога: “Дан приказ ему на Запад, ей — в другую сторону”; тут разлука, поэзия несостоявшейся любви, тоска... Родима тут сторонка, край, косвенное, “косые лучи заходящего солнца” любил Достоевский...

Итак, в Русском Космосе три главные агента Истории: Россия = Мать-сыра земля, а на ней работают два мужика: Народ и Государство-Кесарь. И оба начала ей необходимы. Народ — это тот малый, что протягивается по горизонтали: из Руси — всю Россию собою покрыть (и в эротическом смысле слова тоже) напрягается, хотя и убогий числом-населением: мал да удал! Но — бегл, не сидит на месте. Потому и понадобилось жесткое начало власти, формы, порядка, и оно, естественно, с Запада натекло. Оттуда же — индустрия (“огнеземля” промышленности) и город. Народ = воля, а Государь-

(ство) = закон. Меж ними и распялена Психея, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что реализуют эти ипостаси. При Татьяне — Онегин (“воз-дух”, беглый, охотник до перемены мест) и Генерал, князь. При Анне — солдат Вронский, что не вьет гнезда, и министр Каренин. При Ольге — Обломов (“голубь” — так его она чувствует, т.е. “воз-дух”) и немец Штольц (“гордость” его имя значит, в нем труд, рассудок и воля); при Аксинье — непутевый и бес-станный Григорий и есаул Листницкий. При Ларе — поэт “воз-дух”новенный, доктор Живаго, и комиссар Стрельников. И т.д.

Теперь — о **темпоритах** русской жизни и истории. Представим эту обширную страну в ее начале, со скудным населением, обитавшим в лесах Северо-Западной Руси. Чтобы заселить и цивилизовать это пространство путем естественного размножения ее флегматического, инертного народа (бегл-то он и подвижен — от власти стал), понадобились бы десятки тысяч лет. Однако Россия была окружена более динамичными и агрессивными народами, особенно с юга, жарко-страстными кочевниками-степняками, которые вождедали обладать ею и не раз оплодотворяли холодную русскую красавицу своей огненной спермой. В защиту от соседей понадобилось выстроить Государство. Однако призвание его в России не только военное, но и строительное: оно — главный хозяин и предприниматель, толкач цивилизации в этом пространстве лесов, степей, тундр, тайги, льдов Океана и вечной мерзлоты, которые, положась на охотку индивида, не освоюшь. Петр с топором и Ленин с бревном — вот символы Государства русского типа. Топор, правда, этот применялся не только на верфях при постройке флота, но и на плахе: рубить головы населению, не избыльному и так, без этих петро-сталинских прореживаний...

И вот у Народа и Государства в России разные темпоритмы во Времени. Народ тяготеет к натуральному развитию медленным шагом времени, что органично для русского медведя (кому еще и в спячку надо погрузиться долгою зимою) или даже мамонта — таким животным телам могут быть народ и страна русская уподоблены. И это естественно, что ритм сердцебиения и кровообращения и всех функций в таком огромном туловище должен быть иным, нежели в средне-нормальных зверях — таких как волк Германии, лиса Франции (maitre Renard Лафонтена) или дог Англии. Но соседство с Западом

и вплетенность в историю Европы подстегивали, и, к страданию для народа и жизни индивида — капилляра в нем, мера, скажем, волка (“аршин общий”) навязывалась нашему мамонту-медведю как нормальный пульс, и вытаскивали его на ярмарку-Рынок плясать чужемерно и неуклюже, на посмешище. А если не поспевал, подгоняли его кнутом и насилием: слово “ускорение” у Государства на устах.

Так и сложилось веками, что русский человек свыкся трудиться не столько движимый своей охотой к зажиточности (он привык довольствоваться малым, как и свойственно мудрому: Сократу, Декарту и Ивану-“дураку”), но исполняя наряд организующей воли Державы. Так что “командно-административная система” есть не прихоть на потеху нынешним острословам, но работающий костяк-остов, присущий Космосу России. Позвоночники Государства и Народа искривлены навстречу друг другу и образуют **арку** хозяйства у нас, которая тем и крепится, что оба устоя не самостоят колоннами, но падают друг на друга. Отсюда очевидно, что расчет нынешних реформаторов России: распустить государственную организацию экономики в надежде, что русский человек враз воспламенится Эросом труда и станет рыночно вкалывать, вождедея жить, как американец, — без понимания Космо-Психо-Логоса России и темпоритмов русской жизни принят. Ведь и среди планет Солнечной системы различны по величине годы обращения, и нелепо Юпитер России заставить крутиться с тою же скоростью, как Венера Франции или Марс Германии. Китай-Сатурн свою меру понимает и не спешит...

Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы протекать.

Итак, *несовпадение шага Пространства и такта Времени* — вечная судьба и трагедия России, но и закономерность ее истории. К тому же тут еще расходятся интересы Народа и Личности.

Для индивида, чья жизнь короткомерна, кто “и жить торопится, и чувствовать спешит” (эпиграф к “Евгению Онегину” из П. Вяземского), западное склонение, ускорение — по душе: по мерке человека тот год, более Протагоров... Потому индивид в России падок на права человека и демократию.

Какие же последствия и **особенности Русского Логоса** проистекают из такого именно склада Космоса, Эроса и Психеи здесь? Русский Логос — функция этих четырех аргумен-

тов: Россия-Мать, Народ, Государство, Личность. У каждого из них — свое Слово и логика.

Россия есть рассеянное бытие-небытие, разреженное пространство с островками жизни. “Как точки, как значки, не приметно торчат среди равнин невысокие твои города” (Гоголь). Точка жизни — тире пустоты. Пунктир, а не сплошняк цивилизации: нет связи, дорог, посредства, слабость среднего слова и среднего термина в силлогизме. “Умом Россию не понять” = рассудок (который работает в притирке опосредствования звено за звеном) теряется. Тут лучше работает образ, который может перепрыгивать через зияния в мета-форе = пере-носе (вот наш “трансцензус”!). Потому строгая философия невозможна в России, но она — на грани с художественной литературой или религией. Ибо Россия, как Бого-Мать-я, — религиозный объект, христианский. Тем более — для крестьянства = почти “христианства”. Потому патриотизм тут в благой, но и опасной близости к христианству: одно может приниматься за другое, понятийное qui pro quo получается.

Государство в России (как осуществляющее принцип Формы в ее аморфности), напротив, порождает и излучает жестко рассудочный Логос, догматический, и им обслуживается: формализм, бюрократия, начетничество синодального катехизиса и талмудизм максистско-ленинской идеологии, культ рассудка и научности, План и Предопределение, неприятие Случая и Свободы воли. Как alter ego, “свое другое” Логоса Государства — Логос антиподной ему интеллигенции, что так же вестернизована, как и истеблишмент-аппарат, и ученическа у Запада, и боготворит Науку, Разум, логичность (Чернышевский, либералы, социалисты, марксисты, диссиденты, Сахаров, рыночники ныне, демократы...).

Ну а Народ русский, **светер**, каков его Логос? Это — песня, поэзия, мат, блатной язык — и безмолвие. “Народ безмолвствует”, “И лишь молчание понятно говорит” (В. Жуковский. “Невыразимое”).

В силовом поле этих трех сверхличных субстанций-субъектов русского бытия бьется Логос русской Личности: Пушкина, Достоевского, Федорова, Горького, Бердяева... — с “мукой понять непонятное” и “объять необъятное”. Тут есть свои общие черты. Если **формула логики** Запада, Европы (еще с Аристотеля): **это есть то** (“Сократ есть человек”, “Некоторые лебеди белы”), то русский ум мыслит по формуле: **не то, а... (что?)...**

Нет, я не Байрон, я другой (*Лермонтов*).

Нет, не тебя так пылко я люблю (*Лермонтов*).

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем (*Пушкин*).

Не то, что мните вы, природа (*Тютчев*).

Не ветер бушует над бором (*Некрасов*).

Русский ум начинает с некоторого отрицания, отвержения (в отличие, например, от немецкого: отрицание — *второй* такт в триаде Гегеля, но начало развертывания мысли — “тезис” = положительное утверждение), и в качестве “тезиса-жертвы” берется некая готовая данность, с Запада, как правило, пришедшая (“Байрон” у Лермонтова; те рассудочники, кто мнят, что природа “бездушный лик” — у Тютчева), или клише обыденного сознания... Оттолкнувшись в критике и так разогревшись на мысль, начинает уже шуровать наш ум в поиске положительного решения-ответа. Но это дело оказывается труднее, и долго ищется, и не находится чего-то четкого, а повисает в воздухе вопросом. Но сам поиск и его путь уже становятся ценностью и как бы ответом.

По этой же логике и “Война и мир”: не Наполеон, а Кутузов; и установка Достоевского: не Рим, социализм-атеизм, а... “народ-богоносец”. Даже ракета недаром у нас изобретена. Ее принцип движения — самоотталкивание (= национальная самокритика): тоже “не то, а...”, “от самой от себя у-бе-гу!...”

Мир удивляется, как это у нас критика и полемика такая жестокая и страстная между собой: западники и славянофилы, народники и марксисты, демократы и партократы... А я это так понимаю — как необходимый разогрев: в промозглом космосе мати-сырой земли, чтобы не свалиться на обломовский диван, на успенье в медвежью берлогу иль в запой (“огневоду” принимая, как панацею от той же мати-сырой земли), все средства хороши — в том числе и разогрев злости. Да и работа русского когда хорошо работает? Когда разозлится, раззадорится...

Модель-схема Русского Космоса: $\vdash \rightarrow \infty$ — это “путь-дорога”, “Русь-тройка”, космодром в **однаправленную бесконечность**. В формуле русской логики “не то, а...” этому соответствует многоточие, незавершенность. Она и ценность, по Бахтину: открытость, вопрошание, не сказанность ни о чем последнего слова. Русские шедевры — незавершенны: “Евгений Онегин”, “Мертвые души”, “Братья Карамазовы”... Есть начало — нет конца. Как и на советчине: есть начальники — и незавершенка (в строительстве). И задушевная мечта русская —

начать все снова, жизнь — сначала! Разрушим — и построим наконец то, что надо! И не устаем — **начинать!**..

С точки же зрения Времени (а пока я Русский Логос из свойств Пространства выводил) — **задний ум** тут крепок: очутиванье пост фактум и post coitu. В силу несовпадения шага Времени с шагом Пространства (о чем выше) возникает в Логосе истерика биений и шараханий односторонних: сначала все почти полагают одно, затем уразумевают противоположное и проклинают первое... А Медведь не успеваает поворачиваться, и юркие иноземцы успевают схватить-попользоваться, пока то русак расшевелится... Сейчас, правда, не затеяли ль из мамонта Союза, из медведя России понасечь два десятка собак?..

Напрашивается — сопоставить Россию и Америку. Уж из соположения рядом портретов разность очевидна. Лишь несколько пунктов акцентирую. И та, и другая цивилизации искусственны: в России — наполовину, в США — целиком. Агентом строительства в России было прежде всего Государство, в Америке — индивид-трудяга, жадный на работу и заработок (то, что за работой, за горизонтом). В России первично Целое, а индивиды, граждане — его функции. В США первичны индивиды, множество самосделанных энергетических атомов, а уж из них собирается Целое. Государство — функция индивидов.

Пространством обширным оба Космоса схожи. Чувство незавершенности в России, “бесконечного простора”; в США — ощущение “открытых возможностей”: простор для деяния впереди, тяга. Но Россия границей, передвигая ее, тут же закрывала себя, чтоб внутри себя жить по своим мерам и потребам и ценностям, отличным от других миров, как монастырь, или как дамба плотины охраняет низину от затопления. В США тоже граница все отодвигалась на запад, пока не уперлись в Тихий океан, в четкий предел, и возникла обратная связь, отражение от предела. В России обратная связь слаба: лишь из центра и Государства импульсы, но не слышна реакция ни Природы, ни Народа, ни Личности, ни Жизни... А все шли, да и идут односторонние импульсы; и сейчас реформы — из схем и расчетов рассудка, не выверяя реакцией Бытия. И кажется: тут так можно было всегда. Согласие на долготерпение в Психее местной. Видны начала (“начальство” — наши “архай” — приЧИНЫ), а концов не сыщешь — и ответа нет (и ответственности: отвечать некому никогда), как Поэту — в “Эхе” Пушкина: “Тебе ж нет отзыва...” Потому Суд слаб (как и расСУДок тут слабо работает), и непонятны ценность и попрание

Закона и Судебной власти. И верно: для их работы нужна определенность космоса и социума, чтоб было о что отражаться мерам, актам и предприятиям, а не беспредел — бесконечность и неслышимость отзвука. Тут космос Апейрона = беспредельного, по-эллински, что аналогично Женскому (с ним стоит в пифагорейских парах). Так что в России издревле упор не на Закон, а на Благодать (в “Слове” еще митрополита Иллариона в XI веке), на Милость, что есть, конечно, “суд” Женского начала, Материнского: Любовь и ее абсурд, и каприз, а не Справедливость прямолинейная и мужская, жесткая...

Ну а главная разница — в темпоритмах Времени. Космос России — Север суровый присоединен к линии умеренных широт. Космос США — к линии умеренных широт присоединен Юг. Так что и вегетационный период роста в США почти круглый год, два урожая снимать можно, а в России от силы 5 месяцев. В США все темпы естественно скоры, да еще и искусственно ускорены — “ургией”. У нас же естественно замедленны все процессы, а ускоряются-подстегиваются волей Державы, организатора трудов. На частной инициативе тут далеко не уедешь: ну как приватизировать тундру?..

Завершая сей текст, должен орудие анализа уточнить. Как в квантовой механике различны выкладки для частицы или волны, так и есть “мысль-частица”, точная и точечная, рассудочная, а есть “мысль-волна”, “мысль-поле”, что работает с приблизительной истинностью. Но в Бытии полно проблем, тем и объектов, что размытой мыслью, “мыслеобразом” улавливаются, а от точной — ускользают. Таков и мой объект — Национальный Космо-Психо-Логос.

Диалог Петербурга и России на языке стихий

Петербург — в *углу* России, где она клином сошлась (и где на нее тевтонская свинья клин клином натыкалася). Посреде России — Москва. Она — сердце. Петербург — окно в Европу. Окно — глаз избы. Глаз — на голове. Выходит, Петербург есть голова, ум, промозглый мозг; Москва — сердце, душа России. Москва — матушка, а Питер — батюшка. Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по преимуществу, бесконечный простор, где *свете?* (свет + ветер) гуляет и любит мать сыру землю. И вдруг ей задана такая крепь, как Петербург — кулак, острие, приемноизлучательная антенна, где волны Европы улавливаются и западное влияние (здесь — седалище “за-

падников” в XIX в.) и где энергетика России собиралась в цивилизацию и снопом излучалась на мир¹.

Но Петербург не есть Россия. И остатняя Русь не есть Россия. Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите “**город**” наоборот — выйдет “**дор+а**”: они — антиподы. Петербург есть “место”², точка, а Русь — путь-дорога: дорога — дорога народному сознанию, потому и в песнях она. Суть России реализуется именно диалогически, как взаимообращенность города и дороги на “ты” друг ко другу (а не единым монословом) в соуважении, но и в яростной полемике, как и пристало протагонистам большого диалога. Россия ощущалась всеми ее писателями как незавершенное бытие, открытое.

В чем же сюжет этого диалога (Петербург — Русь) с точки зрения натурфилософской, если его выразить через стихии? Русь = мать сыра земля, значит, *водоземля*. Но такова она летом. Зимой же она — “ветер-ветер да белый снег”: ни воды, ни земли нет. Снег — свет. Значит, Русь есть оборотень, диалог двух ипостасей себя самой: женская — летом (живая жизнь, весна) и мужская — зимой (Мороз-воевода народ-светер). И так они живут себе и любят друг друга, попеременно владычествую в Психо-Космо-Логосе, как день и ночь; и зима здесь — день, муж, царство белизны и света, тогда Уран-небо опрокидывается на землю, звездами-снежинками ее осеменяя; а лето — темень, зелень, жизнь — жена (или, в духовно-эросном варианте, — “*сестра* моя жизнь”). И вдруг в этот завод и склад, в заведенный ритм Руси, брошен камень-валун Петр, — и вокруг него пошла кристаллизация раствора матери сырой земли. Новый **мужик** явился, соперник Мороза, Кесарь против Светра-народа. Был народ — старшой, стал народ — меньшой.

Итак, в стихиях: огнекамень на воде против ветра и света — вот что такое Петербург в России. И наводнения Невы — это восстания угнетенной матери сырой земли, придавленной камнем на болотах чухонских, отчего кровь-вода в ней наверх пошла наводнять поверхность — вкупе с ветром:

¹ Пока не было Петербурга, *Новь город* ту же функцию на аналогичном месте, в углу России, на воде Ильмень-озера, исполнял (ведь и Петербург есть, по идее своей. Новый город, “юный град”). Не Новгород, так Петербург, по свято место пусто не бывало.

² “Место” — город, по-чешски и по-польски, откуда и у нас: “мещане” — букв. “горожане”, т. е. жители Випа — бюргеры, буржуа.

Но силой ветра от залива
Персгражданская Нева
Обратно шла гневна, бурлива
И затопляла острова.

Точнее, это схватка ветра с камнем, их рыцарский турнир, а вода тут пассивна, как и подобает прекрасной даме. Вот ветер взял ее в оборот:

И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

То же в революцию: когда народ пошел на Питер, — то “ветер-ветер да белый снег” врывается в город камня. ‘ А то камень берет воду-жизнь в полон и затыкает ход ветру: негде ему среди стен и закоулков размахнуться, чтоб “раззудись, плечо!”, и вода теперь — чернь и вонь болотная, стоячая, толпа самодовольного мещанства, что начинает поучать поэта = светер:

Как ветер, песнь твоя свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна —

оба вместе унижены, поэт и ветер, — и чернь предлагает ветру служить мусорщиком на улицах города (очищать пороки толпы).

(Май 1971)

Белые ночи и любовь

Чтобы понять русский Эрос, взглянемся в Русский Космос, в его ночь и день.

Пушкин в отрывке “Гости съезжались на дачу” об этом же размышляет: “На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец (Пушкину нужен родной генетический ему средиземноморский глаз: Испания расположена на севере того водоема, на юге которого — Африка; и наибольшая в русской литературе эллинская гармоничность и пластика — в творчестве как раз Пушкина. — Г. Г.), казалось, живо наслаждался **прелестью** северной ночи. С восхищением глядел он на **ясное, бледное небо**, на величавую Неву, озаренную **светом неизъяснимым** (свет невечерний, белесый, бестелесный — неизъяснимый, ибо не от причины: не от солнца, не от точки, а просто марево как некая субстанция бытия в стра-

не, где мир называют: “белый свет”. — Г. Г.), и на окрестные дачи, рисующиеся в **прозрачном сумраке**.

— Как хороша ваша северная ночь, — сказал он наконец, — и как не жалеть об ее **прелести** даже под небом моего отечества? — Один из наших поэтов, — отвечал ему другой, — сравнил ее с **русской белобрысой красавицей**; признаюсь, что смуглая, черноглазая итальянка или испанка, исполненная **полуденной живости и неги**, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между *la brune et blonde*¹ еще не решен. Но кстати: знаете ли вы, как одна **иностранка** изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы”. (Т. VI. С. 560—561.)

Прежде чем пуститься в рассуждение, поостережемся: в обоих случаях о России высказываются чужестранцы: “испанец” и “одна иностранка”, а русский лишь вопрошает, сравнивает да что-то себе на уме соображает; но что? — нам неизвестно. То есть слово о России в орбите русского сознания и русской логикой здесь не произнесено, а есть лишь слово о ней глазами Юго-Запада. И это типичная структура русской мысли: сталкиваются определенные суждения в духе западной логики, но потом ставится вопрос, многозначие — и уводится в русскую беспредельность (неопределимость), в дальнейшее нескончаемое бессловесное загадочное соображение...

Итак, ночь — та, что есть собственное царство Эроса, здесь, в России, у него как бы отобрана. На юге огненно-жаркий темный Эрос (ибо Эрос есть темный огонь — тот, что греет, но не светит — недаром у Тютчева:

И сквозь опущенных ресниц —,
Угрюмый, тусклый огонь желанья

пошел из ночи агрессией на день, почернил людей, их тела и глаза (смуглая, черноглазая итальянка: черные глаза — это глаза ночные и на дню — те, что не светят, а блестят; они у страстных женщин: у Зинаиды Вольской, у Катюши Масловой — “черные, как смородина”, у Настасьи Филипповны) — и завладел днем и светом и стал дневным откровенным занятием: недаром сказано о “**полуденной живости и неге**”. А здесь — полнощная бледность и “не белы снега”. Но в стране полнощной происходит подобная же агрессия, выход за поло-

¹ Брюнетка и блондинка (франц.).

женные пределы и распространение — только теперь света и духа на ночь и Эрос. Здесь солнце светит, а не греет, огонь заменен на свет. Значит, на дню — полное царство духа, стыдливости, а Эроса даже видом не видать, секса слыхом не слышать (тогда как на юге нега и **полуденная**). Но и ночью Эрос не предоставлен сам себе, а его домен уязвлен со всех сторон и обуживается: ночь долга зимой — вот бы где разгуляться! — да больно холодна: люди промерзшие, зябкие, воздух стерильный, уж совсем обестелесненный, чистый световоздух, да и ночь не темна, а все блестит на снегу. На природе, значит, нельзя — вся чувственность скована, а в избе — уж хоть бы успеть просто разогреться — где уж там до сексуального разгорячения доходить! И войдя с морозцу, не бабы хочется, а водочки выпить — нутренность обжечь, а не кожу потерять. Душа-то глубоко затаилась, в комок сжалась, как кашеева игла = жизнь-смерть, — хоть там бы ее оживить. А до поверхности тела, до кожи и допускать ее, душу-то, нельзя: растечется, беспомощной станет в неге, а тут ее мороз да снег — хватать! — и укокошат.

Нет уж, и помыслов таких, чтоб о бабе, нет, — а выпить! И влага-то сама огненная русская — прозрачная, ясная, светлый зрак (тогда как вино — как черные глаза — темный огонь). Пропитается ею человек из нутра — и дух воспарит в веселье сам собой, но не то, чтоб тело пропитать, все его поры оживить: его-то оставит без внимания, в водке независимо от тела и чувственности дух празднично живет. А повеселился, разгулялся — и спать повалился, сам — как особь — как был в телогрейке или тулупе.

Недаром извечная, заматерелая ревность существует между русской бабой и водкой, и, по словам одного русского мыслителя (Андрея Синявского), белая магия последней забивает черную магию первой. И белая молочная влага спермы словно растворяется, дистиллируется в прозрачной ясноглазой влаге водки — и не может быть эротического напора: уведен он...

Итак, зимняя ночь отобрана у Эроса и холодом, и снегом, и водкой. Ну а летняя?

Но наше северное лето —
Карикатура южных зим...

(Пушкин)

Лето = тепло, но не знойное, а мягкое, умеренное — чтобы разогреться, но не разгорячиться. Дни огромные по про-

должительности: божий зрак заливает далеко и в пространстве и во времени — и

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Опять негде Эросу разгуляться — весь он на виду, нет ему тьмы.

Земледелия — как любовь

На Юге, где высоко и отчетливо небо и отдельные женская и мужская половина, не спят привычно вместе, — там разность потенциалов меж мужским и женским началами велика, там супруг посещает женщину редко, но священно, мощно и метко и равномерно. А тут небо-пространство — супруг и мать — сыразсмля — все время рядом, словно на одной широкой кровати лежат: небо тоже — сы-ыренькое, как и земля — се-еренькая... Тотальность и смешение ремесел и между небом и землей.

Так что отделенность мужчины от женщины (по составу, а не по месту) как раз и сеть-проблема для России. Она б и обеспечила как раз более прочную семью (ибо на полярности б и влечении зиждилась), сов-мест-ную жизнь, и люден не надо было бы силой власти сверху пальцем прижимать, как булавкой гербария, — к земле и этому месту (крепостное право ли, прописка иль невыдача паспорта колхознику...) ...Вот ведь мука мученическая была работяге ворону-государству с таким соколом-народом, что все в лес да на большую дорогу глядит и на ветер все пустить хочет или красного петуха запустить. А то ведь любовь русская не на **влечении** страстном именно **этого** к этой (это лишь от резкой разносоставности мужчины и женщины возможно) основана, как правило, но на жалости: любить = жалеть. Она — жалеет его. “Пожалел бы ты меня, Вася” — **просит** русская женщина. “Пожелал” заменено на “пожалел”. А этот даже и жалеть-то не хочет: нервно-хлеставски вздыбливается: “Жалость унижает человека!” Горький чуял и передал эту надобность мужчине выпрямиться, стать самцом, — но все это нервно, как вспышка достоевского Ипполита: от язвящей неполноценности. И снова сбился на призыв к выпрямлению женщин: “Мать” — она, ей опять приходится все самой делать (и листовки даже носить), а мужчина-то опять на большую дорогу (по этапу) устроился: в ссылке от

дела-то и коренности отлынивать — опять перемещенное лицо стал и вечно перемещаемое...

А Эрос, что было стал поднимать голову и вставать на ноги в русской литературе начала XX века (Горький, Бунин, Куприн. Арцыбашев и т. д.), — весь такой подглядывающе-подросточный, а не полноценно-мужской. В “Климе Самгине”, “Деле Артамоновых”, в “Стороже” что-то грязно-серенькое с кровцой — так мне видятся тамошние сексуальные сцены. Это не Эрос, но высунувшая слюнявый язык похоть: словно стоит подросточек за дверью и в шелку или в замочную скважину, высуня язык и облизываясь, дыша часто-часто, а с языка-то каплет, — подглядывает на пышную бабу-храм, что гола и самотна в соседней комнате кустодиевски возлежит.

Нет нигде властного обладания женщиной, а елозенье по ней.

Секс русский у Бунина и Арпыбашева (предполагаю) — это: “Дяденька, а я тоже могу!”, что русский мужчина-отрок кричит вдогонку мировому Эросу.

Но и этот поднимавший голову был подкошен: война империалистическая, революции, гражданская — всех опять сняли и погнали с мест, отделили мужчин от женщин: “Дан приказ ему — на Запад. Ей — в другую сторону”. Только, было, начало крестьянство застолбляться и корень пускать, чтоб было чем хлеб подавать тем, кто на большой дороге, — как опять выслали на большую дорогу — все перемещать, перераспределять (“кто был **ничем** — тот станет всем”): будто это переложением вещей и переодеванием в барские одежды и переселением в усадьбы сделать можно! — как дитя, что папину фуражку надел и кричит:

“Вот я моряк, капитан!”).

Женщин — в кожаные тужурки: “свой парень”, “товарищ рабфаковка” — опять замуцинились (читай “Цемент” Гладкова и “Виринею” Сейфуллиной).

И зачем это нужно было: давать приказ ему — на Запад, ей — в другую сторону? Отчего не вместе? — Да оттого, что, глядя друг на друга, жалеть себя и другого начнут и не столь самоотверженны будут в труде и борьбе, чтоб “как один умом в борьбе за ЭТО”, в труде, на благо и во имя (чье-то, х-на, икса, ветра)... Ведь опять не на жизнь сила идет, а на подготовку **условий** к жизни будущих поколений — т. е. опять отсыл и жизни, как и ответственности, — от себя, куда подальше: **пусть они** живут, дети, а мы-то уж как-нибудь перебьемся, затянув пояса потуже. Это все вознесено в красоту подвига и

жертвы, опоэтизировано, восхищено. Но, с другой стороны если посмотреть, это прикрывало голость, беспомощность и незнание, как можно жить радостно и хорошо: коронно, плотно, богато, и не в отсыле, для кого-то, для дяди — а самим...

— А жить-то, есть-то, любить-рожать-счастливиться кто за вас? Пушкин будет? — вот как надо нас спросить. А мы все спрашиваем: А работать-то, а страдать, а жертвовать-то кто за тебя — Пушкин будет? чужой дядя?

“**Богато** жить” — язык-то мудро указывает: “Богато” — и значит: “как Бог”, по-божески и в совести. А вместо конституции, основного закона языка, стала действовать установка: “есть мнение” (где-то — “Там!” — указуя вверх), что жить по-божески — это бедно жить, не жить... И это — основная проповедь русской, высокосовестной литературы: Достоевский, Толстой и т. д.

Эрос хозяйствования

Хотя нет, Толстой-то явно чуял эту загвоздку: Левина мучает мысль — о хозяйствовании в России на земле. “Все переверотилось и только начинает укладываться...” — но в том-то и дело, что вместо глубокого укладыванья, когда чуть затрудненья пошли и не понравилось: “не то что-то...”, — развод укладыванью дается, прогоняется уклад и порядок — и вновь переворачивать, перекладывать (а не укладывать), т. е. опять не в глубь и вертикаль, а вбок, в сторону, с места на место, через большую — теперь уже железную — дорогу, или по воздушной трассе русской истории нового времени...

Итак, как пахать (обрабатывать) русскую мать — сыру землю, как быть с ней, как жить с ней — это тот же абсолютно вопрос, что и: как мужчине русскому любить русскую женщину, как быть с ней, как жить с ней: семье ли, еще ли как?

Но вернемся к загвоздкам Левина на земле, имея в виду, что земледелие — это любовь с землею, так же, как соитие = возделыванье женского лона. (Так что и экономика, политэкономия вполне входят в орбиту Эроса.)

Но предварительно выясним то, что бросил выше: о жалости. Что есть **жалость** как вид любви, слияния? В жалости — прижимают, гладят, глядят, утирают слезы — т. е. поверхностно, все на поверхности тела женщины; ухаживают (обрабатывают землю), утешают-утишают — без проникновения, внедрения телесного.

Жалея, сохраняют в целостности и неприкосновенности — как раз не трогают. А в страсти — вон как в видении св. Теодоры мы видели: распарывают, все кости зубилами пересчитывают и душу вытряхают... Видно, велика русская земля — да как белотелая русская красавица — тонкокожа, голубенькие венки просвечивают: недаром такие неглубокие здесь колодцы: тки — и вода пошла. Так что любит она обращенье нежное, обходительное — при всей своей большой комплекции и рыхлой массовидности: погладить, приголубить — тогда тает и легко отдается — из благодарности, нежности, опять же жалости, а не обязательно из влечения: раз тебе хочется — на, мне не жалко; но сама вертикально-коренного сотрясения (оргастического землетрясения) не испытывает или редко... А что ж: зачинать — зачинает, плод дает.

“Чего вам боле?..” Что неказист, не сочен, не развесист, не богат? — А на что он? Может, он здесь по климату не подойдет — пышный-то и богатый! Завянет и сникнет в итоге, а сморчок — он долго протянет. Вон как верблюд в пустыне: воды ему мало надо, и хорошо живет и тянет. А начини его поить и распаивать — да он станет жаждасть уже где-нибудь на полпути до оазиса; что ж тогда ему каналы с применением техники и энтузиазма туда проводить? Был хороший верблюд, — а станет плохая лошадь. Так, что ли? Этого хотите?

Вот, пожалуй, таковы внутренние аргументы и космические основания, по которым мужики Левина, как ни старался он приохочивать их к делу: и заинтересовывал, и участие в прибыли предлагал, — всё норовили как-нибудь стороной работу обойти, а всё — потихоньку да полегоньку, — так вроде само и идет и сама собой работка делается: в лес не убежит.

Левин у Толстого и уперся в главный для России и космический и политэкономический пункт: нежеланье народа более энергично и рачительно эксплуатировать землю. “Левин начал эту зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки и хозяйства выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего” (“Анна Каренина”, ч. II, гл. XII).

Значит, русский ум Толстого, во-первых, восстает против западноевропейской вещно-предметной науки, которая исследует и высчитывает объективные факты: климат, почва, что

могут и должны дать “при правильной агротехнике”, — и тупа перед “психологическим фактором”: хотенье или нехотенье земледельца; или полагает, что можно эту волю земледельца организовать и науськать его на землю (как подпустить жеребца на кобылу), если создать ему хорошие социальные условия: производственные от-ношения. Но “от-ношение” = “но-шение”, вещь поверхностно-горизонтальная. А земледелие — любовь, е..я = вещь глубинно-вертикальная: и без охотки, без того, чтобы сучка захотела, — у кобеля не встанет, вожделения не будет. Нельзя возделывать землю не из любви к ней, не из самозабвенно-вертикального в нее влечения, а ради чего-то другого: лишь бы отнести плод как средство заработать и продать на рынке — и купить телевизор. Отнести плод земли от земли вскормившей — это как ребенка отлучить от матери и передать в руки приходящей женщины или вообще — в ясли, на механические руки. Оттого и получается американское продовольствие: химизированный безвкусный хлеб, искусственно ускоренно наращивающееся мясо — и рекламно-механические улыбки и стандартные реакции людей среди взаимозаме-нимых лично-любовных от-ношений

Без трагедии — умирающего и прорастающего зерна.

Как, глядя на дорогую, родную, поблекшую, постаревшую, похудевшую, измученную жену или сестру, тебе хочется ее погладить, слезы утереть, утешить, успокоить, — т. е. именно пожалеть — приголубить: но пронзать, рвать и терзать, вспарывать, вспахивать нет никакой охоты: вожделеть к ней не можешь, желать ее, алкать (значит — съесть, проглотить — погубить), но именно **сохранить** ее в неприкасаемости и унежить — вот что хочется, — так и русская земля, видно, хочет к себе именно такого: супружеского как братски-сестринского, с легким акварельным оттенком желания — лишь бы, лишь бы фалл встал, плуг пахал и семя имело б канал для пресечения, но не для страсти... И потому в России ретивый начальник, все замышляющий, переделывающий, что шибко активничает и торопится, — самый дурной: это самодрочащийся в пустоте фалл: всех теребит без толку, и все равно у него ничего не выходит.

Очевидно, не столь глубоко оно, сколь широко. Волга — вла-галище) в песне “глубока, широка, сильна”; но первое не совсем верно: плоски и мелководны русские реки, озера, недаром легко переходят в болота — общую нерасчлененную сырость. Глубоки воды и женские страсти в горных озерах, в морях-оке-

анах, а это все — Море-Окиян — за пределами России. Зато русские страсти разметисты — в ширь, в разгул, как душа — нараспашку: ветер-ветер.

Плодородящий слой земли в России не глубок даже в средневропейской полосе — не говорю о Сибири, где вечная мерзлота с глубины 1 — 1,5 м вообще препятствует проникновению к глубинной жизни. Везде, значит, в России остается лишь выход к жизни широкой и возвышенной.

Глубокая вспашка вредна и в сероземе среднерусской полосы: рыхлит, выветривает, убивает сыроземность, теплоту и влагалищность самого плодородного и жизненно чувствительного поверхностного слоя тела русской земли. Но и русская женщина, хоть телом пространна, дебела и вроде бы и глубока, когда распрострется, чувствительный огневодный == эротический слой имеет именно на поверхности, а далее вглубь — вечная мерзлота.

Оттого хочет, чтоб ее гладили, били, мяли (все по вне: синяки и кровоподтеки — сладострастие русской бабы), а в соитии ей сладко, когда ей разворачивают губы, ходуном ходят, расширяя ее воронку, толкаясь в разные ее бока. Снова слова народные припоминаются тут: “Эх, Семеновна, баба русская: ж... толстая, п... узкая”. Или: “п... — не улица: прогребешь — так студится”. Это свойство болотистой земли: послушно разверзаться — и свертываться: опять тесна и готова к любому расширению.

Недаром и “полезные ископаемые” в России залегают близко к поверхности и разрабатываются открытым способом (Курская магнитная аномалия, гора Магнитная — целый нарост плодородия не в глубь, а под кожей прямо); вообще весь Урал — как внematочная беременность: недра выворочены, подняты вверх; то же нефть волжская — в отличие от глубокой бакинской и т. д. И слой залегают не глубоко, но на большой территории. Я понимаю: в Грузии ископаемые — недра обнажаются при глубоких сбросах и складчатых горообразованиях. А здесь мирные сглаженные холмы (не горы даже) — выветренные и обнаженные.

Март 1967

История сей книги

В первом варианте этой книги, когда я предназначал ее для издания в Казахстане, очерки располагались в следующей последовательности:

Ветер и Колодец (Путешествие в Казахский Космос)

Как распался кенгавр

Вещают вещи. Мыслят образы. (Беседы по философии быта...)

Панорама Евразии

Космос Ислама

От “Книги слов” Абая — до “Отчаяния” Сейсенбаева.

Была введена фигура ВЕДУЩЕГО по книге: он сообщал жизненно-исторический контекст, в котором писались главы, и давал свои соображения. Эти реплики Ведущего имеют смысл и для книги в настоящем виде, и их стоит читать в связи с соответствующими текстами.

Но начинаю Приложение с двух тогдашних Предисловий.

I

ОТ АВТОРА

Как парадоксально складываются взаимоотношения книги и истории! На примере своей книги прямо вижу это. Она писалась, когда в наши 60—80 годы, времена “застоя”, история словно прекратила течение свое, замерла на месте. Зато вся динамика Духа ушла тогда в глубь — в мысль и слово. И я, тоже один из “шестидесятников”, принялся разрабатывать целинные земли культуры — исследовать и описывать национальные образы мира. И среди них Казахстан как космос кочевника, земледельца и горца, мир синтетический, привлек мое внимание, и ему я посвятил много чтения и вдумчивости.

Книга не имела никакого шанса быть напечатанной в застойные времена — в силу необычности моего подхода, да еще и потому, что

сама национальная тема у нас в эпоху казенного “интернационализма” была запретна, если ее глубже затронуть, а не довольствоваться заклинаниями насчет “дружбы народов” и “единства национального и интернационального”.

Но вот в середине 80-х годов сдвинулась махина Советского Союза, заскрежетала на рельсах истории, потом ускорила разгон — и сейчас чуть ли не вся цивилизация Севера Евразии понеслась под откос.... Расщепилось “морально-политическое единство”, все республики облизнулись на “суверенитет”, полагая, что это такое уж хорошее нечто!.. Принялись сразу РЕШАТЬ национальные вопросы, рубя узлы, БЕЗ ПОНИМАНИЯ таинственной и тонкой материи национального бытия, не имея самосознания и о своих национальных особенностях. Как тем, прежним идеологам, раздумья над национальным представлялись ненужными при кажущейся им “решенности” национального вопроса в СССР, так и нынешним практическим деятелям, кто торопятся решать и делают это топорно, все некогда, недосуг остановиться, почитать, помыслить, заглубиться в суть дела, которое делают. Вот и опять может выйти НЕ ТО...

Среди истерики истории труд мысли предстает как некая опора и константа — достойное дело, в незыблемости Духа и Бога-Слова творящееся. Так делался и этот мой труд — не на потребу “текущего момента” и “злобы дня”, но из любознания Истины и во “доброгодность”. Получая возможность наконец издать это сочинение, уповаю, что чтение ее может быть полезным для всех интересующихся национальными особенностями народов и культур, национальной проблемой вообще. А чей дух и чья душа не заняты ею в современном мире?

28 июня 1993. Москва

II

ВОВЛЕКАЮ(СЬ) В КНИГУ

17.VI.86. Эта книга — живая: главы — дышат, как голова и желудок, как печень, сердце и легкие. Они выросли за 25 лет (с 1960 по 1986) в организм и излучают свои смыслы и волю не только на тебя, читатель, но еще прежде на меня, их сочинившего в свое разное время, сам разным бывши, — и вот ныне берущего их сопрячь во единство, а они топорщатся, разноголосят!..

Но в этом — и благо: стереофония, а не линейность, как в плоском единстве. Видно, как с разных сторон шел я за жизнь на приступ одной вершины: Смысла Бытия и смысла своей жизни в нем. Ведь всякое познание есть одновременно и самопознание. И то, что привлекла меня именно эта тема и задача: понять быт и мысль иарода-кочевника, народа-земледельца и народа-горца, — да в этом же я одновременно узнаю: что меня влечет в дальнее странствие и сближает с животным? Отчего я с семьей завел свое натуральное хозяй-

ство и живу в избе в деревне, как растение? Что вдруг срывает меня идти в горы (альпинизм)?..

Каждый человек = микрокосмос из элементов, составляющих и большой Космос вне нас. И также, изучая, как устроено сознание общества, логика, мысль, мы опознаем свою психику, работу своего ума и мотивы своей воли: на какие ценности мы ориентируемся в своем поведении, чего нам стоит и не стоит хотеть? Так что книга эта — и про мир, и про тебя (про твое и мое “я”, читатель): наше взаимное устройство продумывает. И читать ее нужно обоюдными глазами: широко взирая в цветистое диво бытия и истории вокруг, а также поражаясь тому, как много всякого содержится — внутри нас.

Но как книгу построить (мне)? Как читать (тебе)? А — можно в любом порядке. Для меня бы, конечно, естественнее — хронологический: тогда виден путь авторской жизни и мысли, развитие понимания. Правда, боюсь, отпугнуть может начало читателя, потому что:

Суров ты был. Ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять —

как Некрасов о Добролюбове писал: ригористичен и суров ум молодого человека и даже кокетничать любит философской терминологией: “Хочут свою образованность показать”. Потом, чем старше — тем легче и веселее пойдет дело мысли, и снисходительнее станет ценностная шкала. Но исчезнет и подтянутость, и воля, упругость и дисциплина молодой мысли... Да, во всем — и своя красота, и своя про-реха...

А ты, читатель, выбирай: можешь и как детектив читать — с конца (= с хронологически позднейшего текста); тогда воспримешь сразу результаты, а потом — а как же дошла мысль до жизни такой, какую последовательностью?

Впрочем, и я все же остановлюсь на детективном строении сюжета книги: завлечем ударом по мозгам — прямо о современно живом Казахстане дам размышление, а потом подведу сюда фундаменты: из вечности и из истории... В путеводители же и связные между периодами мысли (= главами книги) ввожу и экскурсовода — фигуру себя как ВЕДУЩЕГО.

III

ВЕДУЩИЙ. 17 июня 1986

В мае 1986 года пригласили нас с женой — Семеновой Светланой Григорьевной, которая незадолго до этого издала том русского философа Николая Федоровича Федорова в издательстве “Мысль”, — прочитать несколько лекций для работников Гостелерадио Казахской ССР в Алма-Ате. Под живым впечатлением от поездки и написал я затем нижеследующий текст —

ВЕТЕР И КОЛОДЕЦ
(Путешествие в Казахский Космос)

IV

ВЕДУЩИЙ. 23 июня 1986

Немало недоумений, чувствую, вызвало у читателя это мое *интеллектуальное путешествие* в Казахский Космос. Ибо так я обозначаю сей жанр, в котором я, как странствующий космограф, описывал до этого и Эстонский, и Грузинский образы мира, а еще и Американский, и Индийский, Французский и Английский... Это — мой способ путешествовать (и там, где я не имею возможности побывать телом): думаю, чтением и размышлением...

— Но как же История? — слышу давно назревший у читателя вопрос. — Тут какие-то будто извечные национальные признаки описываются... Но ведь они развиваются и изменяются во времени!

— Не только изменяются, но и возникают. И об этом как раз ниже следующее рассуждение. Оно произведено методом *единства исторического и логического*, что одушевлял меня как одного из участников трехтомной Исторической поэтики, которая создавалась на рубеже 50—60-х годов в Институте мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР¹. Согласно этому методу, разработанному Гегелем и воспринятому уже ранним Марксом, истинная теория предмета строится как его история, и наоборот. Ведь в пространстве современности одно *рядом* с другим пребывают явления, что возникали одно *после* другого в ходе исторического развития. Развертывание — тайна развития, и наоборот. А потому развернуть богатство содержащий и смыслов вещей, обретающихся ныне вокруг нас, можно, если всматриваться в последовательность их становления.

Суть есть глубина, толща; перебрать логическим анализом элементы предмета, стороны его содержания = (равно) пробурить слои и пласти его истории, как шахтер-археолог.

Так и построена предлежащая глава. Кочевье и земледелие тракуются не просто как разные фазы хозяйства и типы быта, но и как принципы сознания, как варианты отношений между личностью и обществом, между единичным и всеобщим, что и ныне наличествуют внутри нас и в действительности вокруг. В то же время и сознание современного человечества — в ходе прodelьваемого анализа понятий, которые присущи людям кочевья и земледелия, — как бы ошупывает то, из чего оно состоит теперь, свои мышцы, свою упругость. Отсюда — и скачки мысли: от кочевого племени — к современному войску, к цыганам в литературе, к “Войне и миру”. Не сразу схватывается смысл таких ходов мысли, но

¹ Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Моя глава: Развитие образного сознания в литературе” — с. 186—312.

при вникании он становится прозрачен. Однако есть в этом упоении дедукцией и свои пережесты и односторонности, что, надеюсь, выправлены и уравновешены в окружающих разделах. Итак —

КАК РАСПАЛСЯ КЕНТАВР (Миросозерцания кочевника, земледельца и гражданина. Личность и общество)

V

ВЕДУЩИЙ. 27 июня 1986

Прошло семь лет. Переменилось многое,
И сам, покорный общему уделу,
Переменился я...

И в мышлении моем сошел я с исторической точки зрения, что одушевляла меня прежде: молодой человек “и жить торопится, и чувствовать спешит” (стих П.Вяземского, взятый Пушкиным эпиграфом к “Евгению Онегину”, к 1 главе), и тогда недаром родилась во мне идея *ускоренного развития* литературы и была написана книга на эту тему¹. Также и в коллективе теоретиков литературы в ИМЛИ, одушевленных пафосом изменения, закономерно встал следующий вопрос: да, все изменяется. Но ЧТО изменяется, а значит, стоит, пребывает? Исследование этого вопроса и привело меня сначала к проблеме *содержательности форм* бытия, сознания, жанров искусства и литературы², а затем — к идее **НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ МИРА**, описанием которых я и занимался последующие двадцать лет и итогом чего явилась, в частности, и эта книга.

Сейчас, на расстоянии, мне очевидны здесь соответствия и параллелизм: известное угасание интереса к исторической точке зрения, к ее объясняющим возможностям, и переход к структурно-типологическим методам в нашей культуре (семиотика, системный анализ и пр.) — отразили некоторое успокоение общественного развития, что так бурно было вскинулось в конце 50-х годов, а затем, в 60—70-е, перешло к более плавному состоянию. Обнажились постоянно действующие структуры: глубины бытия стали более внятны неторопливому сознанию...

Меня ж особенно притянули к себе национальные особенности бытия и мышления народов. Занимаясь ими, я словно удовлетворял свою тягу к путешествиям. Да, размышление, медитация над миросозерцаниями, характерными для разных стран, — это, как я уже ска-

¹ Гачев Г.Д. Ускоренное развитие литературы. М.: Наука, 1964. Эта же идея и в книге: Любовь, человек, эпоха (Рассуждение о повести “Джамиля” Чингиза Айтматова). М.: Сов. писатель, 1965.

² Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М.: Просвещение, 1968.

зал выше, стало моим способом путешествовать. Не осуществив эту мечту в реальности (я даже пошел ради этого в матросы и в 1962—1963 гг. плавал на танкерах в Черном море), я стал свои заграиплавания осуществлять умом и воображением, результатом чего и явились те интеллектуальные путешествия в национальные миры, что и составят последующую толщу сей книги.

С 1964 по 1966 были написаны: “Национальный образ мира” (см. “О национальных картинах мира” — в журн. “Народы Азии и Африки”. 1967. № 1); “Болгарский образ мира” (см. “Литературиа мисъл”. 1981, № 6, 7, на болг. яз.), а также “О русском и болгарском образах пространства и движения” — в кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971; “Киргизский образ мира” (см. затем в моей кн.: “Чингиз Айтматов и мировая литература”. Фрунзе, 1982); “Национальная образность русской поэзии (45 натур-философских романсов на стихи Тютчева)”. Эти работы составили книгу “Национальные образы мира”, что в 1987 г. выходит в издательстве “Советский писатель”¹.

Отягощенный уже этими одинокими размышлениями, я наконец ощутил жгучую потребность выйти с ними в люди и на свет, и как раз в этот момент жизнь мне подкинула счастливую встречу с Муратом Ауэзовым и другими молодыми джигитами ума и культуры, с которыми и принялись мы вместе мозговать на национальные темы.

Теперь взвеселись, читатель! После Пролога-моиолога предыдущей главы тебя ожидает Спектакль: драма=действие, и не диалог даже, а “поли-лог” — беседа персонажей и голосов. Итак —

ВЕЩАЮТ ВЕЩИ. МЫСЛЯТ ОБРАЗЫ. (Беседы по философии быта разных народов или уроки чтения предметности)

VI

ВЕДУЩИЙ. 26 июля 1986

Разработав на семинаре метод анализа национального быта — как бытия, а вещей — как смыслов и идей, пустился я затем вширь и стал осваивать новые реалии и страны. В 1967 году был написан “Русский Эрос”, в 1968 — “Эллинский Космос и Логос”, “Германский образ мира (по Гете)”, “Осень с Кантом. (Образность в “Критике чистого разума”)", но главное: я совершил интеллектуальное путешествие в Индию. Возник замысел сопоставить разные образы Индии в глазах европейцев, посещавших или думавших о ней. Его я осуществил в книге “Эллин, русский, француз и немец об Индии. (Страбон, Афанасий Никитин, Монтестье и Фридрих Шлегель)”. Это — опыт как бы “спектрального анализа” национальных мирозерцааний: как

¹ Вышла в 1988 г.

одна реальность (здесь — Индия) видится из разных национальных космосов и как они при этом обнаруживают особенности своего взгляда на мир и свою логику?

Из этой работы даю здесь фрагмент “ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ”.

VII

СРЕДИСЛОВИЕ ВЕДУЩЕГО. 26 июля 1986

Так постепенно расширялся фронт моих национальных исследований: захватывал другие страны, образы мира.

Но он пошел и в глубь культуры. Задался я вопросом: вот иа гуманитарном материале — литературы, искусств, языка и пр. — мне уже ясны проявления национальных особенностей, и я уже умею их схватывать и выражать. Ну а в науке как? В философии, в естествознании? Сказываются ли они в логике мышления ученых, в том или ином образе Вселенной или в картине строения вещества?

С этой целью попросил я перевести меня из Института мировой литературы в Институт истории естествознания и техники АН СССР, где и работал с 1972 по 1985 гг. Там я строил мост (рыл туннель?) между естествознанием и гуманитарной культурой — этими столь далеко разошедшимися в нашем веке отсеками культуры, исследовал образность в мышлении ученых, язык науки, метафорическую подоплеку “строгих” научных терминов и пр. Я написал “Гуманитарный комментарий к физике и химии”, “Дневник удивлений математике”, “Благовествование от Растения” и “Смысл Растения”, “Фантазмагорию об организме” — все это опыты художественного исследования естествознания, применяя фантазию, и метафору... Также и в новые страны совершил я свои оттуда интеллектуальные путешествия: написаны “Итальянский образ мира”, “Французский образ мира и стиль мышления. (Связь физики Декарта с гуманитарной культурой Франции)”, “Английский образ мира. (По Ньютону, Шекспиру, Байрону, Дарвину и пр.)”, “Американский образ мира” и др. Совершен был и второй опыт “спектрального анализа” национальных мирозерцаний в книге “Эллис, немец, француз и итальянец — о воде. (Архимед, Стевин, Паскаль, Галилей)”.

В ходе этих трудов разработалась вширь и вглубь и методика моего анализа. И вот вкратце ее основные положения — в тезисах.

Национальные образы мира

1. Проблема касается Целого. Оно постижимо лишь совместной работой рассудочного и образного мышлений, и поэтому автор работает “мыслеобразами”, методом “имагинативной дедукции” (дедукция воображением).

2. Исследование одушевлено пафосом интернационализма и равноправия: в оркестре мировой культуры каждая национальная цело-

стность дорога всем другим и своим уникальным тембром, и гармонией со всеми.

3. Каждый народ видит Единое устройство бытия (интернациональное) в особой проекции, которую я называю “национальным образом мира”. Это вариант Инварианта (единой мировой цивилизации, единого исторического процесса). Оплот Единого — Небо, оплот разнообразия — разность земель.

4. Всякая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, т.е. единство национальной природы, склада психики (“национального характера”) и мышления (“менталитета”).

5. Природа каждой страны есть текст, исполнена смыслов, сокрытых в матери(и). Народ = супруг ПРИРОДИНЫ (Природы + Родины). В ходе труда за время Истории он разгадывает зов и завет Природы и создает Культуру, которая есть чадородие их семейной жизни.

6. Природа и Культура находятся в диалоге: и в тождестве, и в дополнительности; Культура и История призваны восполнить то, чего не даровано стране от природы.

7. Наша задача — постичь национальную систему ценностей, которую руководствуются в поведении и понимании, “энтелехию” (целевую причину) каждой национальной целостности. И потому национальное — и позади, и впереди, и Пушкин — более разветвленно национально русский, чем русич эпохи “Слова о иолку Игореве”.

8. Национальный образ мира складывается в пантеонах, космогониях, сказывается в наборе основных архетипов-символов в искусстве.

9. Самое трудное — постичь национальный Логос (менталитет). В него проникаем через Язык, его фонетику (она — в резонансе с акустикой национальной природы: рот = микрокосм ио космосу), лексику, структуру. Логос — тоже в диалоге с местным Космосом (как Культура — с Природой). И если научиться проникать в язык природы, в духовный смысл ее элементов и существ (а это работа поэзии, искусства), отворяются и двери национального Логоса.

10. Ближайший путь — национальная образность литературы: соотношение в ней таких параметров, как верх — низ, даль — ширь, вертикаль — горизонталь, земля — небо, мужское — женское, зенит — падир, Пространство — Время (их национальные варианты), иерархия четырех стихий (земля, вода, воздух, огонь), времен года, органов чувств; соотношение животной и растительной символики (и какой имею...) и т.п. При том, что везде все есть, есть оно в разных пропорциях и акцентах. Это и падо выявлять.

11. В качестве “метаязыка” принимается древний натурфилософский язык **четырёх стихий**. “Земля”, “вода”, “воз-дух”, “огонь”, принимаемые расширительно и символически, — суть “слова” этого языка, его “морфология”; в качестве же “синтаксиса” выступает Эрос: Любовь-Вражда Эмпедокла, притяжение-отталкивание современно-научное. Этот язык емок: им описуемы и элементы естествознания (например, четыре агрегатные состояния вещества: твердое, жидкое,

газообразное и плазма), и образность поэзии, искусства поддается группировке по этим рубрикам.

Итак, сверхзадача этих национальных вшиканий — уловить национальную логику, склад мышления, Логос, — и отовсюду я допытываюсь этого: из анализа всех вещей быта, природы, истории, языка...

Кроме, так сказать, “стационарных” путешествий, когда я без отрыва от жилплощади своей обкладываю себя книгами по данной стране и улетаю умом и воображением рыскать и шпырять по ней, стал предпринимать я и подвижные: как странствующий космограф приезжаю в страну и осваиваю ее на ходу — через прямые впечатления, разговоры и опять же через чтение до и после. Так сложились интеллектуальные путешествия в Эстонию, Грузию и Казахстан, из которых в этой книге даю лишь последнее.

Жанр этих текстов я бы обозначил как **интеллектуальный детектив**: идет розыск сути каждого народа и его культуры. Тогда то, что мне обычно инкриминируется: что я из малых фактов делаю большие выводы, — может предстать как достоинство. Специалист — как участковый инспектор: знает местность и людей, но приехавший детектив, у кого наметан глаз и широк обзор, может уловить ту связь событий, что ускользает от ока местного знатока.

Эти путешествия — эпизоды из моего дневника **жизнемысли** (т.е., мышления **привлеченного**, а не **отвлеченного** от моей жизни). В современной физике дошли до понимания, что прибор влияет на результаты эксперимента. А в мышлении — что прибор? А сам мыслитель. И я принципиально считаю нечестным упрятывать за скобки себя самого, ситуации жизни и настроения, психическую обстановку, в которой совершается мое мышление о разных предметах. Читателю предоставляется возможность делать поправку на обстановку и искажающие субъективные помехи. Так что привлеченное мышление может оказаться честнее и именно **объективнее**, полнее якобы отвлеченного.

И еще: без чувства юмора вход в сию книгу воспрещен. Вы что, Платона не читали? А как там дурачит всех и морочит Сократ! И это не мешает, а помогает глубокомыслию. Ведь подвиглись мы постигать главные сути, а они ослепляют, если к ним без забрала юмора и некоторого легкомыслия приближаешься.

И не надо цитировать, ибо весь текст — это непрерывное самоопровержение: честно познающая мысль не стесняется вопрошать, не понимать и себе противоречить.

Завершаю книгу своим опытом прошикновения в Космо-Психологос Среднеазиатского региона, который в религиозном отношении покрыт исламом.

Следует КОСМОС ИСЛАМА.

Предварение	3
ВЕЩАЮТ ВЕЩИ. МЫСЛЯТ ОБРАЗЫ	
(Беседы по философии быта разных народов, или уроки чтения предметности)	
Дом	6
Дом — внутренность	11
Национальная еда	18
Национальная еда	21
Тело человека — “тело отсчета” в национальном космосе.	44
Национальные телодвижения. Танец	55
О национальной музыке	68
Национальные игры	80
Философия футбола	93
Земледелие — как миропонимание	97
Национальный зодиак. Животные — модели мира	103
Лебедь и Орел	103
Конь морской	105
Свинья и Овца	107
Верблюд и Рыба. Конь и Пес	110
КАК РАСПАЛСЯ КЕНТАВР	
(Миросозерцания кочевника, земледельца и гражданина.	
Личность и Общество)	123
Сознание кочевого племени	123
Сознание земледельческого народа	131
Расчленение Целого. Общество и индивид	136
ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ	146
КОСМОС ИСЛАМА	
(На подступах к нему)	
Кентавр: кочевник на земледельце	154
Гений наслаждения	160

Драгоценный камень	164
Верблюд	176
Рефлексии пет	185
ВЕТЕР И КОЛОДЕЦ	
(Путешествие в Казахский Космос)	195
Переплетень и Монолог	195
Караван дум	200
Ветер, тайна и родник.	203
Из лях — в казахи	213
Как любит Гирей?	218
Логос кочевника	230
Предопределение и свобода воли	233
Вольномыслие поэзии	234
“Честь выше смерти”	239
Мудрость кочевого устройства жить	240
Борьба образов	246
Смена заветов	250
Перевернутый кентавр	253
Эллипс кочевья	254
Крест синтеза	258
Джигит — или Гражданин?	264
ОТ “КНИГИ СЛОВ” АБАЯ —	
ДО “ОТЧАЯНИЯ” СЕЙСЕНБАЕВА	272
Казахский мудрец Абай	272
Одуванчики святые	278
Между Россией и Исламом	281
Отчаяние Роллана Сейсенбаева	286
Роман личности или народный эпос?	293
Экологическая трагедия	298
КОСМОСОФИЯ ГРУЗИИ	
(Миросозерцание горца)	304
КИРГИЗИЯ	
(Мировоззрение кочевника)	314
КОСМОСОФИЯ РОССИИ И РУССКИЙ ЛОГОС	338
Диалог Петербурга и России на языке стихий	346
Белые почвы и любовь	348
Земледелие — как любовь	351
Эрос хозяйствования	353
Приложение. История сей книги	357

Георгий Дмитриевич Гачев
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА
ЕВРАЗИЯ —
космос кочевника,
земледельца и горца

Обложка
И. К. Борисовой
Технический редактор
З. С. Теплякова
Корректор *А. В. Яковлев*
Компьютерная верстка
К. С. Корнеев и К. Ю. Корнеева

Подписано в печать 29.03.99 г.
Формат 60x90¹/₁₆. Бумага офсетная
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл. п. л. 23. Тираж 1500 экз.

Издательство "Институт ДИ-ДИК".
Изд. лиц. № 065404 от 16.09.1997 г.
103009, Москва, Тверская, 9.
Телефон 229-19-10

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 661